

**НОВЫЙ
Журнал**

153

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок второй год издания

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. DECEMBER 1983

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Ю. Кашикаров</i> — Касимов	5
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	26
<i>Д. Аксельрод</i> — Война без прикрас	28
<i>А. Раннит</i> — Три стихотворения	46
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию	48
<i>Д. Бобышев</i> — Скелет Амура	113
<i>Папа Иоанн-Павел II</i> о Вячеславе Иванове	116
<i>С. Парнок</i> — Стихи	120
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	120
<i>А. Опульский</i> — “Сказание о гордом Аггее” В. М. Гаршина	121
<i>В. Крейд</i> — Зеркало и интерьер в романе “Петербург”	129

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым	134
<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь	173
<i>А. Авторханов</i> — Любоедство в хлебной стране	199
<i>П. Палий</i> — Размеры зла	213
<i>М. Бернштам</i> — Марксизм и контроль рождаемости в СССР ...	231
<i>Р. Плетнев</i> — К столетию смерти В. И. Даля	262
<i>Свящ. С. Желудков</i> — К размышлению о всечеловеческой церкви	267

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

<i>Е. Якобсон</i> — Поездка в СССР	295
--	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>Н. Моравский</i> — Памяти Ю. В. Крузенштерн-Петерен	302
--	-----

Printed in the United States of America
by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave. Clifton, N.J. 07011
Tel.: (201) 473-5071

КАСИМОВ

Когда "ракета" подходила к Касимову, солнце почти зашло, и в куриных сумерках город показался Александру Федоровичу неслыханно красивым — круто взлетающий в гору, с силуэтами церковей и белыми колоннами ампирных домов и ворот на набережной.

Александр Федорович Крюков был перед тем в Рязани, в Солотче, в Спасске, а из Касимова собирался в Муром — навестить приятеля, Гамлета Арташесовича Григоряна. Это было его первое настоящее путешествие вглубь России. Он боялся разочарования, но и втайне готовился к нему.

Россию открыл Александру Федоровичу старый актер и тюремный сиделец Глеб Сергеевич Лёвшин. Они познакомились в курилке Исторической библиотеки, в переулке на Маросейке, в двух шагах от солидного сталинского дома, где Крюков жил с матерью в просторной генеральской квартире. Глеб Сергеевич Лёвшин читал ему в курилке наизусть "Царя Федора Иоанновича", рассказывал о старинных московских церквях, в частности, о той, на месте которой встал генеральский дом. Пригласил Крюкова к себе, в тесную комнату общей квартиры, разгреб от желтых книжных листков ампирный диванчик, посадил под иконами северного письма, напоил чаем и, затеплив старинные свечи, осенним вечером читал — вкусно и долго — "Графа Нулина".

Затем появились подслеповатые, наивные дамы-хранительницы из Исторического Музея Марфа Вячеславовна и Антуанетта Карловна. И Эва Константиновна Хатцопулос, входящая в зрелость реставраторша, гречанка, почти византийка, его первая серьезная любовь. Все вместе они восхищались рукописными заставками, церковной утварью и кремлевскими паникадилами.

С Эвой Хатцопулос они в хорошую погоду ездили по подмосковным монастырям, ходили на выставки Матисса и Пикассо, в консерваторию.

Мать Александра Федоровича Крюкова — вдова-генеральша, первые годы была недовольна увлечениями сына. Когда он с трудом добился перевода с биологического факультета на исторический, даже целый месяц не разговаривала. Но постепенно смирилась, хотя время от времени и говорила, подавая обед, а Александр Федорович ее не замечал, поглощенный очередным томом Трудов отдела древнерусской литературы:

— Бесперспективно все это, Сашенька. Страшно жалею, что ты вырос без отцовского влияния. Ну чего тебя тянет ко всем этим бывшим людям? У них нет будущего. Эта Эва... К тому же, она старше тебя. Неужели трудно найти настоящую простую русскую? Как все это ненатурально, вне жизни! Маршал Конев говорит: "Вот, если бы вашего Сашу в свое время отдали в Суворовское училище, тогда бы из него вышел человек". Проглядели мы с папочкой. Последнее время он так болел...

Александр Федорович с Эвой ненадолго прибились к интеллектуальному древнерусскому кружку в Рублевском музее. Иногда даже участвовали в тамошних совместных постных трапезах, принося с собой картошку и капусту. Эва написала небольшую работу о символике цвета в иконах Тверской школы, а Александр Федорович занимался сравнительным исследованием списков житий Арсения Тверского — огромный труд по источникам. В связи с Арсением Тверским, ему пришлось съездить в Калинин. Город его разочаровал. Оказался совсем не древнерусским, с множеством фабрик, наглых девчат и пивных ларьков, где торговали вермутом и никогда не было пива. Возвращаясь, Крюков пах селедкой и другими запахами калининской электрички. В лифте сосед, знаменитый танцовщик Коля Васильев повел носом, снисходительно улыбнулся:

— Приобщаетесь, значит, к сермяжной? А мы завтра в Париж... Танцевать в "Лебедином". Как там насчет икон — фарцануть? Заплачу хорошо, можно — тугриками, а можно и парижской натурой...

Успешно защитив диссертацию о житиях Вячеслава

Чешского и с приглашением на осень в Прагу, на славяноведческий симпозиум, Александр Федорович Крюков решил этим летом проехать по Оке, а затем вернуться обратно в Москву вверх по Волге. Хотелось выяснить: что же все-таки осталось от той России, которую он узнал из рассказов Лёвшина, Марфы Вячеславовны, из архивных столбцов, из книг. От той России, откуда вышли, которую не замечали, насиловали и старались истребить его отец и дед. И найдется ли для него, Александра Федоровича Крюкова, сына боевого советского генерала и внука красногвардейца, какое-то место в ней, в этой России.

Впечатления уже были. На крутом берегу Оки дурманяше пах желтый донник. Земля в Старой Рязани оказалась скорбной, цвета старой золы. К горлу подкатил древний страх; ему даже почудились — эхом — предсмертные крики избиваемых монголами рязанцев. Подошел неизвестно откуда взявшийся рыжий кот, выгнул спину, пел, ластился, а когда надоело, ушел. Александр Федорович покричал влогонку коту нехотя: "Вась! Вась!". Кот не оглянулся. Было жарко.

Идучи рубежом, вдоль поля ржи в Исады, Крюков больно обстрекался крапивой и был недоволен: "Неужели нельзя подстричь?" В Исадах совсем по-древнерусски — и красиво — били в било: косить, грести. Но в сельмаге ничего съедобного, кроме похожего на замазку мармелада, не оказалось. Да еще женщина продала ему — дешево — на развилке дорог лопнувшие перезрелые вишни. И требовательно спросила: "Чей же вы это будете?". Александр Федорович опять испугался — теперь уже новым испугом.

Еще где-то у него долго проверяли документы, грозили засветить пленку: он снял знаменитую колокольню Никиты Мученика, а она оказалась важным, секретным объектом. В другом месте Крюков видел очень живописный пожар, но уже побоялся фотографировать.

Отправляясь в путешествие, Крюков процитировал самому себе на трех вокзалах: "Каждое путешествие должно иметь свою душу". Но душа его путешествия все никак не отыскивалась. а впечатления были смутные, неприятные — страха, неудобства, непоправимой чуждости. Приходилось много фантазировать, потому что ничего подлинного кругом не оказывалось, одно

только чужое и опасное, одни только умирающие городки, сельпо, солдаты, милиционеры, бабы, рахитичные работяги и пьяницы, стоявшие в очередях за водкой, хлебом и беломором. И опять — солдаты, бабы, милиционеры, пьяницы.

Крюков не ожидал многого от Касимова. Старинный татарский городок. Потом — купеческий. Относительно новая архитектура. Скучное собрание икон. Другое дело — Муром. Но у него был адрес в Касимове, данный Лёвшиным, — Серафима Ивановича Озерова, в прошлом поэта-неоклассика, автора сборника "Дум-Дум" и члена "Млечного Пути".

В этот вечер в город Александр Федорович не пошел. Посидел недолго на пристани. Пахло тиной, мазутом, дохлой рыбой. Было слышно, как в городе, на горе разбойно свистели, пьяно пели. Какой-то высокий женский голос кричал долго, жутко, с матерными подробностями. В гостинице "Пошлавок" ему достался бледногорчичного цвета номер на двоих. Воздух был сыр и нечист. Он рано лег спать, но долго не мог уснуть. Его койка стояла у забитой двери в соседний номер. Там сильно шумели. Крюков припомнил, что на двери у соседей висела афиша: "Облфилармония против скуки". Он зажег свет и попробовал читать "Запад и Восток" академика Конрада. За окном, совсем близко, плескалась вода, натужно гудели пароходы на Оке. Наконец, Крюков уснул и проснулся среди ночи. Его сосед пришел, пьяный. Долго пил воду из графина, часто сплевывая: "ТЬфу, тухлятина! Опять меня отравили в этом чертовом Касимове!". Так и не зажигая свет, споткнулся о стол, свалил стул и не поднял. Тяжело завалился на кровать, громко удивляясь: "Вот, черти касимовские! Ловко дело провели!". И скоро захрапел. Александр Федорович пристроил себе на ухо тощую жесткую подушку, чтобы не слышать. Обдумывал некоторое время тезисы своего будущего пражского доклада, пока снова не уснул — теперь уже до утра.

Когда Крюков проснулся, солнце стояло высоко, в окна была видна пустая Ока и он был один — день будний и сосед, наверное, был не турист, а командировочный.

По дороге к центру Александру Федоровичу встречались, как и в других городах, солдаты, милиционеры, ранние пья-

ницы. На всякий случай он спрятал свой фотоаппарат в сумку. Весь крутой подъем впереди Крюкова шла скоро начавшая его раздражать старуха с кошелками в обеих руках. В одной — сидела живая курица. Изможденно болталась ее голова с обморочно закотившимися веками. Старуха и сама двигалась будто в забытьи, то и дело натываясь на встречных. Они ее беззлобно ругали: "Куда ты прѣшь, любезная?". А она, так же беззлобно, огрызалась: "У ты, касимовский цорт!".

Александр Федорович, наконец, не выдержал, перешел на другую сторону улицы. Из рупора на хорошо сохранившейся красной пожарной каланче стонал вокально-молодежный ансамбль: "Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди — надейся и жди!". Некрасивые вблизи, приземистые церквушки с проржавевшими куполами ошетинились лесом телевизионных антенн. Город не отстраивался, вероятно, с революции, и единственными архитектурными приметам времени тут были эти торчавшие глаголями антенны — над церквями, над почерневшими мезонинами ампирических домов, над пузатыми колоннами александровских торговых рядов, над всеми этими улицами — Равенства, Свободы, Декабристов, Карла Либкнехта и Розы Люксембург, Сакко и Ванцетти.

Он зашел в магазин купить что-нибудь, чтобы перекусить на ходу. За спиной могучей продавщицы на полках пылились банки с зеленым горошком, баклажанной икрой, частичком в томатном соусе. Вместо масла в витрине был выставлен уже знакомый Крюкову по другим городам мармелад. Но были там и жареные пирожки с повидлом. "Все-таки хорошо, что мать все еще получает продукты из военного распределителя, — подумал с удовлетворением Александр Федорович. — И что, вообще, Москва пока снабжается прилично".

У райуправления милиции к Александру Федоровичу подошел рыжий парень в замасляной телогрейке и резиновых сапогах:

— Мужик, а мужик, дай на опохмелку! Со вчера — ни синь пороху! Ничего, ну ни синь пороху! Вот обидное положение — ни синь пороху!

— Город-то ваш тихий? — остаковившись, недоверчиво спросил Александр Федорович. И подал рубль.

— Да тихий! Пьем помаленьку, а так вообще тихий. Бывает, что потом и разобьем что-нибудь. Витрину или еще что. По-ихнему, если пил, значит, и обокрал... Скучно здесь, скучно.

Александр Федорович показал адрес Озерава.

— Улица 26-ти Бакинских комиссаров? За оврагом это, за домом Алянчикова, там, где кладбище и султанская гробница. Да вы сами не найдете. Я вас провожу.

Они шли мимо огромных обшарпанных бывших барских и купеческих домов с глухо заделанными кирпичом или просто досками окнами. Мимо каменных амбаров и деревянных сараев. Мимо кривых домишек с геранями, глоксиниями на подоконниках. В палисадниках росли мальва, крапива, золотой шар. Кудахтали куры.

— Скучно здесь, — жаловался рыжий. — Вот позавчера в Истомине, под городом, был престольный праздник. Так было весело. А так вообще-то скучно...

— Там что, действующая церковь? — поинтересовался Крюков.

— Куда там! Тракторная станция. Тракторист я. Но праздник все ж таки, без этого нельзя.

— А вы сами — верующий?

— Смеешься, что ли? Какой там верующий! Ну, бывает, перекрестишься, когда мотор забарахлит. Или когда сильно пьяный, так что-нибудь примерещится. Мать, она раньше вроде была как бы верующая. А Юрка, брат, пришел из армии, все иконы порубал. Какие остались непорубанные, те мать снесла в чулан. Так теперь она тоже неверующая.

Шли некоторое время молча.

— А вы, случайно, не шпион? Или, может, корреспондент? А то ездят тут всякие, ходят — будто за стариной. Еще наговоришь вам лишнего, а потом будут таскать по милициям. Затаскают. Такого напишете... Нам секретарь на летучке говорил: "В обстановке обостряющейся борьбы, раздувают отдельные нетипичные имеющиеся недостатки". Парень смачно сплюнул.

Александр Федоровичу стало не по себе. Он сказал, как самому показалось, неубедительно:

— Я комсомолец. Научный работник. Мой отец был боевой

генерал. Брал с боями Кёнигсберг...

— Ну, тогда ничего, ладно... Мне-то, собственно, наплевать. Только чтоб в милицию не таскали.

Они подошли к гастроному. За гастрономом улица кончалась и шла узкая тропка в овраг. На другой стороне заросшего орешником оврага виднелось несколько старых домов, сразу за ними — запущенное кладбище, обсаженное столетними липами и березами, а ближе к Оке — картофельное поле с полуразрушенным старинным зданием посредине.

— Пришли, — сказал парень. — Вам прямо через овраг, тут и найдете — улица 26 Бакинских комиссаров. — Он льстиво улыбнулся Александру Федоровичу: — Может, еще рублик дадите? Со вчера во рту ничего, ни синь пороху!

Крюков подал рубль. Парень потянулся пожать руку, но Крюков уже спешил вниз, в овраг.

Наверху, на другой стороне оврага, между двумя домами с каменным первым этажом и почерневшими мезонинами были проложены шаткие дощцы. Над одинаковыми крыльцами висели одинаковые чугунные козырьки. На кладбищенских березах и липах тревожно раскричались грачи. "Гроза, наверное, будет", — подумал Александр Федорович. Из окна, отставив тяжелые горшки невестиных слез, высунулась старуха в платочке в синий горошек.

— Который нынче день, парень?

Александр Федорович вздрогнул.

— Четверг.

— Четверг уже? Недели больно ходко идут! — Старуха пожевала пустым ртом, поглядела на Крюкова проницательным, прицельным глазом:

— Небось, к Озерову, к Серафиму Ивановичу?

— Он, что, здесь живет? — спросил Крюков как можно безразличнее.

— А то нет! Фатьма, а Фатьма! — закричала старуха через дорогу.

Из окна напротив, из-за рыжих глоксиний, выглянула рябая, тоже старая и сонная татарка с плоским, как блин, лицом.

— Вай, шайтан! Покою нет!

— Фатьма, а Фатьма, гость к твоему жильцу! Отпирай свою крепость!

Крюков поднялся по скрипучей лестнице, пахнувшей старыми бумагами, лакицей и валерианом. Серафим Иванович Озеров вышел к нему в пожелтевшем парусиновом дачном костюме. Он был сильно сгорблен, носил седую чеховскую бородку. Глаза печальные, выцветавшей голубизны.

— От Глеба Сергеевича? От Лёвшина? Из столицы? — Озеров, стоя, мечтательно зажмурил глаза. — Воспоминания... Воспоминания мои, всегда пронзительные — запахом, чувством... — Он открыл глаза, сомкнул дрожавшие руки на животе. — Я, знаете, тогда, в пору нашего знакомства — и с Глебом Сергеевичем и с Марфой Вячеславовной — метался ужасно. Искусство, поэзия, и... послушничал в Высокопетровском монастыре. Помню, как особенно проникновенно у нас служили на Страстной, в 1929-ом году. Мы вышли из алтаря, преосвященный взглянул вокруг: мы все тут рядом стояли, молящиеся — я, Марфа Вячеславовна, Глеб Сергеевич, и молодые же мы были! — и сказал мне: "К чудным временам приближаемся, послушничек! К торжеству веры!"... Вот и торжество... Через неделю его в ссылку. А там вскорости и меня. И Марфу Вячеславовну, и Глеба Сергеевича. Всех замели!

— Неужели? — удивился Александр Федорович, переминаясь с ноги на ногу. — Разве тогда ссылали? Не только в 37-м году? Мне Марфа Вячеславовна и Глеб Сергеевич об этом ничего не рассказывали. — Крюков опять переминался с ноги на ногу. Кашлянул. Серафим Иванович открыл глаза, спохватился:

— Что же мы тут, в дверях, стоим?! Проходите, присядьте.

Окна большой комнаты с широкими подоконниками были распахнуты настежь. Только одно, посередине, с двойными рамами, видно, не открывалось с зимы. Там, на желтой вате, лежали усохшие трупики прошлогодних мух. Александр Федорович успел заметить настольные часы с Амуром и Психеей и медный амбирный самоварчик в виде античной вазы. В комнате были запахи: горчащий запах герани, старого фиксатуара, свежего кошачьего нетерпения. Серафим Иванович извинился:

Вы меня за кота простите. Фатьмин кот, молодой еще. Между прочим, Фатьма, хозяйка моя, — последняя татарка в Касимовском царстве! Да, да, не вру — последняя татарка! Мы с нею хорошо живем. Дружно. Ее муж, Мехмет, уже года три как умер. А жаль. Придет, бывало, ко мне сюда, наверх: "Выпьем, Серафим-ака!" — "Тебе ж по твоей религии нельзя". — "Такая жизнь Мухаммед не думал. Такая жизнь пыт нужна". Ну и выпьешь с ним. И закроешь, как говорится, глаза на реальность. Ради сладости пьяной сей минуты. А потом, потом пойдешь — сядешь над Окой, у татарского мавзолея — а наличники, там будете, обратите внимание. — нарышкинского барокко! — и, как у Островского, — "Об этом я над Волгой думу думал, и с соловьями речи говорил..."

Серафим Иванович Озеров опять извинился: — Вы не подумайте, я не пьяница. А так, ради забвения. — Грустно вздохнул. — Теперь со всем этим покончено. Болен. Может быть, необратимо.

"Он и, правда, поэт, — отметил про себя Александр Федорович. — А может, и актер тоже". Ему показалась странной откровенность Серафима Ивановича с ним, первым встречным.

— Вам, конечно, говорили, что я — поэт? — спросил Серафим Иванович. — Ах, голубчик, дела давно минувших дней, теперь уже и не знаю, кто я. Так... мотыль человечий. Играл, ведь, во Второй Студии МХАТа. Считался подающим большие надежды. Потом — "Млечный Путь". Мальвина Мироновна. В послушниках. Готовился, страшился, написал покаянное письмо оптинскому старцу, — последнему. Ездил к нему на свидание — на крыше с мешочниками. А старец меня разочаровал. "С удовольствием, — говорит, — ваше покаяние написано". Дальше больше — ни старца, ни меня, ни Мальвины, ничего.

После жареных пирожков с повидлом Александру Федоровичу захотелось пить. Между двойными ставнями среднего окна вдруг зажужжал большой шмель. "Как он туда попал?" — удивился Крюков. Только теперь он заметил, что часы с Амуром и Психеей отстают на целых сорок минут.

— ...И все потом было как-то наперекосяк, — продолжал Серафим Иванович. — Теперь моя жизнь и вовсе прошла. Такая она была тошая, так всё на юру, растерянная, цыганская; внутри

все накручено, одни узлы, ах как всё накручено... — Он замолчал, провел рукой, в коричневых старческих пятнах и вздувшихся голубых венах, по потному лбу. — А теперь вы куда же, из Касимова? — вдруг спросил он Александра Федоровича.

— В Муром, — сказал Крюков с облегчением, надеясь, что скоро сможет уйти. — У меня там друг живет, еще со студенческой скамьи.

— Да... Муром. — Озеров опять закрыл глаза. Прочитал по памяти: — "Святополк прежде послал к Глебу в Муром, с лестию глаголя: "Зовет тя отец, уже ему дни пришли скончаться". Брата Бориса убил, а на Глеба готовяше убиеение"... Муром. Там ведь нас с Марфой Вячеславовной арестовали. Она вам никогда не рассказывала? Жили мы там бедно, скудно, но так духовно. Теперь бы... Вот, после муромского строгого жития, после лагеря я ужасно и раскололся.

"Кто его там арестовывал? Зачем?" — Крюков знал — кажется, знал, — что все это было. Но ему не хотелось слышать чьих-то воспоминаний. От них становилось еще больше не по себе. Он и сам в Москве иногда заходил в церковь, но всегда боялся перекреститься. А вдруг рядом окажется кто-то из его Института? Там ведь тоже многие любили эстетику.

— А что в столице? — не унимался Озеров. — Движение? Духовное возрождение? Репрессии?

— Лето, — скупое ответил Александр Федорович. — "Врата столичны затворились, все скачут жить по деревням, с театром, с балами простились, обман наскучил их глазам".

— "Капише моего сердца", князь Иван Долгоруков, — тотчас же определил Озеров. — Приятно, что нынешняя молодежь все это знает.

Александр Федорович пожалел, что не удивил старика. Пить ему хотелось нестерпимо.

— Простите, Серафим Иванович, не найдется ли у вас стакана на воды? — спросил Крюков как можно любезнее.

— Что же это я вас всё разговорами да разговорами, — взволновался Озеров. Давайте-ка я вам картошечки подрумьяню. На подсолнечном масле. Или еще лучше: бешемель. Или и то и другое. Вчера получил с оказией дюжину яиц. Дайте только разжечь примус. Ах да, вам воды.

Серафим Иванович принес воду в ковше. Ковшик был бедный, побитый, с погнутой ручкой. В маленьком закутке, смежном с комнатой, Озеров, невидимый Александру Федоровичу, стал возиться с примусом, напевая —

— Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой,
Что призадумалась, девица красная,
Очи блеснули слезой...

Вот вы всё знаете, — кричал Озеров из своего закутка. — А знаете ли вы, что эта песня имеет некоторое отношение к тому самому Касимову, где мы с вами сейчас находимся?

Нет, этого Александр Федорович Крюков не знал. Песню же как-то слышал, но тогда не запомнил. Его пока не интересовала эта часть российского наследия — ни мешанские песни, ни северные прялки.

— В этой песне, между тем, есть такие слова. — Голос у Озерова был чуть дребезжащий, но когда-то, наверное, приятный

— Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским трактом купцы.
Много за душу твою одинокую
Много я жизнью сгублю...

Кстати, как вы думаете добираться до Мурома?

Еще не знаю. Как удобнее.

Удобный и единственно возможный теперь путь — по воде, — с готовностью начал объяснять Озеров, выйдя из своего закутка и вытирая руки о какую-то грязную тряпицу. — А ведь я еще помню этот Муромский тракт. Это была дорога древняя, воровская, заповедная. Теперь там и на подводе не проедешь, не то что на машине.

— Ну, значит, по воде, — охотно согласился Крюков.

— Да, только по воде, — решительно подтвердил Серафим Иванович.

Крюков попросил разрешения закурить.

— Позвольте и мне угоститься вашей сигареткой. — Озеров долго мял в желтых пальцах сигарету. — Знаю, что убийственно, но... Кстати, вы читали Башляра? Он приписывает человеку бессознательную любовь к материи. Впрочем, не знаю. Так до

сих пор ничего и не знаю... — И, безо всякого перехода, Серафим Иванович продолжал: — Вот и я — древнего рода, из Бархатной книги. А ничего не знаю. "Которых имена за едкостью времени истребились...". Это о нас, об Озеровых, писали. Да...

— Я что-то припоминаю, — откликнулся Крюков. — В каких-то актах мне попадались Нечай и Лиходей Озеровы.

— Ах да? — безразлично отозвался Серафим Иванович. — Еще был драматург. Знаете, Озеров и Княжнин. А вообще, мы из дворян, всегда страдавших за каких-то пустяковых, темных царевичей — Лжедмитрия, Ивана Антоновича, Петра Третьего. И вот — ничего. Ничего. А скоро и меня... И где?! В Касимове!

Александр Федорович слушал Озерова и про себя думал: "Конечно, вот вы всё и профукали. Не помнили, не знали. А теперь вся ответственность на нас". Он вдруг остро затосковал по своему безопасному генеральскому дому на Старой площади, по отцовскому, а теперь его, научного работника Крюкова, кабинету, по большому дубовому столу и по оранжевому абажуру на этом столе, покоящемуся на модели зеленого танка — подарок отцу от генералиссимуса. Хорошо, что он это сберег. Как сберег на этом столе и Ленина, думающего в Горках. Хотя Ленин был ему, в общем-то, безразличен.

Вдруг Серафим Иванович схватился за сердце. Слышно было, как на примусе шипела картошка, еще назойливей жужжал застрявший в окне шмель, на улице истошно закудахтала курица.

— Ради Бога, простите. Сердце будто опустилось. — Серафим Иванович вытер выступившую на лбу испарину. Крюкову стало неловко, он принялся рассматривать многочисленные, в тараканьих следах, фотографии на стенах — батюшек, монахов, актрис, профессоров.

— Что-то мне душно, — пожаловался Серафим Иванович. — Гроза, что ли будет... Да, никого, решительно никого уже нет. И так почти в каждой семье у нас, в России, — исчезнувшие мужчины, женщины с заплаканными глазами. Отцы, братья, сыновья. Живем в какой-то странной, оцепенелой забывчивости, забытости. Ничего от них не осталось, одни маленькие фотографии. Иногда любительские, а они, знаете ли, страшно выцветают...

“Хорошо, что отцу и деду поставили в Новодевичьем такой прочный памятник, — с удовлетворением вспоминал Александр Федорович. — И фотографию сделали на фарфоре, долше простоит”. “А как долго? — спросил он себя с беспокойством, старательно отгоняя неприятную мысль: — Конечно, если не будет какой-нибудь новой революции”.

— Здесь почти деревня, — сказал Серафим Иванович. Шелестят старые липы, березы. И российский виноград растет в изобилии — крыжовник. Я на зиму уже заготовил. Варенье. С сахаром, знаете, сейчас опять стало трудновато. Но по знакомству. А вот, гляньте-ка сюда, вниз — мальва. Мальву я люблю. Раньше здесь садов было больше. Повымерзли. Повырубили. А при садах — злые собаки. Множество маленьких, мелких злых собачек. Беспородных. — Последнее слово Серафим Иванович добавил, как показалось Крюкову, с оттенком презрения.

— Вы в Богоявленской церкви были? — не унимался Серафим Иванович. — Там есть фреска — не древняя, нет, но наивная и трогательная: Брак в Кане Галилейской. Настоящие северные деревенские посиделки, с рыбником и самогоном. Я в ссылке и в Усть-Выми был, я знаю. Там же могила шута Балакирева — сохранилась каким-то чудом. Вам это имя что-нибудь говорит? Хорошо! Там еще одна примечательная плита была, Мисюря Соловцова. Так, представьте, совсем недавно пьяные разбили вдребезги. Как-то давно в архиве я раскопал его завешание. Не завешание, а метафизического звучания покаянный канон!

Озеров принялся рыться на самодельной книжной полке. Попадали книги — Александр Федорович поднял выпуски “Провинциального Некрополя”. Наконец, Озеров извлек древний том в обгорелом кожаном переплете с медными застежками. Долго листал, пока не нашел спрятанный между пергаментными страницами тонкий серый листок.

— Вот послушайте! “Се яз, многогрешный и неключимый, непотребный раб Божий, Пантелеймон Мисюрь Соловцов, а по своему великому беззаконию раб есми греху, наипаче всех блудному, пишу сию свою духовную целым умом и разумом, кому что дати, и на ком мне что взяти. А приказываю свою грешную душу жене своей Стефаниде, да сыну своему Ондрею. Я,

грешный, перед ними во всем виноват. Также и сирот моих, которые мне служили, мужей их, и жен, и вдов, и детей, чем будет, оскорбил в своей кручине, боем, — по вине и не по вине, и к женам их и ко вдовам насильством, девственным растленьем, а иных есмь грехом своим и смерти предал, — согрешил во всем и перед всеми виноват...”

Серафим Иванович остановился перевести дух. Он явно был взволнован, тяжело дышал. — Нету больше плиты на могиле Пантелеймона Мисюря Соловцова! Разбили какие-то безвестные алкоголики! А ведь могли уничтожить куда раньше... О, если бы вот так и Русь когда-нибудь покаялась, как этот Мисюрь Соловцов, — сказал Серафим Иванович с пафосом. — Или как некогда Ниневия во вретитище!

— У вас что-то горит, — проговорил Александр Федорович.

— Боже мой, совсем забыл про картошку! И бешемель ведь еще вам обещал! — Серафим Иванович бережно протянул древнюю книгу Крюкову. — Мое единственное сокровище. Пролог XVI века. Мехметка принес с пожара. Полистайте, посмотрите, пока я вожусь с кушаньем. Заставочки, заставочки особенно хороши.

Александр Федорович стал нехотя перелистывать. В другое время он бы ухватился за эту книгу с жадностью, а сейчас что-то мешало. Он успел разглядеть всего лишь одну заставку-буквицу — милovidный музыкант, раскрашенный голубым, золотом и киноварью, играет на свирели, а из-под его одежды выглядывают туловище и хвост дракона, — и отложил книгу. Пролог был пыльный, и Александр Федорович испачкал свои джинсы.

Серафим Иванович гремел в своем закутке-кухне посудой. “Человек большого внутреннего благородства. Перенесший много”, — вспомнил Крюков с неприязнью слова Марфы Вячеславовны. Угнетали и чужие фотографии на стенах. “Таких лиц теперь нет. И, наверное, не надо!”. Томясь, Крюков стал листать выпуски “Провинциального Некрополя”. Некоторые эпитафии его заинтересовали: “Кости зрак — смерти знак, зри ее всяк, сам будешь так”; “Виждь, человеце, свое телесное суетствие, будеши по мале времени сам сим костям сообразен”...

— Вы что, занялись “Некрополем”? — поинтересовался, вынырнув с ножом в руке из своего закутка, Серафим Иванович.

— Тоже, между прочим, редчайшее издание! — И опять исчез, напевая:

...Много за душу твою одинокую
Много я душ погублю,
Я ль виноват, что тебя черноокою
Больше, чем душу люблю.

Но вдруг что-то там у Озерова в закутке случилось. С грохотом посыпалась посуда. Александр Федорович привстал со своего места — посмотреть. Услышал слабый голос Серафима Ивановича: Мне плохо! Мне плохо!

Серафим Иванович лежал на полу среди битой посуды. Тут же валялась и слетевшая с примуса сковорода. По полу растеклась бешемель. Сильно коптил примус. Александр Федорович первым делом почему-то стал задувать примус.

— Мне очень плохо! — слабым голосом проговорил Серафим Иванович. И закрыл глаза. Лицо его приобрело свекольный оттенок, нос заострился в клюв, веки были бледные и почти без ресниц, беспомощно торчал вверх клин бородаки. Он вдруг стал похож на ту курицу, что утром несла в город с пристани в кошелке баба. Александру Федоровичу стало неприятно от этого сравнения. Он наклонился к Озерову, собирая с его груди бешемель и картошку. Серафим Иванович слегка шевельнул рукой. Его глаза чуть приоткрылись, но, кажется, уже ничего не видели. Крюков пробовал найти пульс, и не мог. "Куда теперь изволите бежать? Где у них здесь телефон? И как, интересно, сюда, к черту на рога, доберется скорая помощь? Кричать вниз, старухам?". Крюков снова попытался нащупать пульс Серафима Ивановича. Приложил ухо к впавшей груди. Сердца слышно не было, но Озеров весь был очень горячий.

"Может быть, всего лишь приступ, шок?" — Крюков сбежал вниз по лестнице и стал колотить в дверь Фатьмы. Стучал он долго, но безрезультатно. Насилу справившись с хитрой шеколдой, вышел на крыльцо. Покричал, уже тише, в открытые окна — Эй, кто-нибудь!

Окна были высоко, и заглянуть внутрь он не мог, да и не очень хотел. Из-за кладбища к реке ползла тяжелая туча. Тяжело дыша, Александр Федорович поднялся в мезонин. Взял свою сумку, с опаской поглядел с порога, издали, в ту сторону, где

лежал Озеров. Туча уже закрыла солнце, и прежде веселая комната стала холодной, тоскливой, серой. Все так же изнурительно бился в окне шмель. Пролог так и лежал раскрытым на буквице-заставке с приветливым музыкантом-драконом. Лицо Серафима Ивановича осунулось, побелело. "Кости зрак — смерти знак, зри ее всяк, сам будешь так", — вспомнил Крюков эпитафию из "Провинциального Некрополя". У него всегда была замечательная память.

Аккуратно прикрыв дверь озеровского жилища, Александр Федорович, теперь уже на цыпочках, стараясь не шуметь, спустился вниз. В проулке между домами тоже старался идти неслышно, но споткнулся о деревянный настил, чуть не упал в навоз и шмыгнул в овраг, в орешник. Там он едва не угодил обеими ногами в свежую собачью падаль, подался в сторону, больно обстрекавшись крапивой.

"Какая нелепость, какое недоразумение! — думал Александр Федорович. — Ну что я мог сделать? Может, он и не умер еще. Оклимается. А что, если умер? Тогда поташут в свидетели, и не отвяжешься: — откуда был знаком? почему приехал в Касимов? а знали ли вы, что он был репрессирован? а вы, что, тоже религиозный фанатик? — Эти подозрительные фотографии, знакомства... Мне же через месяц в Прагу ехать".

Александр Федорович карабкался по противоположному склону оврага, не разбирая дороги, стараясь себя успокоить: "В конце-концов, ну чего я схожу с ума? Ведь меня тут никто не видел. Глупые старухи не в счет. А в Москве скажу, что Озерова не нашел. Все, как было, расскажу только Эве. Она поймет", — вспомнил он с нежностью.

Уже выйдя на улицу за оврагом, Крюков вдруг услышал, как первая старуха кричала татарке: — Фатьма-а! А Фатьма! Вылезай, не хоронись! Ушел гость, у-у-шел! Шастают к твоему всякие, может, и шпионы, кто их знает. Вылезай, Фатьма! Вот глухая тетеря!

"Нет, скорее прочь, надо как можно скорее уносить ноги из этого чертова Касимова, — говорил себе, все убыстряя шаг, Крюков, — и постараться попасть сегодня же на последнюю "ракету".

Сильно темнело. Уже давно накрапывавший дождь перешел

в ливень. Крюков раскрыл импортный зонтик. Выйдя на крутой спуск, ведущий к пристани, он вспомнил, что ничего с утра не ел. На глаза ему попался тот же магазин, где он утром купил пирожки с повидлом.

— А, опять вы, улыбнулась ему продавщица. Пирожков? Или чего покрепче — для сугрева? Глянь, ливень так и хлещет!

— Алё, корреспондент!

Александр Федорович обмер. Но заставил себя обернуться.

— Алё, говорю! Ну, как, встретились со своим дружкой? Хорошо поддали? — Это был рыжий тракторист.

— Да ничего... встретился... — пробормотал Крюков, дома его не было, наверное, уехал...

— Что-то ты темнишь. Встретился иль не встретился? настаивал, крепко пьяный, тракторист.

— Не было его, говорю русским языком, у-е-х-а-л, — внутренне слабая, с раздражением повторил Крюков. В магазин заскочил приятель тракториста в кожаной куртке и мотоциклетном шлеме:

— Поехали, Колька! Пять минут осталось! Девки ждут.

— Да погоди, тут серьезное дело, мне тут выяснить кое-что надо, — отмахнулся рыжий.

Александр Федорович похолодел. Выдержав паузу, тракторист спросил, расплываясь в пьяной, лстивой, уже знакомой Крюкову улыбке:

Рубль дадите? На здравие, а можно и на помин.

Колька, поехали, опаздываем, — торопил мотоциклист.

Подожди ты, тут у нас дело серьезное...

Я сейчас, — пробормотал Александр Федорович, роаясь в карманах и не находя мелочи. — Вот, рубля нет, только пятерка. Разменяете?

— И так сойдет, большое спасибо, — поблагодарил рыжий, забирая деньги. — Вас подвезти? Дождь ведь.

Спасибо, мне тут близко, — все больше раздражаясь сказал Крюков. Когда парни ушли, он выждал минуту-две и вышел под ливень, торопясь к пристани.

Там он изучил расписание, обрадовался, что через два часа отходит последняя "ракета" в Муром, купил билет и только

тогда зашел в свой номер — переодеться и подождать.

Его сосед был дома, лежал на кровати одетый, накрыв лицо развернутым томом "Американской Трагедии". Стараясь не шуметь, Александр Федорович полез в рюкзак — достать сухую рубашку. На дворе шумел ливень, за стеной был слышен возбужденный женский смех, что-то падало — "Ах, Рудольф Валентинович, как вам не стыдно!"

— Гуляют! Артисты! — вдруг сказал сосед и убрал с лица книгу, внимательно посмотрев на Крюкова, как показалось Александру Федоровичу, уже пьяный. "Ну вот, опять надо разговаривать", — с тоской подумал Александр Федорович. Тыча пальцем в стену, сосед заметил: — Фокусники они, трансформаторы. Бабы у них — что надо, я видел. — Захотал: — Вы тоже — артист?

Глаза у соседа были хотя и пьяные, но умные, внимательные. Зачесанные назад прямые темные волосы с сильной сединой, хороший в прошлом костюм, теперь мятый и несколько засаленный, крупные руки.

— Я вас не разбудил ночью? Бессонница, знаете ли, мучит. Засыпаю сразу, а проснусь от какого-нибудь кошмара и ворочаюсь до утра. А вы, кажется, хорошо спали? — Сосед снова захохотал. — Значит, совесть у вас чиста, да? Ха, ха!

Он встал, прошелся по номеру, разминаясь, то и дело похохатывая, как будто искренне. Закурил папиросу "север". Подошел к окнам, выходящим на Оку. Заметил с выражением: Дождь-дождь-дождь. — И запел:

Когда я был свободный мальчик,
Не знал ни горя, ни нужды,
В одну несчастную влюбился
И сбился с праведной пути...

Резко осекся и спросил Крюкова, не оборачиваясь: — Откуда и куда? Спрашиваю вас, как актеры у Островского в "Лесе". Ха, ха. В Муром?! Из Москвы?! Тоже я вам доложу... — И опять запел, теперь уже знакомую сегодня Александру Федоровичу песню —

Много за душу твою одинокую
Много я душ погублю,
Я ль виноват, что тебя черноокою
Больше чем душу люблю.

Ах черт! Дело-то я проиграл, ведь проиграл же! Получит теперь парень на всю катушку. И за что? За любовь! И девка, девка — тьфу, дура... — Он прошелся по номеру. Под мягтым пиджаком у него оказался жилет; он засунул в кармашки жилета большие пальцы рук.

Александр Федорович пытался сосредоточиться на "Западе и Востоке", но не мог. "Господи, хоть бы скорее время шло, — думал Крюков, — куда теперь бежать? На пароход, и прочь отсюда, из этого чертова Касимова. Кто знает, может, мать была и права. И маршал Конев тоже. Биологией надо было заниматься. Или пойти в Суворовское училище".

Все так же похохатывая, сосед подошел к Александру Федоровичу, ласково потряс за плечи. Присел рядом, достал из кармана еще одну мятую папироску, закурил. Поинтересовался, сколько Крюкову лет. Тотчас забыл, и спросил снова. Встал, стал опять ходить:

— Молодец, молодец! А отчего это в вас шевелится что-то такое напряженное? Я — адвокат Чупцов. Конечно, не слышали. Ха, ха! Вы женаты? Да суть не в этом... Ей Богу, в вас что-то напряженное сидит, молодой человек.

— Боюсь пропустить вечернюю "ракету", — сухо ответил Крюков. — Чтоб, не дай Бог, здесь не остаться.

— Да уж зачем вам тут оставаться! Большому кораблю — большое плавание! Только отчего это вид у вас такой тревожный, молодой человек?

— Жизнь вещь сложная, заметил Александр Федорович. — Мало ли отчего!

— Жизнь, она штука простая или сложная, это в зависимости от того, как тебя папа с мамой обеспечили. Погодите-ка...

Адвокат полез в свой чемодан под кроватью, достал оттуда журнал "Социалистическая Законность" и папку с какими-то бумагами. Протянул Крюкову: — Ну-ка полистайте, это для вас.

Крюков с притворным интересом перелистал журнал. Потом папку — пустые бланки следственного дела. Удивился

собственной выдержке.

— Чисты! — облегченно вздохнул адвокат. — Это я вас проверял. Он отобрал у Крюкова журнал и папку и опять присел рядом на кровать, взял руку Александра Федоровича в свою. Погладил. Дышал в лицо винным перегаром: — Жизнь ужасна, мальчик мой! Я — адвокат Чупцов. Немодное в наших краях занятие! Эти мелькающие судьбы. Всё на мне отражается. Вот, опять проиграл дело. И не по моей вине. Кругом ложь, ложь... Было у нас время вранью устояться! А на мне все отражается! Совесть, говорят?! Язва у меня! Где-то язвит, етить твою мать! Проснулся вчера посреди ночи и не заснул до утра. А вы, между прочим, спали и все как-то ворочались, все бормотали: "Мы, два академика".

"До парохода остался час, — подумал Крюков, незаметно глянув на часы. — Может, мне уже сейчас уйти? Как от него отвязаться?". Гроза прошла и комната порозовела. Адвокат встал с кровати Александра Федоровича, посмотрел на него опять подозрительно, поднес указательный палец к носу Крюкова:

— Беды все — в лжебратстве! Вы, небось, это на всех языках читали! Так утверждал один реакционный апостол, а именно Павел. Били нас, разбивали, нас, дураков уму-разуму учили, мы — других дураков учили и учим. А для чего? Для того только, чтобы опять закабалиться или кого-нибудь — к ногтю. Чтобы смастерить свое маленькое, паскудное счастье. Временное, етить вашу мать! Бойтесь, небось, будущего? Такой благополучный молодой человек... Молодец, молодец...

Ну, мне пора, — сказал Александр Федорович, кладя "Запад и Восток" в сумку и перекидывая рюкзак через плечо.

— Прощайте, молодой человек! — махнул безразлично рукой адвокат. Уже в коридоре Александр Федорович услышал, как адвокат запел:

Время, ведите коня мне любимого,
Крепче держать под узцы,
Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским трактом купцы...

На корме подошедшей из Рязани "ракеты" было пусто, стояли мокрые от дождя скамейки. Через Оку перекинулась

радуга, все вокруг было палевого цвета.

“Ракета” отошла от причала. Скоро проплыл мимо берег, разделенный знакомым оврагом. Картофельное поле. Старое кладбище. Силуэт султанского мавзолея. Вдруг он явственно услышал голос Серафима Ивановича: “Кстати, вы читали Башляра? Он приписывает человеку бессознательную любовь к матери. *А зря!*”. “Вот дикость — вздрогнул Крюков, оглядываясь. — Все в этой России дикость!... И чего я еду в этот Муром? Надо бы сразу в Москву. Оттуда, может быть, в Коктебель — отдохнуть. А потом — в Прагу!”. Он зашел в салон, сел, закрыл глаза, потому что было противно смотреть вокруг, и вспомнил столько раз слышанную сегодня песню —

— Много за душу *свою* одинокую,

Много я душ погублю...

Юрий Кашикар

* *
*

В ночном Нью-Йорке снег. Уснул, затих Нью-Йорк.
Под мокрым снегом он промок, продрог.
В нем воздух за день, кажется, прогорк.
Дневная суета, бескрылый торг!

Но торг не кончен. Бродят у витрин
Мальчишки — и подходит господин
И юноша, прекрасный, как павлин,
Вдруг выступает из ночных глубин.

Два фонаря рассеивают мрак,
А там, в аллее, черный кадиллак.
В нем проститутку задушил маньяк.
Он режет ей над сердцем странный знак.

Смутна луна, туманен ореол.
Вот наркоман: он делает укол.
Он в белом парке негра подколол:
Ведь мертвый черный — меньшее из зол.

О, небоскребы, темный вертоград!
Никто не выбросился? Нет, навряд:
Кому охота прыгать в снегопад?
(Несчастный случай — частный случай, брат.)

Игорь Чиннов

* *
*

Нет, не капризничай, не привередничай,
Скажи Создателю спасибо.
Не будь, душа, упрямой поперечницей,
Взгляни смиреннее на небо.

Печально, что тебе совсем не нравится
Тобой одушевленный грешник,
Что не сужден тебе, молодка-девица,
Прекрасный праведник-нездешник.

Что не живем с тобой в закатах розовых,
В жемчужно-яшмовых палатах,
Что сохнем под житейскими угрозами,
В печально-будничных заботах.

А все же — сад с левкоями, тюльпанами,
И зреет нежная малина,
И вечерами тихими, туманными
Мы долго слушаем Шопена.

А в полдень пчелы на кустах акации
(Жаль, кончился сезон камелий),
Котенок спит на книге о Венеции,
Куда вернемся мы в апреле.

Игорь Чиннов

ВОЙНА БЕЗ ПРИКРАС*

(Отрывок из повести)

Когда началась война, я сразу пошел в военкомат, записываться добровольцем на фронт, но получил отказ, так как мне было всего шестнадцать лет.

Однако, вскоре моё желание осуществилось: я получил год тюрьмы за мальчишескую шалость — в то время не церемонились — и через три месяца меня прямо из лагеря призвали в армию. Я радовался не только тому, что выходил на свободу; как и полагаются мальчишке, я бредил подвигами.

Нас повезли в Вологду и определили в школу младших командиров. Но мы так и не получили лычек. Фронту требовались бойцы, и из курсантов срочно сформировали маршевую роту.

Вскоре нас погрузили в телятники и отправили на фронт. Сопровождал нас командир взвода, младший лейтенант. Звали его Володя.

После нескольких дней пути мы прибыли на станцию Бологое. Собственно, никакой станции не было — ни единого строения, всё сожжено дотла. Только черные рельсы среди белых снегов, и на рельсах — несколько товарных составов.

Приказали сгружаться и повели к темневшему вдалеке лесу. В лесу стояли большие бараки-шалаша. Там мы и распрошались со

*Автор повести, Д. Аксельрод — участник самиздатского литературного альманаха "Санкт-Петербург" (Ленинград, 1980 г.), откуда мы и публикуем данный отрывок. В ноябре 1982 г. Д. Аксельрод был арестован по ст. 190-1 УК и в настоящее время находится в заключении. Отрывок печатается без ведома и согласия автора — РЕД.

своим командиром, который должен был возвращаться в свою боевую часть.

Жизнь в этих шалашах не была обставлена с большим комфортом. Шалашы были сделаны из тонких корявых лесин, ветер продувал их насквозь, печи отсутствовали, и мы жгли костры прямо на полу, вернее, на утопанной земле. Тепла от них было мало, зато дымили они ужасно — дрова были осиновые, сырые. Солдаты мерзли, ходили, скрючившись, зубами выбивая барабанную дробь. Кормёжка была скудная, горячей пищи мы не получали, давали по два квадратных ржаных сухаря в день.

Целую неделю мы бездельничали: никаких занятий, никаких учений, и даже командиров — никаких. Но вот, наконец, всех выстроили в длинную, далеко растянувшуюся шеренгу, и появилось какое-то начальство. По шеренге прошел слух, что командир взвода разведки набирает добровольцев. Я замер в ожидании: вот она, решительная минута! Разведка — самое опасное воинское поприще, но и открывающее большие возможности для подвига. Я давно мечтал попасть именно в разведку. В самом начале войны прославился некто Валерий Стрекалов. Он был из Сыктывкара. Осенней ночью он пробрался к немцам и добыл какие-то важные сведения. Я помнил, как встречал его город, когда он приехал в отпуск, полагающийся Герою Советского Союза. И я мечтал, подобно ему, пойти в разведку и совершить подвиг.

И вот она, эта возможность! Я распрямил плечи, выпятил грудь и, затаив дыхание, ждал приближения командира разведки.

“Только бы взял”, — думал я, опасаясь за свою худобу.

Когда он приблизился, сердце моё забилося ещё сильнее. Командир разведки был прямо картинка — высокий, стройный, в шинели, перепоясанной крест-накрест.

Он подошел и спросил: не желаю ли пойти в разведку. Я, вытянувшись по швам, не ответил — выдохнул — “желаю!” Командир, по званию старший лейтенант, вскинул брови и записал мою фамилию. На следующий день я был зачислен в полковую разведку.

Прошло несколько дней, и мы отправились в поход. Только вышли — повалил густой снег, поднялась метель. Шли форсированным маршем — полями, лесами, широкими шляхами и узкими тропинками. В полях дули нудные пронизывающие ветры, в лесах — мрак и тишина.

Идти было трудно, мы были мальчишками, только что оторванными от дома, незакаленными, слабыми от недоедания, плохо одетыми и обутыми. Нам выдали ветхие бурые шинельки, латанные-перелатанные гимнастерки с кое-как застиранными пятнами крови, подшитые старые валенки. Уже через день-два дратва на них перетерлась и подшивка отвалилась, так что многие из нас шли в одних портянках.

Погода резко менялась — то ударили морозы, то им на смену приходили оттепели, и потом снова морозы, метели. Бывало, ноги в оттепель промокнут насквозь, а потом вдруг ударит морозец, и мы стучим по гололеду заледенелой обувкой, как колодками. Солдатики плакали, падали в изнеможении, а командиры гнали вперед, поднимая упавших угрозами, пинками, стрельбой из пистолетов. Идучи по широким дорогам, мы научились спать на ходу, по несколько человек сразу. А когда раздавался свисток, возвещавший десятиминутный привал, падали, как мертвые. Большие привалы с ночлегом делали раз в трое-четыре суток. Во время таких привалов кормили горячим, в остальные дни довольствовались все теми же двумя сухарями, да шепоткой сахарного песка.

Однажды на виду у всех казнили "самострела". Ночью он поранил себе выстрелом из винтовки ногу, а утром его расстреляли. Приказ зачитали хмуρο и равнодушно слушающим солдатам, дали залп, черная фигурка опрокинулась в снег, а мальчишки-бойцы, шатаясь и хромая, ушли дальше, в неприятные пустоши и леса.

Так мы шли много дней и ночей, минуя бесчисленные деревни, вернее, то, что от них осталось — головешки сгоревших изб, да торчавшие остовы печей. Прошли Селижарово, Осташков, Торопец, потом, минуя Великие Луки и Холм, повернули ко Ржеву, потом снова куда-то и, наконец, подошли к фронту. Стала отчетливо слышна далекая канонада. Тут темп марша ослабел, сами командиры уже брели из последних сил. Дорога давно кончилась, даже тропинки не было, шли, проваливаясь в снегу, след в след.

Я отстал. Когда ослабевает пружина мобилизованности, боль и усталость ощущаются гораздо сильнее. В первый раз за много дней я смог поднять голову и оглядеться. Окружающий пейзаж показался мне таким прекрасным, таким нежным, что и до сих пор я его помню до мельчайших подробностей. Пахло оттепелью.

В селе нам, наконец, дали отдохнуть. Мы спали почти двое суток подряд. Фронт был близко. Все время ухало, в окнах звенели стекла.

Отоспавшись, стали приводить себя в порядок — ремонтировали одежду, подшивали валенки, чистили и смазывали оружие. Потом пришел политрук, поагитировал, как полагалось, сказал, что мы принадлежим к 150-й дивизии добровольцев-сибиряков, большая часть которых погибла со славой, и что мы должны быть их достойны. Мы хором заверили, что будем достойны.

Ночью взвод подняли по тревоге, и мы отправились на свое первое задание. Шел снег, было тихо, безветренно. Миновали лес, вышли в поле. Всё сильнее слышалось уханье снарядов, а вскоре стала различима и пулеметная дробь. Фронт приближался. Было строго-настрого запрещено курить и разговаривать. Ординарец командира, по фамилии Хорошилов, то и дело обегал взвод и шепотом передавал распоряжения. Потом снова вступили в лес и долго шли, пока не стало светать.

И вдруг лес огласился адским грохотом. Прямо в нас летели россыпи трассирующих пуль. Мы ответили огнем своих автоматов. Пробежал Хорошилов с криком:

— Отходить, отходить! Засада, немцы!

Я никого не видел, отступал медленно, паля короткими очередями. И тут наткнулся на труп. Острый испуг кольнул сердце.

Через несколько шагов снова наткнулся на тело. Передо мной лежал командир. Не лежал даже, а полусидел, прислонившись к дереву и вытянув ноги. Глаза его остро, цепко смотрели на меня.

— Вы ранены, товарищ старший лейтенант? — наклонясь к нему, спросил я испуганным шепотом.

Он молча кивнул; было уже довольно светло, и я увидел, что шинель на животе у него разодрана и окровавлена.

— Давайте, перевяжу вас, — предложил я и начал доставать перевязочный пакет. Но он замотал головой.

— Тогда разрешите, я вас понесу. — Я подхватил его подмышки и поволок по снегу.

Вскоре показался Хорошилов, и мы стали тащить командира вдвоем. Потом появились и другие бойцы, которые сменили нас. Кроме командира несли ещё одного раненого бойца. Разрывная пуля разворотила ему бедро, сквозь разодранные в клочья брюки

была видна окровавленная розовая кость.

2

Скоро наш разведвзвод распустили и вместе с двумястами других бойцов из Сибирской дивизии передали в распоряжение обыкновенной стрелковой бригады. Принимал нас низкорослый капитан с длинной талией. Он стоял, расставив ноги, заложив большие пальцы рук за ремень, и иронически разглядывал свои будущие "боевые" кадры — измученных, голодных, грязных мальчишек с осунувшимися, заплаканными лицами.

Капитан пообещал, что скоро всех накормят, а пока, мол, надо совершить небольшую прогулку.

И снова начался нескончаемый марш по лесам и топям, по лугам и пашням, в морозы, в оттепель и пургу. Кормили изредка, и у кухонь начиналась свалка. Молодые солдатики отчаянно штурмовали ППК*, вопя и плача, требуя полный котелок. Молниеносно схлебав свою порцию, лезли снова. Их оттаскивали, повара били их черпаками по головам — ничего не помогало. Среди них выделялся один — особенно настырный. Он пихался, лез, плакал, и среди его воплей очень часто повторялась фраза: "мама троне".

Во время ночного привала он сгорел. Привалы делали каждую ночь, прямо на снегу, у костров. "Мама троне" во сне надвинулся прямо на огонь и не услышал, как горел. Утром мы тронулись в поход, а он так и остался умирать возле дотлевающего костра.

Идущая впереди санитарка говорила своему спутнику, пожилому капитану:

— Чтобы я из-за таких засранцев стала рисковать жизнью — ни за что! — На красивом матово-смуглом лице женщины читалось выражение брезгливого отвращения.

Невзрачный блеклый капитан поддакивал ей:

— И не надо. И не будешь.

Я отстал, а когда снова догнал их, глазам своим не поверил: рядом с ними шел наш бывший командир взвода, младший лейтенант Володя.

*Полевая походная кухня.

Мы идем с Володей рядом, я рассказываю о своем боевом крещении. Володя спрашивает, в какой я части. Я отвечаю, что не знаю, знаю только, что 96-я бригада, а какой полк, батальон, рота — понятия не имею. Командует нами маленький капитан. Володя говорит, что все тут из 96-й бригады, и он тоже, командует ротой, предлагает идти к нему связным. Я отказываюсь, говорю, что не хотелось бы быть в услужении даже у него. Володя уверяет, что никакого услужения тут нет, бегай, знай, от него к комбату, передавай распоряжения.

Вон мой комбат, — показал Володя на блеклого капитана.

— А это кто?

— Санитарка, ППЖ* комбата. — Я уже знал, что это значит.

Мы с Володей расстались, а на другой день он мне сообщил, что я зачислен в его роту.

Подошел конец и этому походу. Снова стал слышен фронт. Мы расположились на ночлег в лесу. Хотя там были поставлены шалаши, спали по-прежнему у костров, так было теплее.

Подняли очень рано, была ещё ночь. Вышли из лесу и двинулись вдоль его окраины. Стрельба слышалась всё отчетливее. Начало светать. На востоке протянулась багровая полоса восхода. Стали попадаться трупы. Они были разной давности — одни посвежее, другие уже изрядно подгнившие; из шинелей торчали кости, зияли темные провалы глазниц. Нас обогнала колонна танков, из открытых люков по поясу высывались танкисты, с любопытством нас разглядывая.

Лес кончился и перед нами открылась широкая равнина. Где-то на горизонте были немцы. Справа, из молодого леса изредка постреливали наши пушки. Обогнавшие нас танки тоже остановились у этого леса и развернули орудия в сторону равнины.

Комбат собрал батальон и стал держать речь. Она была такой же бесцветной, как и он сам: — "Через полчаса начнется артподготовка, продлится пятнадцать минут, и мы пойдем в наступление. За Родину, за Сталина, товарищи!..".

Он обнаружив никакого энтузиазма на измученных грязных лицах, он переменял пластинку:

— Там станция, ребята! А на ней эшелон с провизией и

*Полевая походная жена.

шнапсом. Возьмем станцию — всё наше будет! Погуляем!

Вот тут ребята оживились.

— Возьмем станцию! — раздались голоса.

А через несколько минут из леса рвануло. И пошло грохотать. Пушки палили где-то рядом, было слышно, как пролетают над головами тяжелые снаряды. Но почему-то никто не захотел ждать положенных пятнадцати минут. Тронулись с места сразу как только началась стрельба. И вся опушка огласилась криком: Уррра-а-а-а! Слева и справа на поле высыпали серые фигурки солдат.

И сразу же ответили немцы. Над равниной повисли гроздь шрапнели, стали рваться снаряды. Раздались крики: Мама-а! Заголосили, запричитали раненые. Один солдатик старательно и быстро полз на брюхе куда-то наискосок. Володя подбежал к нему и заорал:

— А ну встань, живо!

Тот вскочил и бросился наутек.

Володя приказал мне находиться при комбате, ждать его распоряжений. Я было запротестовал, но он успокоил, сказав, что комбат меня долго не задержит, отошлет обратно.

Мы трое — я, комбат и его краля отстали от остальных. А Володя с бойцами ушли вперед. Огонь, между тем, становился всё сильнее. Гуще ложились снаряды и мины, свистели пули. Вступили в дело немецкие "Ванюши" — шестиствольные пулеметы.

Вдруг я увидел, что комбат крестится, часто и мелко. Я остановился у края воронки, достал папиросу, демонстративно закурил. Комбат заорал на меня:

— Чего выставился, дурак! Брось сейчас же цыгарку!

Я неохотно бросил окурочек в снег.

— Так я пойду вперед, товарищ капитан? — сказал я. Он отпустил меня, как мне показалось, с охотой.

Я помчался вперед, что было духу, надеясь догнать роту, поспеть к решающему штурму. Её уже не было видно в серой утренней мгле. Чем дальше я бежал, тем сильнее становился огонь, чаще попадались убитые. Я старался не смотреть на них, нескольких обошел стороной, а на одного, ещё живого, едва не наступил. Он сидел на снегу и сосредоточенно пытался затолкать кишки в развороченный живот. Они не слушались его, вываливались,

выскальзывали обратно. Я помчался дальше, но метров через пятьдесят оглянулся. Он всё еще продолжал заниматься своим безнадежным делом.

Мой страх постепенно возрастал, убитые и этот, с вывалившимися кишками, лишили меня остатков мужества. Я подумал: ведь и меня тоже может вот так... — и всё-таки продолжал бежать.

Справа, на расстоянии метров трехсот, появились танки. Они ползли медленно, как черные жуки. Из стволов орудий вылетали красные языки пламени. Вдруг у переднего танка отлетела башня, и он, подпрыгнув, как лягушка, остановился. Тут же у другого танка вдребезги разлетелась гусеница, и колеса взметнулись на добрые полсотни метров к небу, а, приземлившись, как игрушечные, покатались по снежному насту. Продолжая стрелять, остальные танки медленно попятились обратно.

А я всё бежал вперед. Вдруг новое зрелище заставило меня содрогнуться от ужаса. Четверо бойцов сцепились в последнем смертельном хороводе, застигнутые снарядом. Объединенные страхом, они сбились вкучу, тут их и накрыло. Лица были сожжены и как-то невероятно сжались, будто спекшиеся яблоки. Глаза лопнули и вылезли из орбит.

Вскоре я увидел идущих в наступление бойцов. Они падали, поднимались, продвигались короткими бросками вперед, залегали снова. Впереди всех шел Володя.

Я подскочил к нему и, радостно улыбаясь, зашагал рядом.

— А, Мишка! — сказал он спокойно. — На-ка, возьми, — и протянул мне треугольник письма. — Если кокнут, отправишь.

Кругом стоял адский грохот — непрерывно рвались снаряды, мины, небо прочерчивали бесчисленные огненные трассы пуль. Нужно было отчаянно напрягаться, чтобы не плюхнуться на землю, не нагнуться, не втянуть в плечи голову. Володе приходилось то и дело поднимать бойцов, но они тут же снова падали, а иных вообще невозможно было оторвать от земли.

— Сорвется наступление! — с горечью сказал Володя. — Воюй тут с этими сосунками.

Тем временем стало смеркаться. Время промчалось удивительно быстро. Наступление, начавшееся с восходом солнца, на исходе дня захлебывалось.

Мы собрались на дне большущей воронки от авиабомбы. Нас было восемнадцать человек — всё, что осталось от роты. Когда совсем стемнело, командир отправился в тыл узнавать обстановку. Командовать шестнадцатью оставшимися бойцами он поручил мне.

Я попытался организовать охранение, полагая, что в темноте могут подползти немцы, но, за исключением одного бойца, никто и пошевелиться не хотел. После небывалого нервного напряжения наступила депрессия, ребята валились с ног от усталости. Этот единственный был маленький подвижной паренек. Мы устроились с ним у пулеметов — я у Максима, он у Дегтярева.

— Пообосрались все, многих вырвало, — сообщил мне паренек.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Делились между собой, да и чутко было.

Ещё часа два палили немцы, корежили, рвали, утюжили землю, потом огонь стал ослабевать и к полуночи прекратился вовсе. Немцы, по-видимому, решили, что наступление не возобновится. С разных сторон раздавались леденящие душу крики раненых.

— Умирают раненые-то, — тоскливым, как эхо, голосом сказал паренек. И действительно, крики постепенно смолкали.

Паренек предложил отвезти раненых в тыл, и я, после недолгих колебаний, согласился. Мы перевязали нескольких раненых, собрав у бойцов перевязочные пакеты, а самого "тяжелого" из подобранных положили на санки от пулемета и повезли. Везти было тяжело, поле было сплошь перепаханно взрывами снарядов, бедняга беспрерывно стонал и охал. Провезли с полверсты, наткнулись на танк. Из танка высунулся пьяный офицер и стал нас материть, потрясая пистолетом:

— Труссы, так вашу мать! От фронта спасаетесь! Драпаете! Никаких раненых! Санки бросить — и марш назад!

— Храбрый! — сказал паренек. — В танк забрался и воюет с бутылкой.

Мы вернулись к воронке и пролежали там до утра. Перед рассветом пришел связной от командира и приказал роте отходить.

3

Новый рубеж находился на берегу реки, поросшем лозняком. Мы вырыли себе в снегу ячейки и залегли. Пролежали около месяца. Если бы мне раньше сказали, что человек может месяц пролежать в снегу, ни разу не погревшись в помещении, не протянув к костру руки, я бы не поверил. Месяц в ветхих, продырявленных шинелях! Тело била непрерывная дрожь. От холода все почернели, ходили сгорбившись, точно старики. Дни тянулись тягостно, как в кошмарном сне. От ржаных сухарей и невыносимо соленой колбасы мучила неуголимая жажда, приходилось всё время пить ледяную воду. Ели вши. От пуль больше не прятались, о ранении мечтали, как о благодати, и даже сама смерть стала казаться нестрашной.

Однажды, возвращаясь в окопы с грузом боеприпасов, мы наткнулись на землянку и, надеясь погреться немного, вошли внутрь. У раскаленной печурки сидели офицеры. Они нас выгнали, не позволили остаться даже на пять минут. Ребята просили, умоляли, но офицеры были непреклонны.

Потом в наши окопы пришла вода. Пришла ночью, коварно, как вражеский лазутчик. Мы долго ворочались в своих снежных гнездах, не понимая, в чем дело, почему стало ещё холоднее и неприятнее. И только утром, вмерзнув в свои ячейки, осознали нагрянувшую беду. Выдирались силой, шинели были твердые, как листы железа...

Наконец, началось наступление, которого теперь все ждали, как единственного возможного избавления.

Утром проснулись — лёд на речном берегу сплошь покрыт серыми шинелями. Ночью бойцы стекались к реке и теперь притаились за береговыми укрытиями в ожидании сигнала. Мы покинули свои опостылевшие ямы и тоже спустились вниз. Взвод скучился под самым берегом, стремясь, как и все, поплотнее прижаться к защитному склону. Противник заметил скопление людей и открыл сильный огонь. Пули достать нас не могли, зато легко могли достать осколки снарядов и мины.

Наши командиры расположились в стороне от бойцов. Там были комбат, наш комвзвода Володя, старшина и ещё один ротный. Им было весело, слышался частый смех. Они в очереди

пили водку из жестяной кружки, наполняемой старшиной. Нам, бойцам, старшина тоже налил по четверти кружки — для храбрости.

Началась артподготовка. Командиры смотрели на часы, ожидая условного сигнала.

И вот в небо взлетели три красные ракеты.

Не знаю, сколько я пробежал, борясь с непреодолимым желанием упасть на землю. Но пока бежал, почти полностью отрезвел, согрелся и совершенно выбился из сил. Плюхнулся в снег и несколько минут лежал, не шевелясь, стараясь как можно плотнее вжаться в землю. Наконец, заставил себя поднять голову: впереди, метрах в трехстах, виднелся холм, на котором были немцы. Его-то нам и предстояло взять.

Почти у самого холма я было залег, но тут мимо меня промчались человек двадцать в белых маскировочных халатах. Это прибавило мне мужества, и я побежал вслед за ними. Мы достигли холма и стали карабкаться вверх по склону. Огонь противника здесь оказался несколько слабее, по-видимому, наши уже были наверху. Вскоре я отстал от бойцов в масках халатах. Вдруг навстречу мне из дота выскочил немец с пистолетом в руке. Справившись с мгновенным испугом, я вскинул автомат и всадил в него остаток диска. Это был первый, убитый мною.

Огонь хотя и поредел, но всё ещё продолжался. Было непонятно, оставались ли ещё на холме немцы, или нет. В траншеях валялись одни убитые. По-видимому, холм уже был нашим. Бойцы рыскали по траншеям и дотам в надежде поживиться. Не церемонясь, обыскивали трупы.

Я вспомнил про обещанные комбатом эшелоны с продуктами. Гляжу — сидят в кузове грузовой машины два хлопча и уписывают за обе щеки что-то, похожее на гуталин.

— Киньте-ка, ребята, и мне коробочку! — попросил я.

Ребята кинули мне коробку, похожую на коробку с ваксой. Там были две круглые плитки шоколада.

Не успел я доесть шоколад, как раздались крики:

— Вперед! Вперед!

Надо было бежать дальше, а не хотелось чертовски. Тут я вспомнил о своем взводе, стал его искать. Наткнулся на какого-то хрипато старшину, он остановил меня, заорал:

Что ты шастаешь, резину тянешь! А ну, марш туда! — и указал рукой на равнину под холмом.

Так и не найдя никого из своих, я бросился вниз по склону. Впереди уже бежали люди, рассыпавшись по заснеженному полю. Дальше всех ушла группа в маскхалатах, вслед за которой я карабкался на холм.

Чем ближе мы продвигались к противнику, тем сильнее становился огонь. Час назад мне казалось, что сильнее огня и быть не может, а теперь уже предыдущий огненный шквал показался куда более умеренным по сравнению с этой чудовищной вакханалией свинца и железа.

Я бежал вперед, а в голове гвоздила одна мысль: "Сейчас упаду, сейчас грохнусь, не выдержу!" Но продолжал бежать, зная, что если упаду, то больше не поднимусь, не хватит духу.

Вдруг впереди грохнуло, и страшный удар в бедро свалил меня с ног. Но сильная боль не заглушила страха. Я лежал, уткнувшись лицом в снег, объятый ужасом: "Убьет, не уцелеть, ни за что не уцелеть на этой ровной доске". Наконец, я осторожно поднял голову, высматривая хоть какое-нибудь укрытие. Ничего такого поблизости не было, только впереди, метрах в семидесяти, лежал большой валун. Ползти было больно и неловко, но, подгоняемый страхом, я всё же дополз до камня.

Я недолго наслаждался своей относительной безопасностью. Кто-то с размаху плюхнулся рядом со мной на землю и стал отчаянно меня теснить, выталкивая из укрытия. Я сопротивлялся изо всех сил, а настырный сосед всё жал и жал. Обозлившись, я посулил:

— Если не перестанешь пихаться, тресну автоматом.

Угроза подействовала, сосед перестал толкаться и затих. Это был молоденький паренек, примерно моего года рождения, впервые участвовавший в атаке. Мне его стало жалко. Так мы лежали, прижавшись друг к другу, а кругом бушевал огонь. В валун ударялись бесчисленные осколки снарядов, отсекали от него острые каменные крошки, больно впивавшиеся нам в руки. И вдруг — снова ужасный грохот. Я потерял сознание...

Я видел луг, покрытый сочной травой. Кругом цветы, а впе-

реди — небольшая тополиная роща. Теплое дуновение ветерка ласкало лицо. Казалось, что я лежу не на траве, а парю в воздушном гамаке.

И вдруг в эту безмятежную красоту ворвался адский грохот. Сознание вернулось, и я почувствовал невыносимую боль в ногах. Ощущение было такое, будто они вырваны с корнем.

“Как же я буду жить без ног? Да уж лучше умереть... А что, если ноги целы?” — думал я с надеждой, но взглянуть боялся.

— Эй, друг! — толкнул я соседа. — Глянь на мои ноги, целы ли?

Никакого ответа. Я снова толкнул. Тело поддалось, но как-то деревянно. Взглянул и обомлел: у соседа разворочен весь череп и окрашенные кровью мозги медленно подплывают под камень. К горлу подступила рвота...

Собравшись с духом, посмотрел сам — ноги целехоньки, только правая выше колена в крови, да штаны разодраны. Почувствовал огромное облегчение, с легким сердцем оттолкнул труп — защита ему больше не нужна.

Не помню, сколько времени я пролежал, не шелохнувшись. Когда стемнело и огонь стал ослабевать, я нашел в себе силы приподняться. Кое-как наложил на правую ногу жгут, и штыком, снятым с винтовки убитого, до отказа закрутил. Потом началось забытье, бред. Мучили боль, жажда. Я был в сильном жару и одновременно замерзал. Руки были обморожены, пальцы болели. Перед рассветом огонь почти полностью прекратился. Впереди алело зарево пожара, позади, метрах в пятидесяти, чернела громада подбитого танка с протянувшейся вперед гусеницей. С разных концов огромного поля раздавались крики раненых.

В моем забытии приятные видения чередовались с кошмарными. То мне казалось, будто я в госпитале, кругом тепло, бело. Надо мною склоняются ласковые красивые сестры с заботой и любовью. А то мерещился убитый мною немец, его выпученный стеклянный глаз смотрит с неммым укором. Вот он встает, зовет других немцев, и они надвигаются на меня всё ближе, всё неотвратимей...

Я в ужасе пробудился, схватился за автомат. Нестерпимо мучила жажда. Утолить бы её снегом, но его нет. Снег исчез, растаял, кругом — всё черно, ни одного белого пятнышка.

”Отчего бы это? Потеплело, или от взрывов?” Впился губами в мокрую землю, на зубах захрустел песок.

Серое беспросветное утро ничего не изменило. Прибавилось только чувство голода. Где-то в середине дня прошел мимо молодой солдатик. Он шел в тыл бодро, волоча по земле санки от пулемета.

— Прихвати, браток, пропадаю тут, в ногу ранен, — попросил я.

— Некогда мне, — ответил солдатик, спокойно, бесстрастно. — Полежи еще чуток, придут санитары, подберут.

В конце дня, когда стало темнеть, подъехал танк. Танкисты стали буксировать подбитую машину. Я попросил их меня взять. Они ответили то же, что и солдатик: некогда, мол, нам, полежи, авось подберут.

— Да хоть на гусеницу, братцы! — взмолился я.

Не взяли. Прицепили танк и укатили, волоча широкую порожнюю ленту гусеницы.

Наступила вторая ночь. Я по-прежнему пребывал в безразличном полубеспамятстве. И вдруг, будто что-то толкнуло, очнулся среди ночи. Моя участь предстала предо мной во всей своей безнадежности. И я решил, что настало время действовать. Собрав все свои силы, я приподнялся на коленях, но тут же упал от острой боли в ноге. Снова попытался подняться, и снова упал. Но в третий раз удалось удержаться, проползти шага два на коленях, упираясь прикладом автомата в землю.

Так я полз весь остаток ночи. Проковыляю на коленях несколько шагов, какое-то время отдохну, пока боль в ноге не утихнет, снова встаю на колени, ползу дальше. Мешали многочисленные воронки, трупы. Огибать трупы было трудно, через них я переползал. Порой впадал в забытье; один раз очнулся и обнаружил, что лежу на трупе...

Рассвет застал меня метрах в двухстах от реки. Странно, но здесь еще был снег. Я долго его ел, и немного утолил жажду. Вдруг с трескучим стрижиным писком мимо пронеслась стайка пуль, вслед за ними змеей прошуршала мина и упала впереди. Снова шуршание и взрыв, на этот раз сзади. Я обомлел: ”вилка!” Третью жди на себя. Прилетит неслышно, и поминай как звали!

Я врос в землю, не дыша от страха. Лежал минуту, другую, —

мины всё нет. Осмелел, поднял голову. Не летит. Тогда я снова пополз. Полз судорожно, как попало, боком, на брюхе, волоча раненую ногу, не обращая внимания на боль, замирая от страха и неистового желания жить.

“Спаستись, спастись! Скорее, скорее!” — билась единственная мысль. Казалось невыносимым погибнуть здесь, у самого порога своих позиций, после всего, что пришлось пережить.

Третья мина так и не прилетела. Кто тут озорничал, кто потешался, или кто испытывал малую, объятую ужасом букашку — немецкие стрелки, или Стрелок там, повыше? Я благополучно дополз до берега и поспешно скатился на речной лед. Нет, видно, всё-таки не обошлось без того, Высшего. Прямо передо мной стояла на льду кухня и около неё четверо — повар, два бойца и наш дорогой ротный старшина. Не левее, не правее, а как раз напротив. Как тут не уверовать!

Старшина подбежал ко мне, хотел подтащить к кухне, но я запротестовал, хотя силы совершенно покинули меня. Старшина налил мне в кружку водки. По телу растеклось невообразимое приятное тепло.

— Младший лейтенант, почитай, первым отвоевался, — рассказывал старшина. — Пошел вперед, а мы с комбатом за ним глядели. Вдруг ударило возле него, дымом весь окутался. А когда дым рассеялся, видим, поднялся, закрутился на одном месте, вроде ищет чего-то. Подобрал и пошел назад. Когда подошел близко, увидели, что у него нет руки по локоть, один мосол розовый торчит из шинели, а в другой руке он свою оторванную держит. Идет веселый, довольный, помахал нам оторванной рукой, крикнул: “Прощайте, друзья, не поминайте лихом, я отвоевался!” — и пошагал дальше в тыл. — Старшина помолчал. — А капитан погиб через полчаса. Да глупо как! Гранату с собой носил в кармане шинели, для чего — неизвестно. Лежал, елозил на ней, да, видно, доелозился до того, что у усики у чеки разогнулись. Ну вот... Так разворотило — глядеть страшно. Я в это время сюда ходил за водкой, он послал. А то и меня бы... Не судьба, видно.

Меня было решено везти в санбат. Положили на пулеметные саночки, двое бойцов взялись за веревку и потащили. Это оказалось, однако, далеко нелегким делом. Лед отсырел, местами выступила вода, санки не скользили, а врезались в эту шугу. Там,

где было глубоко, ребята переносили меня на руках. Двигались медленно, везти было далеко. Санбат находился в том леске, откуда начиналось наше первое наступление.

В санбате старшина слал меня санитарам, и мы простились. Меня положили на нарах, в сенях, вместе с другими ранеными. За столом у маленького окошка сидела женщина и регистрировала. Это была ППЖ покойного комбата.

В ожидании своей очереди я некоторое время глядел на неё. Нельзя было не залюбоваться ее лицом, матово-смуглым, с нежным точеным овалом. Но на ее губах бродило брезгливое отвращение. Отвращение было и в её огромных черных глазах. А когда она глядела на очередного раненого бойца, отвращение это сменялось холодной, почти злой враждебностью.

Когда подошла моя очередь, я хотел было рассказать ей о печальной судьбе комбата, но воздержался.

После регистрации меня перенесли в другое помещение. Посередине стояла большая железная, раскаленная докрасна печка. Вдоль стен шли круговые двухъярусные нары, до отказа набитые ранеными. Пол тоже был сплошь устелен телами.

Меня положили возле самой печки, других мест не было. Я был рад. Жар проникал в кости, выпаривая, выгоняя ввевшийся холод. Несмотря на сильную боль в ноге, я блаженствовал и всё пододвигался к печке, всё не мог насытиться её теплом.

Потом меня унесли в операционную, сделали операцию — вытащили осколок снаряда и сделали разрезы. У меня оказались две раны — в бедре и в стопе. На другой день отправили в полевой госпиталь, в город Торопец. Везли сначала на лошадях, потом машиной. Трясло невероятно, зато не было холодно, мы были завернуты в теплые ватные конверты. После операции у меня открылось кровотечение и не прекращалось до самого Торопца, весь конверт был в крови.

Из Торопца нас в товарных вагонах отправили в Калинин. Дорогу немцы бомбили. Поезд мчался рывками — то несся, как бешеный, то резко осаживал. Рвались бомбы, вагоны качало, швыряло. Было удивительно, как они ещё держатся на рельсах. Трое суток длилась эта езда.

Госпиталь в Калинин был переполнен. Шло наступление, раненые всё прибывали, на койку клали по двое, даже по трое.

Вместе со мной лежал боец, раненый в руку, и это облегчало моё положение — пока он гулял, я свободно вытягивался на койке. Койка стояла в узком коридоре. Без конца ходили и бегали санитары с носилками, медперсонал, легко раненые. Покоя не было, да и нервы стали сдавать. На ногу, ниже колена, наложили гипс — в стопе была повреждена кость.

5

Из Калинина нас отправили в глубокий тыл, в Горький. Это путешествие, в отличие от первого, было благополучным, даже комфортабельным. Место мне досталось внизу. Поезд шел, мягко покачиваясь, мы лежали на чистом белье, обходительные сестры в белоснежных халатах ухаживали за нами.

Госпиталь, куда нас привезли, находился в Канавино, в здании школы. В окна была видна Ока, элеватор и противоположный берег, называемый Мызой. Палатные старожилы встретили новичков недружелюбно. Но постепенно все пообвыклись, попритерлись друг к другу, и вся недоброежелательность выветрилась. Таков человек. Ему нужно значительно больше времени, чем собаке, чтобы обнюхаться.

Между тем, я медленно начал поправляться. Мне наложили гипс на всю ногу; она уже болела меньше, зато очень чесалась и нехорошо пахла. У всех нас гноились раны, и запах в палате стоял тяжелый. Я, как и все раненые в ногу, завидовал тем, кто был ранен в руку и мог ходить. У последних, впрочем, были свои заботы, они вынуждены были носить на себе гипсовые панцири, и руки у них держались на весу при помощи деревянных распорок, отчего их называли аэропланами.

В конце мая я стал ходить на костылях, а в июне гипс сняли. Нога под ним оказалась тонкой, как палка. Однако, недели через две, после упражнений и массажа, приняла прежний вид.

В июле начались бомбежки. Немцы хотели стереть с лица земли Автозавод, но попутно доставалось и району, где находился завод по ремонту танков. А наш госпиталь был как раз напротив, в каких-нибудь трехстах метрах.

Каждый вечер, едва начинало смеркаться, в небе раздавался рокот моторов и вслед за этим — грохот. Стреляли зенитки и пуле-

меты, рвались бомбы, барабанили по крышам осколки и все это — под зловещий лейтмотив непрерывного самолетного гула.

В госпитале начиналась паника. Бегали суматошно сестры, нянечки, раненые, кто как мог спускались вниз, в подвал. Госпиталь, однако, уцелел. Кругом рвались бомбы, горели и рушились здания, а он стоял — невредимый. Был случай, когда в сад, метрах в сорока от госпиталя, упала огромная полутонна бомба и, не разорвавшись, ушла глубоко в землю.

Бомбежки прекратились, когда началась Курская битва, и немцы вынуждены были усилить там свою авиацию.

В конце июля я бросил костыли и стал ходить с палочкой. Раны зажили, но стопа всё ещё болела, и я сильно прихрамывал. Наконец, настал день нашей комиссовки. Дня этого все ожидали с нетерпением, решалась судьба — жить или умереть, дадут ли строевую или пошлют в стройбат. Мне всё это казалось безразличным, я снова хотел на фронт.

Комиссовал главный хирург госпиталя — высокий старик с седым бобриком, в пенсне, из под которого глядели маленькие водянистые глаза. Обходов его боялись, как экзекуций. Тишина в палате воцарялась гробовая. Сопровождала его женщина терапевт. Старик покрутил мою ногу, пощупал, помял, велел походить. Потом, шепотом посоветовавшись с терапевтом, сказал, любезно осклабясь, что я признаюсь годным к нестроевой службе.

И вдруг я, неожиданно для самого себя, как последний идиот выпалил:

— Желаю идти в строй, товарищ главный хирург!

Старик воззрился на меня, набычась, его водянистые глаза выражали полнейшее непонимание. Но это длилось одно мгновение. Быстро, словно боясь, что я передумаю, он сказал, обращаясь к женщине терапевту:

— Ну что ж, не возражаю. — И, повернувшись ко мне, насмешливо добавил, — Геройский парень! [...]

Д. Аксельрод

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

СКИРИТИС*

Даже отсюда,
с черных выступов горных громад,
вижу вас,
волны,
волны играющий всплеск бокалов,
волны мыло запревших коней,
волны знамена павших когда-то солдат.

ЛЕСБОС

В свете поникшем стою я на Лесбоса мысе песчаном.
Все еще кружится вихрь. Буря стихает свистя.
Острые падают тени от дюн и кустов опаленных.
Наискось, в мутный закат, водная катится зыбь.
А из колеблемой дали плывет, нарастает и бьется
Старая эта тоска, дерзость смиряя мою.
Где мои Сампо** и Сафо? О них про себя напеваю.
Вторит мне только Борей, посох лишь внемлет один.

*Скиритис — горный хребет в Греции.

** Сампо — потерянный магический инструмент счастья в угро-финской мифологии.

ЯНТАРЬ

Флейтами волны опять зазвучали,
снова порыв мой уняли печали,
клик мой смолкающий ими развеян,
все же я слушаю, благоговая,
зов, что с полетом сливается в хоре
глухо мятущихся грохотов моря.
Вихрь, укрощая мою непокорность,
снял пелену с моей воли упорной, —
вот он скрипит, нелюдим, необуздан,
водит по гравию рашпилем грузным,
хлещет в лицо, будто плетью смиряя,
я же молитву одну повторяю:
— Божья волна, в твоей радостной буре
выточи веру из чистой лазури!
В нашей борьбе голосов и видений
выяви промысел тайных велений!
Гни и сломи, о лавина морская,
гордость мою — под тобой поникая,
пусть я в могиле немолчного моря
музыки жду, мне обещанной вскоре,
музыки, в чьей немоте светозарной
вырасту темной смолою янтарной.
Замкнутый кругом твоих возвращений,
падаю в рай, обескрыленный пленник.

Алексис Раннит
Перевод Лидии Алексеевой

Я УНЕС РОССИЮ

Т. II. "РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ"

У графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой

Чай у Я. Б. Рабиновича и жены его Ольги Владимировны были всегда приятны. Кроме А. Н. Пьянкова бывал Ник. Ник. Евреинов (со своим "театром для себя"), всегда остроумен, парадоксален. Бывали братья Д. Н. и Б. Н. Ермоловы, наши пензяки, родственники известного генерала Ермолова, но их по Пензе я не знал, оба учились где-то в столицах. До революции Дмитрий Николаевич пошел по министерству внутренних дел, в гражданскую войну — в белой разведке, а сейчас у него был "бакалейный магазин", но в его "бакалею" я не особенно верил. Почему-то — без всяких оснований — казалось, что он и сейчас должен быть связан с какими-то *Intelligence*. Борис Николаевич был византолог, работал в Византийском Институте в Париже. Еще встречал я у Я. Б. гвардии капитана (артиллера) М. Н. Сейдлера (достоимый мастер ложки "Юпитер"). Он был тот самый офицер, который от имени офицерской организации предлагал вел. кн. Михаилу Александровичу (после его отречения) побег из России. План, говорят, был безошибочен. Но Михаил Александрович отклонял всякий побег, говоря "я не хочу бежать из своей страны". Отказ, по-моему, был не мудр. Я никогда не понимал этой *"нерасторжимой связи со своей страной"*. Ну, а если моя страна осатанела, озверела, обокаянилась, как Россия в 1917-18 гг.? В Дневнике за 1921 г. И. А. Бунин записал: "И как надоела всему миру своими гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая святая Русь!". И был прав. Я всегда чувствовал свою бытийственную, личностную связь со *всеим миром*, а не только со *"своей страной"*. Весь

См. "Н. Ж.", кн. 144, 145, 147, 148, 152.

мир — мой. Весь мир — Божий.

Вскоре после моего знакомства с М. Н. Сейдлером Я. Б. передал, что у него и его сестры графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой возникла мысль: не записал ли бы я ее рассказы о вел. кн. Михаиле Александровиче, с которым она была дружна, а ее покойный муж гр. Воронцов-Дашков был самым близким (с детства) другом Михаила Александровича? Я согласился.

В условленный день я пришел к Л. Н. в отель "Наполеон" (Авеню Фридланд), где она жила. Она поразила меня и приветливостью и своей красотой. Близкий к придворным кругам человек говорил мне, что графиня Людмила Николаевна слыла при дворе самой красивой женщиной. В таких оценках, думаю, "двор" был компетентен.

Так как Л. Н. рассказывала о великом князе, как о *человеке*, я предложил заглавие "Человек, отрекшийся от трона". Л. Н. согласилась. Так начались мои записи рассказов Л. Н. В ее комнату подавался чай и ч. н. к чаю. Ее рассказы я записывал скорописью. Дважды для уточнений рассказанного Л. Н. приглашала на эти "чай" генерала кн. Бекович-Черкасского, бывшего командира Татарского полка Дикой Дивизии и быв. командира Дагестанского полка генерала кн. Амилахвари той же дивизии, которой во время войны командовал вел. кн. Михаил Александрович. Оба князя оставили у меня самое приятное воспоминание. Не помню, чем занимался эмигрант Бекович-Черкасский, но Амилахвари зарабатывал на жизнь, как парижский таксист.

И Л. Н. и я полагали, что ее рассказы о великом князе, отрекшемся от престола, заинтересуют и русскую и иностранную печать. Увы, мы ошиблись. "Последние Новости" отклонили печатание. А. А. Поляков сказал мне коротко: "*Нам* не подходит". Вероятно и единственный человек, уговаривавший в 1917 году Михаила Александровича принять престол, П. Н. Милюков был против печатания, ибо теперь стал республиканцем. Иностранные газеты совершенно не заинтересовались. И единственно, где я напечатал эти записи, была газета "Сегодня", за какие-то гроши, причем редакция сделала в тексте сокращения.

Я не печатаю в этой книге "Нового Журнала" запись рассказов о вел. кн. Михаиле Александровиче полностью потому,

что я уже дал их в кн. 147. Но во второй том трилогии "Я унес Россию" они войдут полностью. Сейчас беру только конец записи рассказа Л. Н. — об убийстве великого князя, ибо он связан с неким "послесловием": с моей встречей в Париже с убийцей вел. кн. Михаила Александровича Григорием Мясниковым.

"Номера Королёва"

"В Перми, в небольшом провинциальном городе, Михаил Александрович и Н. Н. Джонсон жили довольно свободно. Ежедневно от неизвестных лиц они получали передачи.

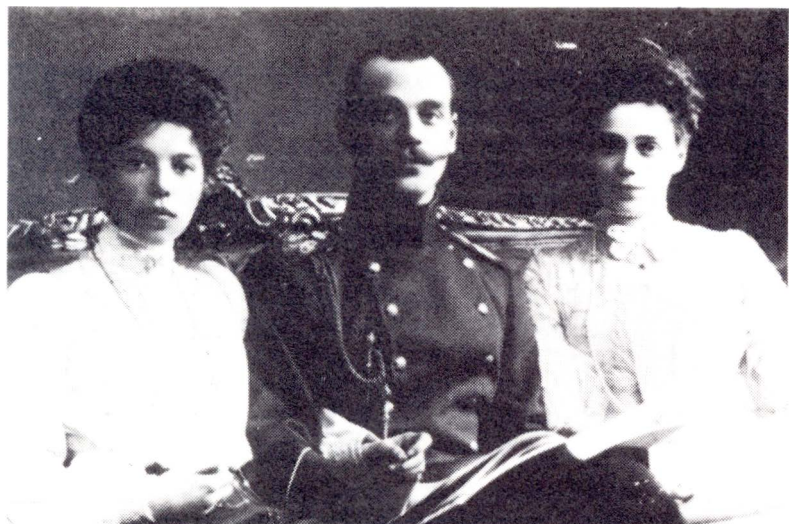
В 1920 году, когда я вместе с мужем уже покидала Россию, по пути за границу, я узнала об ужасном конце Михаила Александровича и Н. Н. Джонсона.

Мне рассказывали, что отправка в Пермь произошла, будто бы, по личному приказу Ленина, и что Ленин, якобы, выслал охрану во главе с чекистом, лично перед Лениным ответственным.

Но в это время по всей России действовала "власть на местах" и в Перми осуществлял эту "власть на местах" кровавый коммунист Мясников. Этот коммунист стал добиваться расстрела Михаила Александровича во что бы то ни стало. Мясников ночью явился к Михаилу Александровичу, объявив ему и Н. Н. Джонсону, что их сейчас увезут, потому что на город наступают белые.

Михаила Александровича и Н. Н. Джонсона под сильным конвоем повезли из Перми по направлению к близлежащему фабричному поселку Мотовилиха. Но по дороге, в лесу Мясников внезапно выстрелил, ранив Михаила Александровича. Тот уже раненый бросился на него, но силы были чересчур неравны и Михаил Александрович и Н. Н. Джонсон были расстреляны. Тела Михаила Александровича и Н. Н. Джонсона были брошены в плавильную печь на заводе в Мотовилихе.

По жестокой иронии революции теперь в Париже живут, как эмигранты, жена великого князя Михаила Александровича графиня Н. С. Брасова, в 1931 г. потерявшая разбившегося на автомобиле единственного сына Михаила Александровича Георг



Вел. кн. Михаил Александрович с сестрами Ольгой и Ксенией. За фотографию благодарю кн. А. П. Щербатова.



*ВЕЛ КН Михаил Александрович на маневрах.
За фотографию благодарю Hoover Institution.*

гия; и там же в Париже живет убийца великого князя Михаила Александровича коммунист Мясников, превратившийся в "контрреволюционера".

Вспоминая трагическую судьбу Михаила Александровича, я всегда задаю себе один и тот же вопрос: почему он не воспользовался еще в Гатчине услугами людей, предлагавших ему бегство?

В Гатчине предлагали три серьезных плана бегства. Один план предлагал приближенный к нему генерал Врангель. Второй план от имени офицерской организации предлагал мой брат. В третий раз летчики предлагали бегство на аэроплане. Но все три раза Михаил Александрович отклонял бегство, говоря — "Мне не нужно и я не хочу бежать из своей страны".

"Кинжал"

На этом — отказе от побега — кончаются рассказы Людмилы Николаевны. А теперь о Григории Мясникове, которого я единственный раз встретил в Париже.

Телефона у нас в Париже не было. Тогда во Франции телефон был некой роскошью (не то что в Америке у каждого свой телефон!). Поэтому я заходил к Б. И. Николаевскому без предупреждений. Жили мы неподалеку. И вот захожу как-то к Б. И., стучу в дверь его комнаты и вхожу. Б. И. — за столом, а в кресле какой-то смуглый, муругий, плотный человек с бледно-одутловатым лицом, черными неопрятными волосами, черные усы, лицо будто замкнуто на семь замков. При моем появлении муругий сразу же поднялся — невысокий, крепко сложенный. "Ну, я пойду, Борис Иваныч", — и протянул ему руку. Николаевский пошел проводить его до выходной двери.

Возвращается Б. И., спрашивает с улыбкой: — "Видали?" — "Видел, кто это?". Б. И. *со значением*: — "А это Григорий Мясников..." Я пораженно: — "Как? Лидер рабочей оппозиции? Убийца вел. кн. Михаила Александровича?!" Б. И. подтверждая кивает головой: "Он самый. Работает на заводе. Живет ультра-конспиративно по фальшивому паспорту, французы прикрыли его. И все-таки боится чекистской мести. Совершенно ни с кем не встречается. Только ко мне приходит. Рассказывает

много интересного”. — Я подумал, вероятно, рассказы Мясникова Б. И. для истории записывает. ”Знаете, — продолжал Б. И., — он как-то рассказал мне *что* толкнуло его на убийство великого князя. Это целая беллетристика и довольно сложная, это уж больше по вашей части...”

И Б. И. передал мне рассказ Мясникова, что когда он был еще молодым рабочим и впервые был арестован за революционную деятельность и заключен в тюрьму, то, беря из тюремной библиотеки книги, читал Пушкина, как говорит, ”запоем” (оказывается, Пушкин — ”любимый поэт” Мясникова!). И вот Мясников наткнулся на стихотворение ”Кинжал”. ”И он, — говорит Б. И., — рассказывал, что ”Кинжал” произвел на него такое потрясающее впечатление, что в тюрьме он *внутренно поклялся* стать именно вот таким революционным ”кинжалом”. Вот где психологические корни его убийства великого князя. И говорил он об этом очень искренне...”

Конечно, Александр Сергеевич Пушкин не мог бы, вероятно, никак себе представить такого потрясающего читательского ”отзвука” на его ”Кинжал”. Но зная ”Кинжал” и обстоятельства убийства вел. кн. Михаила Александровича надо сказать, что большевик Мясников был вовсе не человеком того ”кинжального” типа, о которых писал Пушкин. Приведу стихотворение и посмотрим, есть ли в нем хоть какая-нибудь связь с той ”манией”, которая ”вспыхнула” в большевике Мясникове.

КИНЖАЛ

Лемносский Бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал.
Последний судия позора и обиды.

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния Богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,

И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар неожиданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Ты Кесаря сразил — и мертв объемлет он
Помпея мрамор горделивый.

Исчадь мятежей подъемлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый поник.

Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

О, юный праведник, избранник роковой
О, Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казенном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Марк Юний Брут был заговорщиком против Цезаря и участвовал в его убийстве довольно подло. "Tu quoque, fili mi!", "Et toi aussi, mon fils!" "И ты — о, Брут!" — приписываются слова Цезарю, увидевшему среди "кинжальщиков" своего любимого Брута. Зато кончил Брут мужественно — самоубийством. Но оставим древности. Перейдем в новую историю. Известно, что под "апостолом гибели" Пушкин разумел кровавую гадину,

якобинца Марата, а под девой Эвменидой — Шарлотту Кордэ. Занд — немецкий студент, убивший консервативного писателя Коцебу. Но все эти "кинжалы" отнюдь не похожи на убийство Мясниковым великого князя Михаила Александровича. Идя убивать Шарлотта Кордэ *знала, что убивает и себя*, она *жертвовала* собой. И умерла на эшафоте. Студент Занд, идя на убийство Коцебу, предвидел и свою участь. И был казнен на плахе. Эти "кинжалы" были скорее людьми типа Ивана Каляева, не только знавшего, что, убивая вел. кн. Сергея Александровича, он и сам идет на смерть, но и отказавшегося от подачи прошения о помиловании, о чем настойчиво просили его в тюрьме и прокурор Федоров и вдова убитого Сергея Александровича, вел. кн. Елизавета Федоровна. Каляев отказался от "помилования", ибо добровольно *шел на смерть*. И был повешен во дворе Петропавловской крепости. Он был действительно пушкинским "кинжалом", так же, как и Шарлотта Кордэ. Ну, а Мясников?

Великий князь Михаил Александрович был беззащитным пленником его (Мясникова!) большевицкой партии. Никаких правительственных постов он никогда не занимал. От престола отрекся. Планы побегов отклонил. Так что весь его "грех" перед рабочим-большевиком Мясниковым состоял только в том, что он был одним из династии Романовых. И только. "Грех" не велик. К тому же, убивая безоружного, беззащитного пленного великого князя Мясников *свою жизнь* не только не отдавал (как Кордэ и Каляев), но и решительно ею никак не рисковал. Он попросту был уголовным бандитом, убийцей-большевиком беззащитного человека, как Юровский и Голошекин были уголовными убийцами-большевиками царя и его семьи.

Но рассказ Бориса Ивановича об этой мясниковской "кинжальной" мании меня беллетристически распалил. Мне захотелось с Мясниковым встретиться — "Борис Иванович, нельзя ли это устроить?" — спросил я. Николаевский отрицательно покачал головой: — "Ausgeschlossen, — сказал, — Мясников боится всех русских встреч. В Париже встречается единственно со мной потому, что знал меня еще по России..."

Но чем же кончил этот "сверхконспиратор" Мясников? В большевицкой России он был герой-убийца вел. кн. Михаила Александровича, потом "лидер рабочей оппозиции", попробовал

после Октября перечить даже непререкаемому большевицкому "идолу" Ленину, за что и получил ссылку на Кавказ, а оттуда бежал за границу, ибо хорошо понимал партийные "военные хитрости": сначала — на Кавказ, а потом — на Тот Свет! Так он и пробрался в Париж. Но кончил — глупее глупого.

После победы союзников, когда русскую эмиграцию (от князей до Григория Мясникова!) охватил угар "советского патриотизма", этот старый партиец-подпольщик тоже поверил кагебешной сталинской пропаганде. Из своего стопроцентного "конспирата" вышел, поехал прямо в советское посольство "на разговоры". Вероятно, "разговаривал" с первым секретарем (резидентом КГБ) А. А. Гузовским, с тем, который угощал И. А. Бунину (вместе с послом Богомоловым) "русской рябиновкой" и "русской икрой", заливая Ивану Великому тары-бары о "полном собрании сочинений Ивана Алексеевича в Москве, в Госиздате". А. А. Гузовский посылал и Н. А. Тэффи букеты роскошных цветов, напоминая ей, как когда-то она сотрудничала в Петербурге в легальной "Новой Жизни" у Ленина. Что и как "заливал" А. А. Гузовский Григорию Мясникову — тайна. Но "залил" так, что убийца вел. кн., старый конспиратор-подпольщик-большевик Григорий Мясников вернулся в Москву, где его, конечно, и "шлёпнули" на Лубянке. Жизнь отплатила не правой рукой, так левой!

У Н. П. Саблина

На одном из последних "чаев" Людмила Николаевна сказала, что виделась с Н. П. Саблиным (бывшим флигель-адъютантом государя) и он просил узнать у меня: не соглашусь ли я записать и его рассказы, ибо сам он человек не пишущий, к тому же больной. Я с удовольствием согласился, ибо знал о близости Саблина к быв. государыне и государю и рассказы его должны были быть исторически интересны. Людмила Николаевна дала мне его телефон. Я созвонился с Николаем Павловичем и мы встретились.

Жил Саблин, бывший флигель-адъютант императора, капитан 2-го ранга гвардейского экипажа* на рю Эрланжэ в неболь-

*Кстати, это слово гвардейцы произносили при склонении с ударением на последнем слоге: экипаж^а, экипаж^у и т. д.

шой, но хорошей квартире. Жена его (красивая, эффектная), кажется, бывшая певица. Приняли меня любезно. Но сразу я увидел, что Н. П. — больной человек (сердце). Мы сговорились, когда я приеду к нему на "сеансы" (как он назвал мои записывания его рассказов). Был Н. П. совсем седой, но по-прежнему очень красивый, по-военному (несмотря на возраст) выправленный. К сожалению таких "сеансов" было всего пять-шесть. Болезнь Н. П. их прервала. Вот что рассказал мне Николай Павлович.

С царской семьей на "Штандарте"

"Я был представлен императрице и императору в 1906 году в апреле месяце в Царском селе. Я был тогда 26-летним лейтенантом гвардейского экипажа. Помню, как сейчас, в Царском селе парад морскому батальону, только что вернувшемуся с подавления революционных беспорядков в Прибалтике. После парада в присутствии государя в Александровском дворце состоялся высочайший завтрак.

В громадном круглом зале дворца были сервированы два стола; за одним, круглым, сидели государь Николай II, императрица, княжны, великая княгиня Мария Павловна младшая и двенадцатилетний Дмитрий Павлович. С царской семьей сидели несколько приближенных офицеров. Мы же, остальные офицеры гвардейского экипажа, заняли места за другим столом.

Я уже знал о моем будущем назначении на царскую яхту "Штандарт", но все же был взволнован, когда дежурный, старший капитан I ранга Чагин, командир "Штандарта", подошел ко мне, сказав, что хочет меня представить императрице, как будущего офицера яхты. И Чагин подвел меня, представляя, к императрице, стоявшей возле сервированного стола. Императрица подала мне руку, сказав:

— Я очень рада.

И я занял место за царским столом, неподалеку от императрицы. Меня поразила ее спокойная, величавая красота. Императрица держала себя очень просто, разговаривала, смеялась, она хорошо говорила по-русски, хоть и с заметным немецким акцентом. Неподалеку от императрицы и прямо против меня сидела ее

фрейлина Анна Вырубова, с которой тогда уже была очень близка императрица. Но насколько очаровательное впечатление произвела на меня, молодого лейтенанта, императрица, настолько же мне не понравилась ближайшая к ней фрейлина. Я уже знал от лиц близких ко двору, что этой слабовольной, доброй женщиной многие пользовались для влияния на императрицу и это влияние причиняло тогда уже немало зла.

После окончания завтрака, во время которого я удостоился разговора с императрицей, я получил официальное назначение на яхту "Штандарт" и с тех пор в продолжение десяти лет стал одним из близких людей к царской семье. Вплоть до трагической катастрофы и революции я был одним из ближайших к императору и императрице людей. В продолжение лета и зимы 1906 года мы, несколько офицеров с яхты гвардейского экипажа: я, Тимирев, Салтанов, Вадбольский часто ездили в Петергоф к фрейлине Вырубовой, где жила она в дворцовом особняке; там обычно играли в домино, любимую игру государыни; иногда ездили к балалаечникам, музыку которых государыня также любила. Это времяпровождение вблизи государыни и близких ей лиц всегда было чрезвычайно приятно своей неприужденностью, простотой, весельем.

А в следующем 1907 году мы отправились на яхте с царской семьей в плаванье. В этом плаванье произошло в свое время обошедшее все газеты событие, когда царская яхта наскочила на камень около Аосских шхер. Помню, как сейчас, великолепный июньский день; в четыре часа я сдавал вахту старшему лейтенанту Терпигореву и лег отдохнуть в каюте, которая выходила на правый борт яхты, и заснул мертвым сном. Государыня с семьей в это время, окончив дневные игры с детьми, мыла руки, чтобы идти пить чай. Как вдруг в этот момент словно что-то подняло яхту и раздался страшный удар. Полетели со звоном битая посуда, стекла, в коридоре, в буфете творился форменный хаос, когда я выскочил из своей каюты, бросившись на носовую часть, узнать, в чем дело, где уже была вся команда.

Мы шли в этот момент в шхерах в конце Финского залива к северу. После страшного удара на носовой части на мгновение воцарилась полная тишина. Общий взгляд был устремлен наверх, где находилось все начальство. Оттуда раздался крик

капитана I ранга Чагина, командира яхты:

— Гичка! К спуску! Для его императорского величества!

Колокола громко в бой! На яхте тревога! По всей яхте водяные звонки тревоги. Все бросились по местам. Я как офицер заведующий всем кормовым отделением, по уставу должен был проверить, все ли закрыто от днища до верха, и поэтому волей-неволей встретил государя в его каюте. Государь был спокоен, но быстро собирал бумаги в портфель. (Это было трехнедельное плаванье).

— Что случилось? Каково положение наверху? — проговорил, обращаясь ко мне, государь. — Каким местом мы сидим на корме? — В каюте были государыня и дети.

Но ничего точного сообщить государю я не мог. Картина же в этот момент была такова: "Штандарт" накренился градусов на 19, кругом яхты масса кораблей, 15-20, все двигались прямо к яхте, не понимая, что случилось, в сознании необходимости подать помощь. Все начало выясняться спустя первые тревожные мгновенья. Оказалось, что яхта — саженьях в двадцати от каменного острова, но на фарватере появилось какое-то неизвестное препятствие. Палуба начала проваливаться, стуки раздавались в днище яхты, нос и корма вылезли, став свободными. Командир вошел к государю, прося его тут же съехать с яхты. В первый момент катастрофы мы все бросились искать матроса Деревенько, дядьку цесаревича.

Кругом яхты масса судов, шлюпок, все столпилось на случай оказать помощь яхте. Ревельское спасательное общество выслало свой пароход. Были вызваны немедленно все яхты, но ни одна из них не успела прийти. И государь с семьей перешел на рабочий крейсер "Азию", где и заночевал в 7 вечера.

Тем временем мы, офицеры, вместе с механиками, во главе с командиром осматривали яхту, доискиваясь причины катастрофы. При осмотре яхты мы нашли громадную вогнутость в днище, настолько большую, что если б эта вогнутость превратилась в пробоину, катастрофа могла бы принять куда более страшные формы.

К 12 часам ночи яхта была уже пуста. Весь экипаж был снят прибывшими ревельскими пароходами спасательного общества, а вместе с экипажем сняты были и уланские трубачи, всегда

увеселявшие музыкой государя и его семью в этих увеселительных прогулках на яхте.

Наступил день отплытия царской яхты. Этому предшествовал — и сопровождался большой пышностью — церемониал. Собрались все суда, назначенные к плаванию, с утра в полном составе и в полном порядке, как в смысле погрузки углем, так и в смысле порядка всей команды. Почти всегда плавание государя начиналось в 4 часа. И к этому времени "Штандарт", представлявший из себя красивейшую игрушку, — каждый момент слушал и ждал сигнала кондуктора, который стоял на мостике, наблюдая и ожидая выхода из Петергофа "Александра" под флагом императора.

Как только кондуктор кричал: "Государь император выходит из порта на "Алекса́ндре"! — с этого момента и начиналось плавание. Охрана судна становится на свои места. Все по своей службе. Паровые катера, два чудесных корабля — "Петергоф" и "Бунчук", под командой флаг-капитана идут медленно навстречу "Алекса́ндре". А "Штандарт" уже готов к принятию государя, его семьи и ближайшей свиты. На "Штандарте", уходящем в плавание с государем, обычно было такое количество народу: 10 человек ближайшей к государю свиты со своей прислугой; около 50 человек лакеев I, II и III классов (лакеи I класса служили государю, II класса — ближайшей свите, III класса — прочим сопровождавшим); 25 поваров и кухонной прислуги; хор музыкантов и певчих около 100 человек; и экипаж "Штандарта" — офицеры и матросы.

Паровые катера встречают "Алекса́ндр", на борту которого находится государь. Государь с семьей переходит с "Алекса́ндра" на "Бунчук"; оба катера, "Бунчук" и "Петергоф", судна замечательной красоты, и такова же подобранная на них команда: на одном подобраны все брюнеты, молодец к молодцу, на другом такие же молодцы блондины. Катера оборудованы по последнему слову морской техники.

На яхте оркестр играет встречу — в момент, когда с катера "Бунчук" государь переходит на свою царскую яхту. Государь обходит фронт офицеров и матросов. Государыня принимает поднесенные ей цветы. Наконец раздается команда: — По местам стоять! — и яхта снимается с якоря под звуки оркестра,

уходя в море, под флагом государя, и тогда все крепости Кронштадта салютуют. Но это зависело всегда от желания государя — идти ли под вымпелом или под флагом. Иногда государь приказывал выбросить флаг, а в море — брейт-вымпел.

Жизнь на яхте всегда шла по своему точному регламенту. В начале июля 1909 года яхта уходила в плавание на 24 дня. Первый курс был к шведским берегам, где государь должен был отдать визит шведскому королю, который был с визитом в прошлом году. Чудные берега, шхеры идут до самого Стокгольма; днем — видны укрепления; подходя к Стокгольму, государь вышел на борт — смотреть на лагерные укрепления и занятия шведских войск. В этот момент мы ясно различили отплывающий от берега катер, шедший по морю. Оказывается, на катере плыли высшие морские шведские офицеры, везшие ящики орденов для всех офицеров яхты "Штандарт", чтобы, прибыв в Швецию, мы все уже вместе с русскими орденами имели на груди шведские.

Ясный день. Солнце. Легкий бриз. Яхта подходит, скользит к Стокгольму. Чудный порт, все в нем сделано на широкую ногу, красиво. Полковник королевской гвардии встречает государя, у пристани уже стоит карета для эскорта государя во дворец, куда государь и уезжает с государыней с пристани под звуки музыки и крики далекой толпы.

Вечером в королевском дворце — обед. А на другой день — ответный завтрак на яхте. Дабы принять шведского короля и королеву, на рейд выезжаем мы, офицеры, на громадной гондоле в сорок гребцов. Гондола, сделанная из старинного дерева, очень красива. Итак, обменявшись визитом со шведским королем, побывав кроме того у великой княгини Марии Павловны младшей, вышедшей замуж за ненаследного принца Альбрехта, государь отдал приказ яхте плыть дальше, взяв курс на Киль, на свидание с германским императором Вильгельмом II.

В Киле было известно о приходе царской яхты; в городе царило оживленье, все готовилось к пышному приему. Но согласно приказанию государя, яхта, против всеобщего ожидания, прошла прямо к входному шлюзу. И только здесь, в шлюзе, встретил яхту громадный почетный караул в полковых старинных формах, в белых брюках, с громом оркестров музыки. И в



*Императрица и Н. П. Саблин
На "Штандарте". 1911 г.*



*Николай II-й и Н. П. Саблин, Шхеры, 1914 г.
За обе фотографии благодарю А. Р. Небольсина.*

тот момент, когда яхта дала ход из шлюза по каналу, справа и слева по берегу появились кавалерийские эскорты первых кавалерийских гвардейских полков Вильгельма II и полк Августа (бессмертные гусары). На каждых 11 человек конников приходился один офицер, все в полной парадной форме, необычайно красивой. На замечательных тонкокровных конях они скакали, сопровождая быстро идущую царскую яхту, скакали в карьер, и через каждые пять верст стоял новый взвод кавалеристов, сменявших доскакавших. Это было чрезвычайно эффектное зрелище, на которое государь и государыня, окруженные свитой, глядели с борта быстро идущей яхты.

Чтоб не отстать от яхты, кавалеристам приходилось делать объезды, они неслись карьером и ни на минуту не отставали. В трех главных местах были выставлены большие отряды пехоты с гремевшими оркестрами.

А на переходе из Киля в Вильгельмсхафен к яхте подплыл катер, везший на борту императора Вильгельма II. В это время я уже был близок к царской семье, как к императору, так, в особенности, и к императрице, и я знаю, что этого свиданья государь не хотел, им он тяготился, поэтому яхта и не заходила в Киль, но тут уже свиданье с германским императором состоялось, хотя было очень кратко и официально.

К вечеру из Вильгельмсхафена мы вышли в неуютное туманное Немецкое море. Тут началась качка. Налетел ветер, все наполнилось густым туманом. И только благодаря разным усовершенствованиям на немецких миноносцах, которые сигнализировали и в тумане, яхта могла спокойно выйти в бурное море. Началась морская качка, плохо действовавшая на великих княжен.

Зато к Шербургу мы подходили в ясную погоду, в полдень, по залитому солнцем морю. У Шербурга на рейде нас уже ждал весь французский флот. Под гром салютов со всех судов яхта стала в Шербурге на якорь. Из-за тумана навстречу нам были высланы курсировавшие крейсера. И в час дня на дредноуте "Републик" в высочайшем присутствии и в присутствии президента Франции — Фальера — состоялся завтрак. После завтрака у государя была беседа с президентом Фальером с глазу на глаз. А вечером на рейде началось необычайное празднество, электри-

ческая иллюминация, морской маскарад, венецианский оркестр.

На другой день произошел неприятный случай, который, к счастью, окончился благополучно. Надо было грузить уголь для похода в обратный путь. И надо было выбрать такое время, когда государя не было бы на яхте. Выбрали обеденное время, государь как раз отбыл на обед на дредноут "Прованс". Но когда в спешке подтягивали баржу с углем, между яхтой и баржей лопнул трап и три человека сорвались в воду. К счастью, их спасли. И все обошлось.

Через несколько дней царская яхта, провожаемая французскими судами, отбыла в Англию, в Портсмут. Посреди пролива нас встретил английский эскорт — три крейсера — и повел нас к Портсмуту. На громадном портсмутском рейде императорскую яхту встретил весь английский флот, построенный в каре. На нем было более тридцати английских адмиралов. Здесь же яхту государя встретил король Георг V на своей яхте "Виктория и Альберт" и, пропустив "Штандарт" вперед, пошел сзади нас. Между английскими кораблями стояли катера с названием эскадры, к которой мы подходили. Обход всего флота продолжался более полутора часов, после чего мы взяли направление к одному острову, где были собраны все частные яхты для международных гонок. Тут была и яхта английского короля, и яхта императора Вильгельма. Это была красивейшая картина, так как яхты были богатейшие и все только парусные. Международные гонки яхт продолжались три дня, на них выявились лучшие силы мира этого спорта.

В свободное время государь принимал на "Штандарте" офицеров английского полка, шефом которого он состоял. Играл английский военный оркестр. Принимал государь и разных высших английских должностных лиц, в числе которых был лорд-мэр в своем старинном одеянии.

В один из вечеров я был позван к государю, который предупредил меня, что на катере он совершит поездку на одну яхту и что эта поездка не подлежит никакой огласке. Яхта, которую посетили государь и государыня, принадлежала бывшей французской императрице Евгении (жене Наполеона III, она скончалась в 1920 году). На яхте государя и государыню встретила очень пожилая женщина, они провели в разговоре около 20

минут, простились и отбыли на "Штандарт".

Из всех офицеров только я и командир не были на берегу. Я командовал катером государя и получил тогда от государыни подарок в память этой стоянки в Англии.

Обратный путь был тот же. Немецкое море. Вильгельмсхафен. Киль. Мимо Киля мы проходили днем. И вдруг на одном из поворотов совершенно неожиданно увидели катер. Я был на вахте и вижу: катер императора Вильгельма. Он был в русской адмиральской форме (летней, белой), с большим букетом цветов. Это никого не обрадовало. Великие княжны Вильгельма не любили и были недовольны, потому что, как они говорили, — Вильгельм всегда паясничает, любит "валять дурака". Появление его было столь неожиданно, что принят он был на яхту через передний (грузовой) трап. Оставался он на яхте около двух часов и, как я узнал от государыни, — уговаривал их остановиться в Киле, чтоб видеть весь германский флот и участвовать в морских праздниках, которые должны были состояться на другой день. Но государь под каким-то предлогом отказался. И яхте было приказано в Киле взять запас воды и идти в шхеры в Финляндию, что и было сделано. Все плавание продолжалось 24 дня. Было это в 1910 году.

Григорий Распутин

Впервые я услышал имя Распутина в 1907 году в Финляндии. И услышал от государыни. Заговорила она о Распутине наедине со мной, сказав, что хотела бы узнать о нем мое мнение. Она попросила меня с ним встретиться. До этого я слышал, что какой-то простой человек бывает в царской семье. Но не придавал этому никакого значения. Я, разумеется, согласился с желаньем государыни, совершенно не представляя себе кого я встречу. Государыня предупредила меня, чтоб я не искал в этом человеке "чего-то особенного". — "Это очень набожный, прозорливый, настоящий русский мужичок, — сказала она, — он знает наизусть церковные службы. Конечно, это человек не вашего круга, но с ним вам будет интересно встретиться". И государыня дала мне его адрес.

Дня через два я поехал на какую-то улицу (не помню сейчас

точно), где-то около Знаменской. В простом доме, как мне кажется, Лахтиных, я разыскал Распутина. По тому, как он меня встретил, я понял, что о моем приезде он уже знал. Встретил он меня очень доброжелательно. И сразу заговорил со мной о религии, о Боге. Я отвечал довольно сдержанно. Распутин начал восторженно говорить о царской семье. Потом он перешел к обычным темам. В частности, спросил, пью ли я? Одет Распутин был в длинную русскую рубаху, штаны заправлены в высокие сапоги, поверх рубахи — какой-то полукафтан, полузипун. Производила неприятное впечатление неопрятная, неровно остриженная борода. Был он шатен, с большими светлыми, очень глубоко сидящими в орбитах, глазами. Глаза были чем-то не совсем обыкновенные. В них "что-то" было. Распутин был худой, небольшого роста, узкий, можно даже сказать, тшедушный. Когда я уходил, он попросил у меня пять рублей. "Дай, голубчик, мне пятерку, а то совсем я издержался". Я этому удивился, но дал. Произвел он на меня впечатление скорее неприятное.

Так как это было желанием государыни, я встречался с Распутиным не раз на его квартире. Государыня хотела, чтобы я ближе его узнал и чтоб получил от него благословение. После нескольких встреч с Распутиным я все-таки сказал государыне о своем не очень благоприятном впечатлении о Распутине. Она ответила: "Вы его не можете понять, потому что вы далеки от таких людей, но если даже ваше впечатление было бы верно, то это желание Бога, что он такой".

Во время этих моих встреч с Распутиным я вел разговоры о нем и с А. Вырубовой, стараясь узнать, что он за человек? От Вырубовой я узнал, что Распутина близко знала вел. кн. Милица Николаевна (жена вел. кн. Петра Николаевича) и Анастасия Николаевна (жена вел. кн. Николая Николаевича), что его хорошо знает и сам вел. кн. Николай Николаевич, Распутин бывает у него во дворце. На мой вопрос, почему сейчас Распутин ближе к Вырубовой, чем к вел. кн. Николаю Николаевичу и его окруженью, Вырубова ответила, что это желание императрицы: ей легче и удобней сноситься с Распутиным через Вырубову, чем через Николая Николаевича или через Сандро Лейхтенбергского. Государыня, будто бы, хотела держать свои встречи с

Распутиным втайне, она, будто бы, почувствовала, что окружение вел. кн. Николая Николаевича через Распутина хочет влиять на нее.

Должен сказать, что, узнавая ближе Распутина, я позволял себе говорить ему резкую правду в глаза. Так я говорил, что ему не следует ездить из Царского в Петербург в I-м классе; сказал, что он держит себя в отношении царской семьи неподобающе развязно; сказал, что мне известно, что на одной станции он крайне грубо ругал начальника станции, а этого он делать не должен. Говорил ему, что он не должен "требовать" приглашений во дворец, не должен лезть нахрапом. На это Распутин ответил: "Вот когда надо молиться о наследнике — зовут, а когда не надо — то нет!".

Я видел, что Распутин старается "втереться" во дворец, в царскую семью. Поэтому, когда в 1912 г. царская семья была в Ялте, я, чтоб не допустить распространения всяческих слухов (которые уже начали ходить по стране), сделал все, чтобы Распутин не приезжал на яхту, на которой я был старшим офицером. Я попросил священника, бывшего на яхте, пойти и поговорить об этом с Распутиным. Он был, говорил. И вынес то же отрицательное впечатление. В частности, священник тоже обратил внимание на глаза Распутина, сказав: "У него в глазах что-то есть". Так я все-таки устранил приезд Распутина на яхту.

Помню, в конце войны, в 1916 году летом, как-то в одну из поездок с государем из Царского в Петергоф купаться в Финском заливе (государь любил плавать и хорошо плавал), я решил сказать государю кое-какую неприятную правду о Распутине. Дело в том, что как раз накануне я видел Распутина у него на Гороховой № 2 — в совершенно пьяном, безобразном виде. Это — в первый раз я увидел его в таком непотребном состоянии. Я решил доложить об этом государю. После купанья, не без труда, но я все-таки доложил.

Государь принял мой рассказ совершенно спокойно, сказав: "При смене дежурства доложите об этом императрице". Я видел, что все, что касается Распутина государь всецело оставляет на решение государыни. Надо сказать, что в противоположность государю у государыни был очень сильный характер, сильная воля.

На другой день в 9 час. утра императрица приняла меня, и в присутствии государя я рассказал все, чему был свидетелем на Гороховой 2. Я видел, какое тяжелое впечатление произвел мой рассказ на государыню. Она сдерживала слезы, но не выдержала и заплакала. Овладев собой, она сказала: "Это Господь Бог шлет испытания нам, проверить — признаем ли мы его даже и таким..."

Мое отношение к Распутину ухудшалось: я видел, что он приносит много зла и династии и стране. Государыня мое отрицательное отношение к Распутину чувствовала, видела. "Вы его не поняли", — как-то сказала мне государыня. И с некоторых пор из наших разговоров тема о Распутине была исключена. Поэтому я не знал ни дня похорон Распутина и ничего, связанного с убитым Распутиным. Со мной на эту тему ни государь, ни государыня не говорили..."

На этом прерываются мои записи рассказов Н. П. Саблина, ибо сердечная болезнь Н. П. осложнилась и я больше навещать его не мог. Вскоре, как мне говорили, Н. П. скончался. Но я хочу привести одну фразу из рассказов Н. П. Саблина, которую он мне повторял несколько раз, хотя хронологически мы в своих беседах до этого времени и не дошли. Эта фраза относится ко времени революции, ко времени перевода государя и его семьи из Царского в Тобольск. Н. П. Саблин несколько раз говорил мне, что "государь через Нилова передал ему, что он правильно поступил, не поехав с ними в Тобольск". Думаю, эту фразу Саблин повторял мне несколько раз потому, что в кругах монархистов некоторые упрекали его ("ваше место было: быть с царской семьей до конца") в том, что он, очень близкий царской семье человек, не поступил так, как поступил граф Илья Татищев, который остался верен царской семье до конца, поехал с ней в Тобольск и вместе с ней был зверски умерщвлен большевиками.

А. Д. Нагловский

Н. П. Саблин и А. Д. Нагловский были людьми одного петербургского "высшего круга". Саблин был флигель-адъютант

царя. Отец Нагловского был придворный, генерал. В детстве А. Д. играл с детьми великих князей. Потом — "пушкинский" Александровский лицей. Но жизнь они прошли разную. Н. П. Саблин — "опора режима", "слуга царю". А. Д. Нагловский — "разрушитель режима", большевик, нарком в Петрокоммуне Гришки Зиновьева. Но под конец жизни судьба "уравняла" их, сделав обоих — русскими эмигрантами в Париже, похороненными на русском эмигрантском кладбище.

А. Д. Нагловский рассказал мне, что еще в лицее, лет 16-17-ти, он "увлекся марксизмом". А студентом Института Путей Сообщения вступил в с. д. партию (большевиков). К революции 1917 года Нагловский был уже "старым большевиком", хорошо знавшим всю "партийную головку".

В Париже А. Д. Нагловский жил в Иси-лэ-Мулино, в том же доме, что и Б. И. Николаевский. Дом этот был "окупирован" меньшевиками: С. Шварц и В. Александрова, Л. Пистрак и мн. др. Нагловский жил у Фарбер. Был он уж в годах, очень худой, щуплый, слабого здоровья. При первом же знакомстве он показался мне человеком — в смысле жизненной энергии — конченным. Думаю, полная разочарованность "в деле жизни" (революция), риск побега из Рима в Париж, объявление его большевиками "вне закона", всё вместе как-то надломило энергию. Он нигде не работал, ничего не делал. За него работала молодая, боевая, красивая жена — Женя Фарбер.

Борис Иванович постоянно твердил, что Нагловский для истории большевицкой революции — клад. И дал мне идею записать его рассказы. Но уговаривать меня было и не надо: А. Д. Нагловский, как "необычайная биография", меня самого интересовал. И как-то я предложил ему: — записывать его рассказы. А. Д. согласился с удовольствием, но только при условии: — публиковать под псевдонимом. И вот Александр Дмитриевич стал приходить к нам и рассказывать: о Красине, Воровском, Зиновьеве, Троцком, Ленине, о том, как назначенный советским торгпредом в Италию он порвал с большевиками, попав из Рима в Париж и ставши "невозвращенцем". За что получил титул — "изменника родины и врага народа" и был объявлен — "вне закона". Из записей его рассказов я дам здесь только три: о Ленине, о Троцком и о Зиновьеве.

Ленин

“Впервые я увидел Ленина в Женеве в июне 1905 года.

Я тогда работал в партийной организации в Казани. Это было время нарастающего революционного взрыва по всей России, уже ясно чувствовались его предвестия и в нашей провинциальной организации велась довольно-таки энергичная революционная работа.

Перед приближающейся революцией у нас жестоко дебатировался вопрос о вооруженном восстании. Он являлся центральным на всех заседаниях и конференциях. Но в провинциальных организациях по этому вопросу чувствовалось колебание, шатание, нерешительность. Партийная провинция решить этот вопрос самостоятельно не могла. Многие противились вооруженному восстанию. Одним словом: — большевицкой провинции требовались ясные “директивы” вождей.

Вот тогда-то казанская организация большевиков и послала меня в Женеву к В. И. Ленину, уже в то время пользовавшемуся громадным авторитетом в партии.

В середине июня я выехал из Казани. Ехал я к Ленину не только для того, чтоб привезти от него директивы. Кое-что вез и для Ленина. Казанская организация к моему отъезду собрала около 20.000 рублей для ЦК партии, каковой взнос я и должен был вручить Ленину.

Мне было ровно 20 лет и я был “убежденным большевиком”, прошедшим уже несколько тюрем, знававшим и нелегальную жизнь и надзор полиции, вообще окунувшимся целиком в бытие подпольщика и партийного агитатора.

Как сейчас помню, лето стояло великолепное. Я ехал легально. Переезд мой через границу Германии прошел вполне благополучно. В Германии я не задерживался и в последних числах июня уже был за швейцарской границей; поезд мчал меня к Женеве.

В первый же день моего приезда в Женеву я отправился по данному мне в Казани адресу. Но явка была не прямо к Ленину, а к другому члену партии, грузину, настоящую фамилию которого я так и не узнал.

О моем приезде ЦК был уведомлен. Грузин тут же дал мне

адрес Ленина, сказав, что лучше всего зайти к нему между 5-6 часами вечера. И в этот час я уже шел по скромной женевской улице в районе рю де Каруж, разыскивая дом, где жил Ленин.

Свидание с Лениным меня, разумеется, волновало. До этого мне приходилось видеть многих партийных лидеров и должен сказать, что у большинства из них всегда было и чванство и "взгляд свысока" и все прочие атрибуты лидерства. Тем приятнее поразила меня встреча с Лениным всем совершенно обратным. Эта встреча произвела на меня сильное впечатление.

Обстановка, в которой жил Ленин, была больше, чем скромная. Бедная. Он жил с Крупской в одной комнате. На стук в дверь я услышал картавящий на "р" крик. И вошел.

Внешность Ленина помню отчетливо. Небольшого роста человек с монгольским лицом, очень живой, очень приветливый, одетый в потрепанный пиджачный костюм. Характерны были живые, быстрые глаза, пронзительно глядевшие из-под большого крутого лба.

Несмотря на разницу лет и положения в партии, естественно-приветливое, живое товарищеское обращение без тени какого бы то ни было чванства меня сразу подкупило. От "бонзы" в Ленине не было тогда ничего. Это был старший товарищ, к тому же горящий "огнем дела".

Сразу же Ленин попросил Крупскую "приготовить чайку" и за пустым, без всяких "аблимантов" чаем Ленин жадно принялся меня расспрашивать о партийных делах в Казани, о настроениях в России, о возможности большевицкой деятельности в столицах и прочем. Видно было, что Ленин всем этим горит.

С первых же слов в нем чувствовался сразу большой ум, тонко схватывающий каждую мелочь, хитрая практическая сметка и, конечно, абсолютная преданность делу партии. К тому ж, в противоположность другим вождям, в Ленине тогда было что-то еще очень живое, молодое. Ему тогда минуло 35 лет.

Единственно, что производило неприятное впечатление, это общий тон Ленина, когда он начинал говорить о противниках. Это был тон беспардонного издевательства, пересыпанный грубой руганью.

Давно забыв о стоявшем перед ним чае, Ленин уже быстро

ходил, засунув большие пальцы рук на груди в карманы жилета. Это была обычная привычка Ленина — говорить, ходя из угла в угол. Хотя собственно он даже не говорил, обращаясь ко мне, а словно читал лекцию о "текущем моменте".

Отмечу здесь мимоходом одну черту, сразу бившую в облик Ленина. Теперь о Ленине коммунисты обычно пишут как о каком-то "спокойнейшем мудреце", вешавшем истины. Напротив, уж тогда Ленин был крайне нервен, непоседлив, взвинчен. Это был, конечно, явный *неврастеник*, а вовсе не мудрец "божественного спокойствия".

Когда я взял быка за рога, начав говорить о том, что больше всего волновало партийные низы в России — о вооруженном восстании — быть ему или не быть, итти на него или не итти, Ленин, на минуту было присевший к столу, вдруг быстро вскочил и резко, очень сильно картавя, совершенно не выговаривая "р", заговорил:

— Что нужно делать? Нам нужно одно — *вооруженное восстание!* — повторял он тоном непререкаемой необходимости, повелительно и бесспорно. Когда же я указал, что в партийных кругах в России живет сомнение в том, что восстание едва ли может быть победным, Ленин сразу даже остановился.

— Победа?! — проговорил он. — Да для нас дело вовсе не в победе! — и делая правой рукой резкие движения, словно вбивая какие-то невидимые гвозди, Ленин продолжал: — От моего имени так и передайте всем товарищам: — нам иллюзии не нужны, мы трезвые реалисты и пусть никто не воображает, что мы должны *обязательно* победить! Для этого мы еще слабы. Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстаньем потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. А потом уже наше дело будет заключаться в том, чтобы привлечь эти массы к себе! Вот в чем вся суть! Дело в *восстаньи как таковом!* А разговоры о том, что "мы не победим" и поэтому не надо восстания, это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!

Все было ясно. Директивы получены. Мой первый визит к Ленину кончался. Прощаясь, Ленин жал руку, говорил всякие подбадривающие комплименты. В Ленине тех времен было много силы, здоровья, энергии. Но, в противоположность холодному барственному Плеханову, в Ленине не было ничего от

”высокой мудрости”. Это был умный, смелый, очень хитрый партийный заговорщик, властный водитель клана. Политический боец, исполненный абсолютного цинического презрения ко всему, кроме себя самого. Всей манерой речи, каждой фразой, каждым словом он как бы говорил: — ”Знайте, во-первых, что все кроме меня, дураки и никто ни в чем ничего не понимает! А во-вторых, если все товарищи будут слушать меня, то из этого выйдет настоящий толк! И даже очень большой толк! Вот и извольте мне беспрекословно подчиняться! А я уж знаю, что буду делать!”

Прощаясь, я сказал Ленину о привезенных деньгах. Это Ленина очень обрадовало. Он ответил, что деньги я должен передать тому самому грузину, который дал мне его адрес. И на мгновение задумавшись, Ленин вдруг сказал, что было бы правильнее, чтобы я после Женевы ехал не в Казань, а в Петербург, где необходимо усилить большевицкую агитацию среди питерских рабочих. Я согласился. На том мы и порешили. Перед отъездом Ленин обещал дать точные инструкции.

Через две недели, в течение которых в Женеве я несколько раз встречался с Лениным, поезд мчал меня уже назад в Россию, но не в Казань, а, по указанию Ленина, в Петербург, где я должен был стать ответственным пропагандистом Нарвского района. Мне была дана явка в страховом обществе на углу Морской и Гороховой.

В те предгрозовые предреволюционные месяцы ленинские вождения в Петербурге направлялись главным образом на Путиловский завод. Сознание, что в этой цитадели русского пролетариата нет *никакой* большевицкой организации приводило Ленина в бешенство.

Насколько вообще тогда, в 1905 году, были слабы большевики и насколько не имели корней в массах, показывает факт, что вся организация их в Петербурге едва ли насчитывала около 1000 человек. А в Нарвском рабочем районе — человек около 50-ти. Связи с рабочими были минимальны, вернее сказать, их почти не существовало. Большевицкое движение было чисто интеллигентское: студенты, курсистки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники, мелкие буржуа, вот где рос тогда большевизм. Ленин это прекрасно понимал и по его плану, эти



Карикатура на Ленина из журнала "Тихое семейство" (№ 2) Ильи Эренбурга, выпускавшегося им в Париже до Первой Мировой войны. В журнале, в отделе "Дневник Происшествий" Илья Эренбург так пишет о "Материализме и эмпириокритицизме" Ленина: "Еще одна победа революции большевизма! После долгого и мучительного философского напряжения он разрешился от бремени семимесячным недоноском... Руководство, как в 7 месяцев стать философом". И дальше: — "Философский кружок тов. Ленина в скором времени возобновляет свои занятия. Условия приема в кружок следующие: 1) свидетельство о благонадежности, 2) свидетельство о прививке анти-богдановской сыворотки, 3) личный осмотр САМИМ со всех сторон. Вход бесплатный. Собак и эмпириокритиков просят не приводить".

СТАРШИЙ ДВОРНИК



О ЧЕМЪ ДУМАЕТЪ ЛЕНИНЪ КОГДА ЕМУ
НЕ СПИТСЯ

Карикатура на Ленина из журнала Ильи Эренбурга "Бывшие Люди", выпускавшегося им в Париже до Первой Мировой войны. На фуражке Ленина написано — "Старший Дворник".

Как анекдот, добавлю, за свои "заслуги" перед партией "старшего дворника" Илья Эренбург получил "международную премию 'старшего дворника' за укрепление мира" (1952) и два ордена "старшего дворника", а медалей — не счесть! Щедро оплатила партия "старшего дворника" цирковые сальто мортале Эренбурга!

”кадры” партии должны были начать завоевание пролетариата. Тут-то и интересовал его Нарвский район и самый мощный питерский Путиловский завод, где тогда имели большое влияние гапововцы.

В страховом обществе, куда я пришел с явкой от Ленина, меня встретил мрачный бородатый мужчина, дал все указания, адреса. И вскоре я приступил к попытке создать на Путиловском заводе ”большевицкую организацию”.

Увы, дело это было очень трудное. Только теперь у большевицких историков все выходит очень гладко. На самом же деле все обстояло куда менее импозантно, а подчас и вовсе безнадежно.

Питерские рабочие шли тогда за меньшевиками и эс-эрами. В течение многих недель я пытался склотить хоть какой-нибудь большевицкий рабочий кружок на Путиловском заводе. Но результат был плох. Мне удалось привлечь всего-навсего пять человек, причем все эти пять, как на подбор, были какими-то невероятно запяньцовскими типами. И эта пятерка на наши ”собрания” приходила всегда в неизменно нетрезвом виде.

Вскоре эта моя ”деятельность” неожиданно оборвалась: — был издан манифест 17-го октября, после которого большевицкая организация в Петербурге могла уже приступить к более или менее широкой полулегальной работе.

Тут-то после манифеста и встретил я снова Ленина. Правда, эта петербургская встреча была ”мимолетна”. В трамвае. Помню, я ехал по Бассейной, вдруг в вагон вошел человек по всему обличью очень напоминающий Ленина, но с чрезвычайно большими светлыми усами. Эта странная фигура, не замечая меня, шла в мою сторону и вдруг села прямо передо мной. Мне достаточно было пристального взгляда, чтобы узнать Ленина. Я слегка подмигнул ему. Он меня тут же узнал, но явно не пожелал быть узнанным, заволновался, сделал отрицательный знак головой, чтоб я, мол, не подавал никаких признаков знакомства. И вдруг даже встал и на следующей остановке вышел из трамвая.

Вскоре я увидел Ленина во второй раз, уже без усов, без гри-ма, он выступал на митинге на курсах Лесгафта. Ораторская манера была совершенно та же, как тогда передо мной в Женеве.

Ленин так же ходил по трибуне из угла в угол и сильно картавя на "р", говорил резко, отчетливо, ясно. Это была не митинговая речь (на что в те поры среди большевиков был только один мастер — "товарищ Абрам", Крыленко). У Ленина это была даже не речь. Ленин не был оратором, как, например, Плеханов, говоривший по французской манере с повышениями и понижениями голоса, с жестами рук. Ленин не обладал искусством речи. Ленин был только — логик. Говоря ясно, резко, со всеми точками над "і", он с огромной самоуверенностью расхаживал по трибуне и говорил обо всем таким тоном, что в истинности всего им высказываемого вообще не могло быть никаких сомнений. Раз он, Ленин, говорит, стало-быть это так и есть. И только полемизируя, Ленин выходил из тона этой безграничной самоуверенности и впадал в дешевую насмешку и грубость издевки.

В Петербурге под прикрытием легальности в организованных тогда большевиками нескольких рабочих клубах под энергичным руководством Ленина пошла довольно-таки широкая работа по привлечению масс и в частности по подготовке вооруженного восстания. В эти дни большевицкая работа стала давать уже гораздо большие результаты. И, например, большевицкий клуб за Нарвской заставой привлекал уже на свои лекции и агитационные собрания порядочное количество путиловцев.

В те дни большевиками были собраны значительные суммы. Партия стала копить оружие. Организовалась и первая большевицкая боевая дружина в 25 человек, поступившая в распоряжение заведывавшего тогда всеми дружинами большевиков — Л. Б. Красина.

Но сам Ленин в Петербурге в те дни пробыл недолго. Не помню куда он исчез, но исчез быстро, дав директивы и окончательно сплотив большевиков на лозунге вооруженного восстания. Помню, за восстание были тогда — Г. Алексинский, И. Сталин (тогда незаметный член партии), Н. Крыленко и главный руководитель боевыми отрядами — Л. Красин.

Но так как ни широкие массы питерских рабочих, ни другие революционные партии в Питере лозунга вооруженного восстания не разделяли, то начать вооруженное восстание здесь большевики не решились, обратив все свое внимание на восстание в Москве.

Разумеется, и это восстание имело немного шансов на успех. Оно и было подавлено. И в результате разгрома как восстания, так и партии, в среде последней возникла острая оппозиция к Ленину, критиковавшая его "авантюристическую тактику", обрушившаяся на его "нечаевщину", на тактику "вспышкопускательства". Но Ленин в своей "линии" был абсолютно твердокаменен. Ленин остался на своем. По его мнению, восстание было нужно и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии.

Следующие мои встречи с Лениным относятся уже к 1917 году.

Теперь уже стало известным, что до приезда Ленина в Россию большевицкая партия пребывала в состоянии полной растерянности. Мне, как "очевидцу", тогдашнему члену партии, остается этот факт только подтвердить: — без директив "вождя" в 1917 году в партии шел невероятный разброд. Приезд Ленина считался совершенно необходимым, хотя надо сказать, что тогдашнее большинство видных партийцев ждало Ленина с опасениями, предчувствуя, что в этом хаосе Ленин сразу займет крайнюю атакующую позицию в отношении Временного Правительства и Совета Рабочих Депутатов.

Таврический дворец тех дней, где заседал Совет, представлял тревожную картину. На трибунах — головка Совета — лидеры меньшевиков и эс-эров. Где-то по кулуарам растерянно мечутся, мнутя, пробегают большевики — Стасова, Бубнов, Сталин, Каменев, Стеклов и другие. А зал залит революционной толпой, производившей, надо сказать, самое гнетущее впечатление. В большинстве это был, конечно, не народ, а большевицки-настроенный *охлос*, на который и оперся в скором времени Ленин. Но пока что речами Чхеидзе, Церетели, Керенского даже в самом остром вопросе — о войне — этот охлос сдерживался все-таки на позициях оборончества, хоть и было ясно, что скрепы, пролежавшие от трибуны в зал, чрезвычайно хрупки. Хрупкость обнаруживалась ежечасно.

Помню выступление Плеханова — о войне. Прекрасный оратор западноевропейской манеры, Плеханов на этот раз говорил необычайно резко о войне до победного конца, о гер-

манском милитаризме, о славных союзниках, о героической Бельгии. При уважении к его имени в зале стояла тишина. Но когда он кончил, тишина так и осталась стоять, не прерванная ни единым хлопком. И чтобы как-нибудь выйти из положения встал Чхеидзе, произнося сглаживающую половинчатую речь.

Приехавшего Ленина я увидел на вокзале. Этот приезд достаточно описан в литературе, и я не коснусь его подробностей. Скажу только, когда я увидел вышедшего из вагона Ленина, у меня невольно пронеслось: — "Как он постарел!" В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел и в скромной квартире в Женеве и в 1905 году в Петербурге. Это был бледный изношенный человек с печатью явной усталости.

Приняв поздравления, Ленин ответил на них известной демагогической речью. Для всех стало ясно, что Ленин совершенно готов к продолжению заговорщицкой борьбы. И он повел ее из дворца Кшесинской.

Впечатление о сильной "постарелости" Ленина подтвердилось и в последующие дни, когда я часто встречал его в этом дворце. Весь вид Ленина был резко отличен от прежнего. И не только вид. В обращении исчезли всякое добродушие, приветливость, товарищеская легкость. Ленин этого времени по всей своей цинической, замкнутой, грубоватой повадке казался заговорщиком "против всех и вся", не доверявшим никому, подозревавшим каждого и в то же время решившим всеми силами, не считаясь ни с чем, итти в атаку на захват власти.

Разумеется, как и в былые дни, его обаяние в партии было сильно. Но тем не менее, прежде чем захватить власть в стране, Ленину предстояло еще завоевать свою партию. Против него шло не только "будированье по закоулкам", но оказывалось и резкое открытое сопротивление. Не только Каменев, Зиновьев, но подавляющее большинство партии было не на его стороне. И все же Ленин был настолько уверен в себе, настолько "самодержавен", что сразу же перешел в атаку на оппозиционеров.

Помню, как уже на первых собраниях во дворце Кшесинской он кричал — "Или теперь или никогда! Наш лозунг — вся власть советам! Долой буржуазное правительство!" — и перекосив лицо, картавя, в демагогической речи звал "итти с кем

угодно, с улицей, с матросами, с анархистами”, но итти на немедленный захват всей полноты власти! И в самое короткое время Ленин подмял под себя всю партию, чувствовавшую, что сил сопротивляться ему — нет, а без этого заговорщицкого кормчего она — ничто.

Временный уход Ленина в подполье после июльских дней увел его из поля моего зрения. Я увидел Ленина снова уже в Смольном в роли председателя Совета Народных Комиссаров. Тут мне приходилось наблюдать его довольно часто.

Суммируя впечатление, которое у меня не опроверглось и последующими общениями с Лениным, я, вероятно, пойду в разрез с установившейся репутацией Ленина не только уж в большевистской, но даже, пожалуй, и в антибольшевистской литературе.

Обычно Ленин “все-же” признается “государственным человеком”. Встречаясь с Лениным на государственной работе, делая ли ему доклады, получая ли от него распоряжения, этого впечатления у меня *никогда не создавалось*. Напротив, все говорило о противоположном.

Среди большевиков были люди государственного размаха, могущие быть “министрами” в любой стране. Это — Л. Б. Красин, человек большого ума, расчета, инициативы, трезвого глаза. Это — Л. Д. Троцкий, несмотря на то, что ни на кого эта фигура никакого “обаяния” не производила. Но только, разумеется, не Ленина зачислять в государственные люди.

Прежде всего Ленин был типичным человеком подполья. Ленин не знал ни жизни, ни России, ни русского крестьянства, не знал фактов. Ленин был существом *исключительно партийным*. Ни в одной стране он не мог бы быть “министром”, зато в любой стране мог бы быть главой заговорщицкой партии. Ленин был *узко-партийный конспиратор до мозга костей*.

И сидя ли в Кремле или в Смольном, Ленин действовал везде именно так, как привык действовать в партии. В то время как распоряжения и назначения Троцкого или Красина обычно как-то базировались на здравом смысле, распоряжения и назначения Ленина бывали иногда поистине шедеврами нелепости.

Дара подбора людей, более-менее обязательного для “государственного человека”, у Ленина не было. *Партиец* у Ленина мог получить *любое* назначение. Так, с первых же дней Ленин

выдвигал и прочил чуть-ли не в "главнокомандующие" бездарную пустоту, партийца Лашевича, дошедшего в мировой войне до чина унтер-офицера. В вопросах промышленности, отмечая мнения людей здравого смысла, Ленин сплошь и рядом обращался за советами к Ю. Ларину, человеку ни в чем не компетентному, фанатическому начетчику большевицкой программы. Можно безо всякого преувеличения сказать, что деятельность Ларина заключалась в систематическом разрушении промышленности. Но мнение этого прикованного болезнью к постели фанатика с полуокостенелым телом и воспаленным мозгом было часто решающим в распоряжениях Ленина.

Чтоб охарактеризовать Ларина приведу случай из его распоряжений. В декабре 1917 года ко мне в комиссариат пришел знакомый студент-технолог, беспартийный, единственным занятием которого были бега и игра на бильярде. Студент спрашивал, нет ли какой-нибудь для него "работенки"? Даю ему письмо к Ларину, полагая, что может быть у него он что-нибудь найдет. Через три часа студент приходит в очень веселом настроении.

Прочтя письмо и узнав, что этот студент — "технолог" — Ларин тут же устроил ему назначение комиссаром правления одного из крупнейших Русско-Бельгийских металлургических заводов на юге России. Студент был не из нерешительных. Поехал действовать по директивам Ларина и в самый короткий срок закрыл правление завода, остановив всю деятельность этого крупнейшего предприятия. Окончил же свою деятельность этот студент — директором советской балетной школы.

"Неталантливость" в подборе людей в Ленине была поразительна. Помню, позднее, в бытность Ленина в Москве, из Питера я приехал к нему в составе "пятерки" представителей железнодорожников с "челобитной" снять с поста наркома путей сообщения литератора Невского, под нелепостью распоряжений которого железнодорожники задыхались.

Приехавшие входили в кремлевский кабинет Ленина не без волнения. Было неизвестно с какой ноги встал "Ильич". Но каково же было удивление, когда после первых же наших слов, Ленин сразу перебил:

— Знаю, знаю, что у Невского происходит черт знает что!

Он никуда не годится! И я его выгоню вон! У меня для вас есть замечательный нарком! и Ленин назвал фамилию, — Кобызев.

Кобызев — средней руки инженер. Чем он пленил Ленина — неизвестно. Но высказывания каких бы то ни было сомнений в кабинете диктатора неуместны. И Кобызев стал наркомом ровно... на месяц, после чего его Ленин тоже "выгнал вон".

В характере Ленина, как в отношении людей, так и дел, была мелочность. И в Смольном и в Кремле впечатления главы правительства Ленин не производил. Это был всегда партийный заговорщик, но не глава государства.

В Москве впервые я увидел Ленина в Кремле в мае 1918 года, в день восстания в Поволжье чехов. В небольшой кремлевской комнате, непосредственно примыкавшей к кабинету Ленина, шло очередное заседание совнаркома, обсуждавшего один из бесчисленных докладов "об эвакуации".

У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом — его секретарша Фотиева, женщина ничем кроме преданности вождю непримечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.

Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина; на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы, партийцы. В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживающим "учеников" невероятными по грубости окриками, несмотря на то, что "ученики" перед "учителем" вели себя вообще примерно. Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить "против Ильича". Единственным исключением был Троцкий, действительно хорохорившийся, пытаясь держать себя "несколько свободнее", выступать, критиковать, вставать.

Зная тщеславие и честолюбие Троцкого, думаю, что ему внутренне было "совершенно невыносимо" сидеть на этих партах, изображая из себя благонамеренного ученика. Но подчиняться приходилось. Самодержавие Ленина было абсолютным. Хотя все-таки шило распаленного тщеславия и за-

ставляло Троцкого вскакивать с "парты", подходить к Ленину, выходить из комнаты и вообще стараться держаться перед остальными "учениками" так, как бы всем своим поведением говоря: — "вы не воображайте, что я и вы одно и то же! Ленин, конечно, Ленин, но и Троцкий тоже Троцкий!" И уже "тоном ниже", но все-таки пытался подражать своему шефу помощник Троцкого исключительно развязный Склянский.

На этом заседании во время прений Ленину подали свежую телеграмму о восстании чехов в Поволжье. Ленин взволновался до крайности. Заседание было прервано. И когда я в соседней комнате разговаривал с Троцким, туда быстрыми шагами вошел Ленин и, обращаясь к Троцкому, резко проговорил:

— Сейчас же найдите мне Розенгольца!

Стало ясно: Ильич почему-то решил отправить в Поволжье Розенгольца. Это внезапное назначение ни в Троцком, ни в других наркомах явно не могло встретить сочувствия. Но все-ж все тут же бросились разыскивать Розенгольца.

Два слова о Розенгольце. Этот человек выдвинулся на военно-чекистской работе. По основной специальности он фельдшер. Издавна знавшие его отзывались о нем не иначе, как "ужасный тип". Обязан он отмеченности Лениным только из-за необычайной жестокости и абсолютного наплевательства на жизни хотя бы десятка тысяч людей. Когда Розенголец был назначен заведующим политическим управлением НКПС, этот круглый, гладкий человек подбирал служащих по политуправлению так. Вызывал в свой кабинет и задавал один вопрос:

— Сколько контр-революционеров вы расстреляли собственноручно?

Если опрашиваемый мялся или сообщал, что "не приходилось", то уходил из кабинета не получив никакого назначения. Впоследствии Розенголец эту свою деятельность сменил на дипломатическую, став полпредом в Англии. В Лондоне он начал давать блестящие балы, танцуя с дамами английского дипломатического корпуса и чувствуя себя совершенно "в своей тарелке".

В мае 1918 года Ленин отправил Розенгольца с аршинными мандатами в Поволжье, ибо Розенголец принадлежал к тем "рукастым" коммунистам, которых особенно ценил Ленин.

Чем шире развивалась гражданская война, тем усиленной Ленин интересовался ВЧК и террором. В эти годы влияние Дзержинского на Ленина — несомненно. И тем нервнее, раздражительнее и грубее становился Ленин. В 1918-19 годах нередко приходилось его видеть на собраниях совнаркома, выходящим из себя, хватавшимся за голову. В прежние времена этого не бывало. Старый заговорщик, Ленин явно изнашивался. И тут действовала не одна болезнь. Иногда глядя на усталое, часто кривящееся презрительной усмешкой лицо Ленина, либо выслушивающего доклады, либо отдающего распоряжения, казалось, что Ленин видит какая человеческая мразь и какое убожество его окружают. И эта усталая монгольская гримаса явно говорила: — "да, с таким 'окружением' никуда из этого болота не вылезешь".

— Фанатик-то он фанатик, а видит ясно куда мы залезли. — говорил о Ленине Красин, относившийся к октябрьской вершухе большевиков тоже с нескрываемым презрением.

Вот именно в эти-то годы и влиял на Ленина Дзержинский, еще более узкий фанатик чем он. Ленин брал на себя, разумеется, всю ответственность за террор ВЧК. Он считал его необходимым. И Дзержинский был ему подстать.

Их силуэты особенно запомнились мне на одном из заседаний. Не помню, чтоб Дзержинский просидел когда-нибудь заседание совнаркома целиком. Но он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке. Дзержинский в головке большевиков симпатией не пользовался. Но к нему люди были "привязаны страхом". И страх этот ощущался даже среди наркомов.

У Дзержинского были неприятны прозрачные больные глаза. Он мог длительно "позабыть" их на каком-нибудь предмете или на человеке. Уставится и не сводит стеклянные с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие.

Вот на одно из заседаний, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в этот же "класс" с послушными "учениками" и вошел Дзержинский. Он сел неподалеку от Ленина. Заседание было в достаточной мере скучным.

Но время было крайне тревожное, были дни террора.

Обычно Ленин во время общих прений вел себя в достаточной степени бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:

— Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! — Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями "ленинское" решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. "Свободы мнений" в совнаркоме у Ленина было не больше, чем в совете министров у Муссолини и Гитлера.

На заседаниях у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому: — "Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?" — В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка: — "Около 1500". Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и как обычно, ни на кого не глядя, вышел с заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Дзержинский всех этих "около 1500 злостных контрреволюционеров" в ту же ночь расстрелял, ибо "крест" Ленина им был понят как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест "вождя" и не вызвал бы, если бы он действительно означал указание на расправу. Но как мне говорила Фотиева:

— Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрелять. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению.

Так, по ошибочно поставленному "кресту" ушли на тот свет "около 1500 человек". Разумеется, о "таком пустяке" с Лениным

вряд ли кто-нибудь осмелился говорить. Ленин мог чрезвычайно волноваться о продовольственном поезде не дошедшем во-время до назначенной станции и подымать из постели всех начальников участков, станционных начальников и кого угодно. Но казнь людей, даже случайная, мне казалось, не пробуждала в нем *никакого* душевного движения. Гуманистические охи были "не из его департамента".

Последний раз я видел Ленина в 1921 году. Видел тоже в Кремле и тоже на заседании. Ленин, как всегда, то ходил меж скамеек по комнате, то садился за председательский стол. Но уже тогда он производил впечатление человека совершенно конченного. Он то и дело отмахивался от обращающихся к нему, часто хватался за голову. Казалось, что Ленину "уже не до этого". Ни былой напористости, ни силы. Ленин был явный нежилец и о его нездоровье плыли по коридорам Кремля всевозможные слухи. А за спиной этого желтого истрепанного человека, быстро шедшего к смерти, кипела ожесточенная борьба — Сталина, Зиновьева, Каменева, Троцкого.

Когда через три года Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Крестинский, Коллонтай, Луначарский, но (в самом буквальном смысле) плакали заматерелые чекисты. Эти слезы были довольно "трогательны". Но любовь партии к Ленину и даже не любовь, а какое-то "обожание" были фактом совершенно несомненным.

В Ленине жила идея большевизма. Он олицетворял ее. Людям нужны "идолы". И Ленин был великим идолищем большевизма.

Троцкий

Впервые я встретил Троцкого в 1905 году в Петербурге на заседании Совета Рабочих Депутатов в Вольном Экономическом Обществе. Я был членом Совета от Путиловского завода. Троцкий же, как известно, был товарищем председателя. Надо сказать, что тогда Троцкий пользовался в революционных кругах Петербурга большой популярностью. Заслонив ничтожную фигуру официального председателя Совета, Хрусталева-

Носаря, Троцкий вел тогда за собой весь Совет, а Совет вел питерский пролетариат.

Время горячее. Горяч был и Троцкий, эдакий "молодой Лас-саль" на питерском фоне. Коньком его тогдашних речей была изобретенная им теория перманентной революции. С этой теорией он и выступал, зовя рабочих "от восстания к восстанию" и обещая неминуемую окончательную победу.

Его выступления помню очень хорошо. Среднего роста, темный шатен, с громадной шевелюрой откинутых волос, большим лбом, острым носом Троцкий на трибуне как бы вырастал и казался высоким. Голос резко-металлический. Демагогический оратор он уже тогда был хороший, хотя речи его всегда, как говорили греки, "попахивали лампадным маслом": — чувствовалось, что это не экспромты, а сопровождающиеся эффектными жестами и эффектными паузами тщательно разученные выступления.

По своей манере говорить Троцкий был полным антиподом Ленину. Ленин ходил по трибуне. Троцкий стоял. У Ленина не было никаких цветов красноречия. Троцкий ими засыпал публику. Ленин не слушал себя. Троцкий не только слушал, но, пожалуй, и любовался собой. В речах Ленина всегда было ясно чего он хочет. У Троцкого предельной ясности никогда не было; его речь всегда можно было несколько вывернуть: — и так и иначе.

Разница душевного строя этих несхожих между собой революционеров сказывалась тогда и в их деятельности в Петербурге. Большевик Ленин редко появлялся на массовых собраниях, он вел борьбу в своей партии, этот "крот" рыл "подземные ходы". Меньшевик Троцкий сразу бросился к "ослепительному" свету ramпы, к публике, к аплодисментам. Тут было не только чрезмерное тщеславие, которым очень богат был Троцкий, но был и правильно выбранный плацдарм своей деятельности, ибо Троцкий был действителен только на толпе, "на миру", он должен был быть всегда "любимцем публики", хотя бы даже галерки. Успех Троцкого был всегда успехом актера. И в то время, как в Ленине во всем чувствовалась крайняя деловитость, в Троцком — неизменный треск фейерверка.

Разность этих людей оттенялась даже в одежде. Ленин всегда был одет, "как попало". Троцкий одевался с некоторой

тщательностью, ему вовсе было не все равно, как и какой повязать галстук.

Но тогда на революционном фоне Петербурга Троцкий был куда более приметен. Ленин вел только большевицкую партию. Троцкий же, через Совет, несомненно вел питерских рабочих. И удайся революция 1905 года, революционным вождем в Петербурге стал бы, конечно, Троцкий.

Но дело кончилось иначе: — письмом Троцкого к Витте, от которого, как известно, Витте пришел в бешенство и Троцкий был арестован. Невольно хочется сказать, что судьбы этих двух людей, Витте и Троцкого, впоследствии оказались очень схожи. Достигший власти Витте, в сущности, всегда оставался "чужим" среди придворных Зимнего дворца и кончил опалой. Во время революции, достигший "высшей власти" Троцкий неизменно оставался "чужим" среди придворных Кремля и всем известно, чем он кончил.

Приехавшего из Америки в 1917 году Троцкого я встречал в Таврическом дворце на заседаниях Совета Рабочих Депутатов. Суммируя впечатление от общений с ним и от его выступлений, скажу, что в отличие от всех социалистов, проводивших войну внутри России, Троцкий был отмечен некой "девственностью". Живший вдали от России, не переживавший войны, Троцкий как бы "законсервировался" на позициях 1905 года и в то время, как внутри страны российские социалисты неминуемо отражали в себе все сомнения, колебания и тяжелые переживания народа, Троцкий в этом отношении был "девственен". Для него ничего этого не существовало и задумываться Троцкому не приходилось, у него имелась всё разрешающая теория "перманентной революции": — японская война, 1905-й год — первый удар; мировая война, 1917-й год — второй удар. И Троцкий выскочил на русскую землю эдаким туристом — "прямо с корабля на бал".

В противоположность Ленину внешне Троцкий за эти годы не сильно изменился. Казался очень бодрым и "полным сил". Да ему и было всего 38 лет.

Возвестив о совпадении своих позиций с позициями Ленина, Троцкий пошел вместе с ним в атаку на Временное Правительство, но и теперь, соответственно характерам, распределялись их роли. Приманивая массы на "червя большевизма" Ленин, как

свинцовый груз, тянул леску вглубь, а поплавок-Троцкий моментально поплыл по поверхности. Новый свет рамп, речи, аплодисменты, интервью, словом, те же подмостки Совета Рабочих Депутатов, только тут уж приходилось из задних рядов протискиваться в завоеватели Совета. В этом и есть заслуга Троцкого перед большевизмом: — демагогией своих речей он завоевал большевизму Совет (хотя это было и не особенно трудно).

Не будет преувеличением сказать, что и в 1917 году в массах Троцкий был известнее и популярнее Ленина. Но то, что было незаметно для зрителя извне, было очевидно всякому более-менее крупному партийцу: — как только Троцкий менял роль "поплавок" и уходил вглубь большевицкой партии, он неизменно в ее теле оказывался "чужероден".

Вражда к Троцкому главных партийных деятелей вовсе не родилась в 1924 году по смерти Ленина. Тогда она только "пришла в действие". Жила же она и не скрывалась все время с 1917 года. Положение Троцкого в партии было всегда как бы положением "кандидата в большевики", а не большевика.

С 1917 года по 1920 мне часто приходилось встречаться и с Троцким и с его противниками и могу засвидетельствовать, что крайняя неприязненность к нему Зиновьева, Крестинского, Сталина, Стучки, Дзержинского, Стасовой, Крыленко и многих других правоверных ленинцев существовала всегда и редко чем-нибудь прикрывалась. Все эти люди только "терпели" Троцкого потому, что он был нужен большевицкой революции и потому, что Ильич заключил с ним некое "джентльменское соглашение". Эта владычная рука Ленина, поддерживающая Троцкого под спину, всегда была осязатима и без этой руки падение Троцкого могло быть ежедневным.

Отказ в кредите Троцкому и недоверие к нему происходили от следующих причин. Во-первых, Троцкий действительно был многолетним меньшевиком. Правда, он занимал всегда более выгодную его натуре межеумочную позицию, плавая по социал-демократическим водам заманчивым поплавком "перманентной революции" и не идя ни под Ленина, ни под Мартова, ни тем более под Плеханова с Потресовым. Но вот именно поэтому со стороны таких совершенно нетерпимых, узко-большевицких

мозгов, какими обладали и обладают твердокаменные ленинцы. Троцкий и был всего только "сменовеховцем". Кредит измерялся подпольным стажем и заслугами. У Троцкого ничего этого не было. К тому ж психологически Троцкий и ленинцы были разны. Это чувствовала головка партии и это тоже против Троцкого вызывало раздражение.

Чтобы быть объективным надо сказать, что Троцкий интеллектуально был выше ленинцев на голову, хотя это и не Бог весть уж какой комплимент, ибо интеллектуальные силы ленинизма были всегда чрезвычайно убоги. Но умственное и культурное превосходство, эта бывалость и просвещенность, при невероятно-эгоцентрическом характере и надменности Троцкого, при его жажде "наполеонства", сквозившей во всем, в манере, речи, полемике, вызывали естественное озлобление у головки ленинцев. А у некоторых, как у Зиновьева и у Сталина, это чувство переходило в буквальную ненависть.

В рамки большевизской организации Троцкий не вкладывался, он, как резиновый чертик, неизменно из нее выпрыгивал. Стать "нечужеродным", "своим" мешали болезненное честолюбие, сознание, что если он и не Ленин, то почти Ленин. А я думаю, что наедине Троцкий ценил себя куда выше Ленина!

После октябрьского переворота я видел Троцкого в роли наркоминдела. Тут мне казалось, что на короткое время о Троцком в партии как-то забыли. Дали наркоминдел, "делай, мол, там что хочешь!" И в самом Троцком на короткое время проснулся, пожалуй, больше журналист, чем "министр". Он бросился в секретные архивы, ими зачитываясь, пища ноты и лозунги, дал волю своей революционной фантазии. На первой же министерской должности Троцкий стал приближать к себе специалистов. В противоположность Ленину, у которого "партиец все мог понимать и все делать", Троцкий искал и брал людей дела, как, например, племянника бывшего военного министра Поливанова, сына быв. министра Муравьева и других. Троцкий хотел быть окружен "настоящим министерством", настоящими чиновниками, а не большевизскими импровизаторами, к которым в ответ на недоверие относился с презрением.

Но фантазии Троцкого в роли революционного дипломата революционной страны кончились... Брестом. На этом его

дипломатическая карьера оборвалась и Ленин назначил Троцкого наркомвоенном.

Этому шумному назначению Троцкого предшествовало не лишнее интереса и в литературе неосвещенное событие. В марте 1918 года, когда совнарком переезжал из Петербурга в Москву, Ленин заявил в Смольном, что хочет оставить Троцкого в Петрограде главой питерского совнаркома, а Зиновьева взять с собой в Москву.

Вопрос этот обсуждался на собрании актива петербургских большевиков, где вызвал взрыв возражений, демонстрировавших открытый отказ в кредите Троцкому со стороны ведущей головки большевизма. Из питерских большевиков Троцкого не поддержал никто, тогда как кандидатура Зиновьева в председатели петербургского совнаркома выставлялась как самоочевидная. И Ленин с этим вынужден был согласиться.

В результате, в марте 1918 года Зиновьев взял Петроград своей вотчиной, а Троцкий стал наркомвоенном. С Зиновьевым в 1918-19 гг. я виделся почти ежедневно. Отношение его к Троцкому было самое отвратительное, причем и Троцкий платил Зиновьеву той же монетой.

Причина этой обоюдной ненависти была ясна. Зиновьев требовал себе как раз ту самую роль, на которую претендовал Троцкий: — дублера Ленина. И чистокровный большевик, старый наперсник Ленина, Зиновьев пытался всеми силами отпихнуть Троцкого от попытки дублировать Ильича. Троцкий, разумеется, не оставался в долгу. В своей драке они забыли только о Сталине, который одинаково ненавидел их обоих.

В 1918-19 гг. взаимная враждебность Зиновьева и Троцкого не оставалась только в сердцах двух вельмож, борьба их явственно реализовалась и в жизни. В то время, как Троцкий начал организовывать военное ведомство, подбирая опять-таки "настоящих военных", генералов, полковников и комиссаров, долженствующих быть ему преданными, Зиновьев не желал выпускать из рук военную организацию Петрограда. Игра Зиновьева опиралась на то, что "полубольшевик" Троцкий подбирает людей политически ненадежных, в то время, как Зиновьев создаст надежную организацию.

Парируя эту игру, Троцкий в 1918 году стал привлекать к

себе чекистов, организовав при себе чекистский отряд во главе с Павлуновским. Привлек он к себе и видного чекиста Берзина. Из этого чекистско-коммунистического аппарата впоследствии и выросла, в сущности, оппозиция троцкистов. Тогда же, в ведомственной борьбе Троцкого (с Зиновьевым в Петербурге, со Сталиным в центре, с Ворошиловым на юге), этот аппарат играл большую роль, спасая часто положение Троцкого и поддерживая его у власти.

Троцкий был властолюбив и тщеславен, подчас даже мелочно. В психологии его было что-то от нувориша. Так, помню приезд его в Петроград весной 1919 года. Из Москвы в Петроград Ленин обычно ездил в купэ 1-го класса. Троцкий — в комфортабельном поезде. В этот приезд я был вызван к нему на Николаевский вокзал. На Николаевском вокзале — поезд из вагонов бывших царских поездов, оборудованный по последнему слову комфорта, тут и типография, и отдельный вагон для свиты, и первоклассная кухня, и ванны, словом "царский" поезд. Чтоб дойти до поезда, мне пришлось пройти сквозь две цепи солдат. В поезде меня принял адъютант, бывший царский офицер, который и доложил обо мне наркомвоену. Троцкий принял меня в салон-вагоне, сядя за столом. Следов былого "молодого Лассалья" в Троцком тогда уже не было. Необыкновенная надменность человека, привыкшего к безграничной власти, вот каков был тон Троцкого. Его окружение из офицеров перед ним держалось необычайно подтянуто. Ни перед Лениным, ни перед Зиновьевым никто бы так не стоял. Тут пахло настоящим арачевским фрунтом.

Пока я ждал Троцкий тут же принимал какой-то доклад, высокомерным тоном министра задавая вопросы и как только ответы ему казались неудовлетворительными, он тут же обращался к секретарю, говоря коротко:

— Запишите, что было сейчас сказано!

Иногда такие записи означали вызов Павлуновского и расстрел на месте. Это был стиль Троцкого.

В небрежном постукивании карандашом по столу, во взгляде свысока, в позе нога на ногу, в повелительном обращении со своим окружением из бывших офицеров, во всем у Троцкого чувствовалось, что этот человек упивается властью. Царские

поезда, свита, помпа, расстрелы, — в Троцком очень даже теплился "стиль Бонапарта". Но в то время, как извне, иностранцам, белым армиям, обывателям Троцкий казался необычайно властным, на самом деле властность Троцкого, наталкиваясь на партийный аппарат, вглубь не шла. Ленинцы только давали Троцкому резвиться. Победно воевавшему на фронтах Троцкому приходилось жестоко отгрызаться внутри партии, где его хватили за икры со всех сторон.

Именно благодаря этому Троцкий и создавал вокруг своего поезда "государство в государстве", подбирая и обласкивая нужных ему людей, хотя надо сказать, что критические моменты гражданской войны иногда выносили Троцкого наверх и с этого верха Троцкий презрительно тыкал сапогом Зиновьева и его товарищей.

Таким моментом для Троцкого было наступление генерала Юденича на Петроград. Эти мрачные, страшные дни конца октября 1919 года заслуживали бы отдельных воспоминаний. Юденич под Петроградом, занял Царское, подошел к Пулковской горке и угрожает Тосно и Ораниенбауму. Головка питерских большевиков переживала подлинную панику. Красные войска разбежались куда глаза глядят. Зиновьев, панически трусливый в моменты опасности, теперь только и делал, что по прямому проводу требовал из Москвы директив по эвакуации Петрограда, заявляя, что "держаться больше не может!"

Попытки организовать наскоро сбитые рабочие дружины ни к чему не привели, под нажимом Юденича подступы к столице обнажались и с часу на час ожидалось занятие города белыми. Предавшийся панике Зиновьев почему-то еще был убежден, что и Финляндия выступит против Петрограда. Вот в этот-то момент, когда в Смольном Зиновьев собрал всех петербургских наркомов и истерически кричал: — "Вы все останетесь тут! Хоть три дня! Я никуда никого отсюда не выпущу!" — из Москвы сообщили, что в Петербург выехал Троцкий. Для Зиновьева конфуз. Для Троцкого триумф, кратковременный, но несомненный.

Троцкий приехал в Петроград поздно вечером. С той же помпой пришли два царских поезда. С Троцким — большая свита двух сортов, военные во главе с генералом Надежным и

чекисты во главе с Павлуновским. Окруженный этой свитой, Троцкий с вокзала проехал прямо в Смольный и вошел в кабинет Зиновьева (прежний кабинет Ленина), где вокруг Зиновьева собрались питерские комиссары. С места в карьер, обращаясь к Зиновьеву, Троцкий проговорил:

— Здравствуйте, товарищ Зиновьев! На ваш запрос об эвакуации заявляю, что Петроград слан не будет! Я приехал от Совнаркома с неограниченными полномочиями. А за сим — созовите собрание партийного актива Петрограда!

И когда Зиновьев еще не успел произнести слова, Троцкий повернулся к Павлуновскому и резко-металлически, с резонансом, рассчитанным на всех присутствующих, проговорил:

— Товарищ Павлуновский, приказываю немедленно арестовать и расстрелять весь штаб защиты Петрограда! А вам, — обратился он к генералу Надежному, — немедленно принять на себя командование 7-ой армией и организацию штаба защиты!

Минута — "бонапартовская". При полном молчании Надежный и Павлуновский, окруженные помощниками, вышли из кабинета. В эту же ночь Павлуновский расстрелял совершенно ни в чем неповинный штаб защиты Петрограда во главе с бывшим офицером генерального штаба Линденквистом. Защита перешла в руки генерала Надежного. А расстрелы — к чекисту Павлуновскому, этому обер-палачу при Троцком, вызывавшему во всяком человеке бесконечное отвращение: — высокий, худой, с жуткими глазами убийцы, одетый в "лихую" кавалерийскую шинель до пят, с рукой на перевязи, Павлуновский со своим отрядом по мановению руки Льва Давыдовича расстреливал бесчисленное количество людей.

Когда Павлуновский и Надежный вышли и в кабинете остались Зиновьев и человек пять питерских комиссаров, Троцкий сразу же как-то "размяк". "Железный жест" был сделан и в ожидании нового жеста на собрании петербургского актива, Троцкий похаживал по большому кабинету Зиновьева, подшучивал над тем, что "Зиновьев, кажется, осунулся", брал с полки книги, перелистывал, читал наугад какие-то цитаты и по поводу их острил, потом снова клал книгу на полку и снова подшучивал над Зиновьевым и над телефоном с громкоговорителем, стоявшим у него на столе. На эти остроты Зиновьев реагировал

слабо. В это время, по приказу Троцкого, происходила смена всей охраны Смольного. Прежнюю охрану сменили приехавшие с Троцким какие-то такие морды, что на них смотреть было жутко. Эта смена, вероятно, должна была подчеркнуть окончательную победу Троцкого над Зиновьевым: не оставалось камня на камне.

Когда в зале Смольного собрался актив петербургских большевиков (это было красочное, "историческое" заседание, занятия Петрограда белыми ждали с минуты на минуту), — Троцкий выступил с речью. Тут снова из посмеивающегося журналиста Троцкий превращался в "железного вождя". Гремела речь о постыдности поведения коммунистов, о психологии дезертирства, о беспощадности мер, которые он примет, всем и всему Троцкий грозил расстрелом.

Ночь в Смольном прошла в лихорадочной работе. Сюда привезли арестованный штаб бригады, действовавший под Ораниенбаумом. Этой же ночью Троцкий в сопровождении генерала Надежного выехал на фронт, а в Смольный из Москвы приехал Красин, на которого было возложено поручение в случае сдачи Петрограда подготовить приведение петербургских заводов в полную негодность. Этим Красин и занялся.

На утро я застал Троцкого в Смольном. Обсуждался вопрос о переброске на фронт подходивших из Москвы и с Мурманского фронта подкреплений. Троцкий стоял посредине кабинета Зиновьева, у двери — двое чекистов, Павлуновский в своей кавалерийской шинели и начальник особого отдела петроградской ЧК Комаров. За столом секретарь Троцкого с неизменным блокнотом, а перед Троцким — перепуганный начальник военных сообщений Петрограда Араратов.

— Сколько времени нужно, чтобы перебросить войска с Финляндского вокзала на Балтийский? — кричал Троцкий Араратову.

— 24 часа, по-моему.

— Что?! Саботаж! Запишите сказанное! кричит Троцкий и тут же Павлуновскому: — Арестовать!

Павлуновский и Комаров уже двинулись к потерявшему всякое присутствие духа Араратову и если бы за него не вступились все присутствовавшие, Араратов был бы немедленно рас-

стрелян, как было уже расстреляно множество людей. Троцкому объяснили, что перебрасывать войска по железной дороге с вокзала на вокзал не нужно, гораздо быстрее войска пройдут в пешем строю.

В этот день под руководством Троцкого Петроград спешно делился на три зоны, из которых две могли быть сданы, а третья должна была защищаться до последнего. В деле обороны Петрограда Троцкий, конечно, сыграл роль, но все же чудес не бывает и Троцкий ничего бы не сделал, если бы ему не помог... сам генерал Юденич.

Уверенность в том, что если Юденич будет продолжать наступление, то город будет взят, была абсолютна, а сдача Петрограда грозила самыми серьезными последствиями и для центральной власти. Но генерал Юденич в это время три дня простоял перед беззащитным Петроградом в полном бездействии. Бездействие генерала Юденича было непонятно. Оно и создало триумф Троцкого: — в течение этих трех дней все время подходили красные подкрепления.

Под Петроград были переброшены уже довольно значительные части и для подъема духа войск Троцкий сам выехал на автомобиле в Гатчину. Я сопровождал его. Это был решительный момент, когда красные перешли в наступление, а белые дрогнули.

О Троцком коммунисты-военные частенько говорили, как о человеке трусливом. Придерживаясь объективности, должен сказать, что в Гатчине Троцкий держал себя вполне соответственно своей роли. Может быть, у него и дрожали поджилки, когда автомобиль под обстрелом белых влетел в еще не занятую Гатчину. Но трусости Троцкий не проявил. Напротив, несмотря на предостережения окружающих, он вылез из автомобиля, шел под обстрелом, вообще все было именно так, как подобает "полководцу".

Об энтузиазме красных войск при защите Петрограда говорить, конечно, не приходится. Этот энтузиазм создали чекистские и курсантские отряды, шедшие с пулеметами сзади войск, расстреливая на месте всех дрогнувших или пытавшихся дезертировать.

В гражданской войне защита Петрограда была моментом

большого ведомственного успеха Троцкого и поражения Зиновьева. Но насколько Троцкий был непопулярен в партии показывает хотя бы тот факт, что несмотря на такие "головкружительные" заслуги он уже в следующем году под давлением головки партийцев ушел с поста наркомвоенна и стал народным комиссаром путей сообщения.

Тут, в Москве, на Ново-Басманной, в здании НКПС, я не раз видел Троцкого. Привыкший ко всему "военному", он и тут действовал на военный манер: — часовые в коридорах, часовые у кабинета.

В мае 1920 года я был вызван Троцким по поводу назначения на работу по железнодорожному ведомству. Разговор ничем особым примечателен не был. Но от этого визита осталось ощущение, что снятый с поста наркомвоенна Троцкий уже на ущербе, затерт и поражен ленинцами.

Изменился и вид Троцкого, он сильно постарел, лицо бледно-желтое, пробилась сильная седина, было ясно, что сивку укатывали крутые горки. Популярностью на посту наркома путей сообщения Троцкий не пользовался. Видные коммунисты-железнодорожники, как всегда, считали его не своим, а спецы и низший технический персонал ненавидели за вводимые дикие террористические методы, за военизацию железных дорог. На железных дорогах Троцкий ввел подлинную аракчеевщину. Его чекисты, перешедшие сюда вместе с ним из военного ведомства, в смысле бессудных расстрелов творили нечто неопишное. Военизация приводила к невероятному самодурству местных властей. Но в роли наркома путей сообщения Троцкий уже явно пел свою лебединую песню. Он падал медленно, но верно. Подпорка, в виде руки больного Ленина, уже ослабела, а самостоятельной силы удержать власть не было.

В то время, как за Лениным стояла вся партия, за Дзержинским вся ВЧК, за Сталиным сильная часть партии и даже за Зиновьевым в Петербурге была довольно крепкая группа лично ему преданных "зиновьевцев", за Троцким была пустота. Дара водительства у Троцкого не было.

В недрах большевиков Троцкий не свой, у него нет ни друзей, ни последователей. В массах, где когда-то Троцкий имел популярность, он ее сам давно потопил в крови расстрелов. В

партии за Троцкого была лишь часть интеллигенции и одиночные военные, лично им выдвинутые, да группа чекистов, подобных Павлуновскому. Чтобы сыграть роль, этих сил было слишком мало. И в итоге оказалось, что все свои рулады Троцкий пропел соло, с закрытыми глазами, как глухарь на току.

Так, пролетев по большевицкому небу фейерверочной ракетой, с шумом, треском, пальбой, Троцкий все снижался и потухал. Наконец, перелетев границы России, ракета с шипением упала в воды у Принцевых островов и потухла.

Зиновьев

В первый раз я увидел Зиновьева в 1917 году в Совете Рабочих Депутатов, когда он произносил речь. Среднего роста, плотный, ожирелый, с откинутой назад вьющейся восточной шевелюрой Зиновьев не говорил, а кричал необычайно пронзительным фальцетом. Легкость речи его была удивительна. Казалось, Зиновьев может так говорить часами, днями, неделями. Охваченный ораторским жаром, иногда он казался на трибуне даже эффектным. Во всяком случае производил впечатление и темпераментного и убежденного человека.

Позднее, когда мне пришлось встречать Зиновьева в кругу видных питерских большевиков, я замечал, что очень многие (напр., Стучка, Крестинский, Коллонтай) к этому "убежденному большевику" относятся не только без всякого пиетета, но и с плохо скрываемым раздраженным неуважением. При разговорах с этими людьми о Зиновьеве, часто приходилось видеть брезгливое пожимание плечами, иногда с добавлением "нечистый человек".

Но таково отношение к Зиновьеву было только в головке питерских большевиков, в широких же слоях партии и среди революционно-настроенных рабочих Зиновьев пользовался тогда несомненным большим влиянием и все его выступления проходили неизменно с шумным успехом.

Речи Зиновьева были совсем непохожи на речи Ленина и Троцкого. Ленин вообще не обладал ораторским дарованием, к тому же Ленину всегда была нужна аудитория, которая к его идеям была хотя бы минимально подготовлена. Не рассчитаны на

самые последние ряды галерки бывали и речи Троцкого. Речи же Зиновьева были как раз для галерки. Зиновьев был демагогом черни.

Рассказывают, когда Ленин задолго до революции на эмигрантском собрании, впервые услышал визгливый фальцет, произносившего речь Зиновьева, он сразу же обратил внимание на экспансивного молодого человека и приблизил его к себе, как могущего стать "первоклассным агитатором". С тех пор близость Зиновьева к Ленину никогда не порывалась. А после октябрьской революции именно Ленин выдвинул Зиновьева на руководящий пост в Петербурге, где с отъездом Совнаркома в Москву, Зиновьев стал полновластным диктатором Петрокоммуны.

Для определения размеров власти Зиновьева в Петрограде надо сказать о том, какими учреждениями осуществлялась тогда вообще власть большевиков в революционной столице. Тогда, в Петрограде было три сорта коммунистических учреждений олицетворяющих власть.

Первым был Совет Рабочих Депутатов, деливший Петроград на районы (Нарвский, Спасский, Василеостровский и другие, соответственно прежним полицейским частям). В районах действовали районные советы. Разумеется, компетенция их никаким законодательством ограничена не была и советы занимались всем, чем хотели: реквизицией зданий, мобилизацией населения на работы, обложении налогами, арестами и пр.

Вторым учреждением, олицетворяющим власть, была — партия, в лице Питерского Комитета, имевшего также районные комитеты. Круг действий районных комитетов был аналогичен кругу действий районных советов; их функции почти всегда переплетались, создавая тем невообразимую неразбериху.

Третьей властью в столице был Совет Народных Комиссаров. Правда, название "народных", по приказу из Москвы, очень скоро было отменено и питерские комиссары стали просто "комиссарами" Петрокоммуны. Деятельность этого наивысшего органа власти сплеталась тоже с деятельностью Совета Депутатов и с работой Комитета партии. И вся хаотичность работы этих трех учреждений триедино скреплялась только **личностью**

Зиновьева, который в своем лице объединял все три учреждения. Зиновьев был председателем Совета Комиссаров, председателем Совета Рабочих Депутатов и председателем Питерского Комитета партии, являясь таким образом абсолютным диктатором Петрограда и Петроградской области.

В Смольном, в кабинете Зиновьева, сосредоточивалось всё. Окружали Зиновьева следующие лица: Комиссаром народного хозяйства был Молотов. Этому небольшому безличному человеку с плоским, невзрачным лицом в то время никто бы не предсказал его головокружительной карьеры. На больших собраниях сильно заикавшийся Молотов не выступал. Собственных идей не имел, за исключением одной. Молотов носился тогда с идеей "всеучета". И надо сказать, в этой "гениальной идее" было что-то от "идей" капитана Лебядкина. Молотов хотел "учесть в России решительно все", от запасов сырья, оборудования фабрик, транспорта, военного снаряжения до площади квартир и всей "движимости", имеющейся на руках всего населения. В его предложениях идея "всеучета" приобретала настолько юмористический характер, что Зиновьев всегда снимал ее с обсуждения.

Комиссариат внутренних дел Зиновьев отдал одной из своих жен — г-же Равич. Говорят, что в частной жизни Зиновьев был хорошим семьянином. Во всяком случае, придя к власти. Зиновьев сразу же позаботился о постах для своих обеих жен. Правда, "сексапильная" дама, г-жа Равич, делами своего комиссариата почти не занималась, да, вероятно, и не имела к этому данных, зато большую роль она играла в Питерском Комитете партии, где была секретарем и, так сказать, верным "оком и ухом" своего мужа.

Своей первой жене, престарелой Лилиной, Зиновьев отдал комиссариат социального обеспечения. В противоположность Равич, Лилина была антипатичной, увядшей женщиной лет 55-ти, чрезвычайно желчной и раздражительной. Административных дарований у нее было не больше, чем у второй жены, но она была старым партийным работником, а потому имела вес и сама по себе и, особенно, как жена Зиновьева.

Комиссаром городского хозяйства (должность в те времена глубоко номинальная) был М. И. Калинин. Ввиду его даль-

нейшей карьеры на нем хочется остановиться. Тогда, в продолжении двух лет, я чрезвычайно часто встречался с Калининим. В Совете комиссаров, в Совете депутатов, в Комитете партии, везде Калинин был абсолютно безгласен. Крайне невзрачного мужичка не замечал никто и не по какой-нибудь злонамеренности, а просто потому, что его, действительно, нельзя было заметить, настолько сер и даже как-то несчастен был будущий президент Советского Союза. Зиновьев третировал Калинина, как хотел, и употреблял его только на единственное амплуа: — если где-нибудь в городе возникал какой-нибудь конфликт, Калинин посылался туда и опять-таки не из-за дипломатических способностей Калинина, а всецело из-за его декоративной крестьянской внешности. На ней-то Калинин, как известно, и сделал карьеру.

Зато человеком совсем другого склада был комиссар печати Володарский. Разбитной, наглый парень из портных, Володарский был весьма энергичен и к тому ж недурной оратор. Среди своих он был всегда любитель анекдота и "душа общества", во внешнем же мире появлялся, как фигура крайне свирепая и Зиновьев выбрал его, чтобы задушить печать.

Володарский создал "трибунал по делам печати", председателем которого был назначен рабочий Зорин. Между Зориным, рабочим от станка, вовсе нежелавшим никакого удушения печати и Володарским, действительно душившим печать, вспыхивали частые раздоры и всегда по одному и тому же поводу. Зорин ни за что не хотел соглашаться с "предрешенностью" приговоров трибунала. В Зорине жил еще призрак "свободы" и на безапелляционные указания Володарского закрыть такую-то газету Зорин вспыхивал и кричал: — "Не буду закрывать! Если хочешь все закрыть, так и объяви, что все закрываешь!" Но в такие моменты в спор вмешивался Зиновьев и все кончалось все-таки тем, что в трибунале Зорин объявлял очередной приговор о закрытии той или другой газеты.

Остальное окружение Зиновьева составляли — Урицкий, председатель ЧК, в распоряжении которого была так называемая "волчья сотня Урицкого", с бору с сосенки набранный охлос, действовавший не только в столице, но и в прилегающих к Питеру районах; Луначарский, Залуцкий, Марков, Позерн,

Бадаев и три левых с.-р. Из всех этих "министров" революционного Петрограда диктатор Зиновьев был самой колоритной фигурой. Иногда, глядя на Зиновьева, мне казалось, что в этом разжиревшем человеке с лицом провинциального тенора и с длинной гривой вьющихся волос, проснулся какой-то древний восточный сатрап. В периоды опасности (октябрьская революция, восстание Кронштадта, наступление Юденича) Зиновьев превращался в дезориентированного, панического, но необычайно кровожадного труса. В периоды же спокойного властвования Зиновьев был неврастеничен, безалаберен и, в противоположность многим старым большевикам, не имевшим вкуса к плотским "прелестям жизни", Зиновьев с большим удовольствием предавался всем земным радостям. Хорошо выпить, вкусно поесть, сладко полежать, съездить в театр к красивым актрисам, разыграть из себя вельможу и мецената, все это Зиновьев чрезвычайно любил и проделывал с большим аппетитом.

В то время, как при Ленине в Петербурге частная сторона жизни комиссаров в Смольном была в полном небрежении, при Зиновьеве на нее сразу же было обращено сугубое внимание. По его личному распоряжению в Смольном стали даваться, так называемые комиссарские обеды, которые не только уж на фоне революционного всеобщего недостатка, но и в мирное-то время могли бы считаться лукулловскими. Только когда в столице голод принял чрезвычайно сильные размеры, комиссары стали указывать Зиновьеву на неудобство в Смольном этого "гурманства" и "шика". И Зиновьев приказал перенести комиссарские обеды в "Асторию", гостиницу целиком занятую коммунистической знатью, где подобные "отдыхи" могли проходить более незаметно.

Говоря о трусости Зиновьева, надо сказать, что в Смольном он ввел необычайную охрану. У входа в Смольный сидели бесшумные пулеметчики за двумя пулеметами. Пропуска всех контролировались не только при входе в здание, но еще на каждом этаже. В смысле "охраны" был образцовый порядок. Зато на заседаниях комиссаров у Зиновьева беспорядок достигал апогея. Митинговый демагог и мастер интриги, как организатор Зиновьев был очень слаб. Заседания совета в Смольном проис-

ходили в бывших институтских классах, где попало, не имелось даже определенной комнаты. На заседаниях Зиновьев говорил очень мало, вел заседания безалаберно, протоколы составлялись уже после заседаний секретаршей Красиной (у Сталина попавшей в тюрьму). Одним словом, с педантической аккуратностью Ленина у Зиновьева не было ничего общего. Зиновьев был "на коне" только в демагогических выступлениях и в темноте интриг.

Зато как в демагогии, так и в интриге Зиновьев был мастер. От природы необычайно хитрый и ловкий, Зиновьев тут вышался до большого мастерства. Особенно памятна мне игра Зиновьева с левыми эсэрами накануне их восстания, когда на областном съезде большевиков и левых эсэров, Зиновьев, ненавидевший левых эсэров и ждавший только случая перегрызть им горло, вдруг выступил с предложением увеличить число мест левых эсэров в Совете Комиссаров и, в частности, назначить левого эсэра Лапиера на место комиссара путей сообщения.

Этому предложению все комиссары-большевики были крайне удивлены. И на ближайшем заседании Совета Комиссаров несколько из них подошли к Зиновьеву, спрашивая, что сей сон означает? Хитро улыбаясь, Зиновьев увел спрашивавших в свой кабинет, сообщив под величайшим секретом, что у него имеются сведения о готовящемся восстании левых эсэров, но что меры им уже приняты и он хочет только своим предложением усыпить бдительность левых эсэров.

Действительно, назначенное левыми эсэрами выступление Зиновьев предупредил полным разгромом их штаба. В этот день ранним утром правая рука Зиновьева, комендант Петрограда, приехавший в Россию из Америки полубандит-полуанархист, действовавший под псевдонимом "Владимир Шатов", уже оцепил Садовую улицу и с отрядами большевиков пошел "штурмом" на Пажеский корпус, где помещался штаб левых эсэров, причем штурму предшествовал обстрел здания из подвезенных орудий. Штаб левых эсэров был быстро взят и Штейнберг, Лапиер и другие засевшие в корпусе левые эсэры, бежали. Зиновьев потирал от удовольствия руки.

Но не только в отношении к врагам Зиновьев был беспощаден. В отношении к людям вообще в характере Зиновьева были преувеличенная подозрительность и недоверчивость.

Зиновьев доверял только своим двум женам. Всех же других он мог выдвигать на видные места, но тут же и сбрасывать в неизвестность. В отношении же врагов Зиновьев проявлял исключительную жестокость.

Разумеется, никто из вождей коммунизма не отличался ангельской добротой к "человеку". Но жестокость их была разная. У Ленина она покоилась на полной безынтересности к людям вообще. Троцкий был жесток для жеста, для позы. В Зиновьеве же было что-то эмоционально-жестокое, я бы сказал даже, садистическое. В Петрограде именно он был вдохновителем террора.

Помню два случая. Однажды в августе 1919 года по делам службы я был в кабинете Зиновьева, когда туда пришел председатель петербургской ЧК Бакаев. Бакаев заговорил о деле, сильно волновавшем тогда всю головку питерских большевиков. Дело было в следующем. Одна пожилая женщина, старая большевичка, была арестована ЧК за то, что при свидании с знакомой арестованной "белогвардейкой" взяла от нее письмо, чтобы передать на волю. Письмо было перехвачено чекистами. Дело рассматривалось в ЧК и вся коллегия во главе с Бакаевым высказалась против расстрела этой большевички, в прошлом имевшей тюрьму и ссылку. Но дело дошло до Зиновьева и Зиновьев категорически высказался за расстрел.

В моем присутствии в кабинете Зиновьева меж ним и Бакаевым произошел крупный разговор. Бакаев говорил, что если Зиновьев будет настаивать на расстреле, то вся коллегия заявит об отставке. Зиновьев взъерепенился как никогда, он визжал, кричал, нервно бегал по кабинету и на угрозу Бакаева отставкой заявил, что если расстрела не будет, то Зиновьев прикажет расстрелять всю коллегию ЧК. Спор кончился победой Зиновьева и расстрелом арестованной женщины на Охтенском полигоне, где обычно расстреливали добровольцы-железнодорожники Ириновской дороги.

Другой случай таков. В дни наступления Юденича на Петроград, в моем присутствии Зиновьеву однажды доложил "начальник внутренней обороны Петрограда" известный чекист Петерс, что чекистами пойман человек, вероятно, белый, перешедший границу с целями шпионажа. Помню, как у Зиновьева вдруг как-

то странно загорелись глаза и он заговорил отвратительной скороговоркой:

— Это прекрасно, прекрасно, вы его, товарищ Петерс, пытайте, как следует, все жилы ему вымотайте, всё, всё из него вытяните.

Зиновьев в этот момент был необычайно отвратителен.

Но при всей своей хитрости, ловкости и мастерстве интриги, что-то все-таки помешало Зиновьеву во-время разглядеть сложный клубок партийных интриг, ведшихся в Москве вокруг заболевшего, сдававшего Ленина. Зиновьев промахнулся, недооценив силы Сталина. Мне запомнилась одна встреча этих людей.

Помню, летом 1919 года между первым и вторым наступлением Юденича, в Смольный к Зиновьеву приехал из Москвы член реввоенсовета Сталин для обсуждения вопросов, связанных с эвакуацией Петрограда. На это совещание я был вызван Зиновьевым, ибо вопросы эвакуации непосредственно касались моего ведомства.

Барственно и небрежно развалясь, Зиновьев сидел в массивном кресле, громко и резко говорил, страшно нервничал, то и дело откидывая со лба космы длинных волос. Сталин ходил по кабинету легкой кавказской походкой, не говоря ни слова. Его желтоватое, чуть тронутое оспой лицо выражало какую-то необычайную скуку, словно этому человеку все на свете давно опротивело. Только изредка он задавал односложные вопросы и эта односложность и неясность позиции самого Сталина в вопросе об эвакуации Петрограда, на которой настаивал Зиновьев, последнего еще больше нервировала и горячила. Но Сталин так и промолчал все заседание, закончив его односложной репликой:

— Обдумаю и скажу, — и вышел от Зиновьева.

По уходе Сталина Зиновьев пришел в совершенно необузданное бешенство. Человек неврастенический, Зиновьев сейчас кричал и на Сталина и на ЦК, который не мог прислать к нему никого другого, а "прислали этого ишака!" Этот сочный эпитет Зиновьев в своем бешенстве варьировал на все лады, разумеется, не предполагая, что вот именно этот "ишак" после смерти Ленина и окажется самым сильным человеком в партии и

через пятнадцать лет посадит Зиновьева в тюрьму, как "белогвардейца" и "Контрреволюционера".

Зиновьев пал по той же причине, что и Троцкий. У обоих, по смерти Ленина, без его "поддерживающей руки", самостоятельных сил не было".

Мои записи воспоминаний А. Д. Нагловского были напечатаны в "Современных Записках" (кн, 61, 62). Но — я удивился — с сильными сокращениями, Через некоторое время удивление мое, как будто, разъяснилось. Как-то в помещении Архива Николаевского я встретил М. В. Вишняка (члена редколлегии "Сов. Зап."). Мы не были знакомы. Борис Иванович познакомил нас. И вдруг Вишняк с места в карьер говорит: "Читал ваши записки воспоминаний Нагловского. В целом, конечно, небезинтересно (со снисхождением говорит!), но я нахожу, что *так писать* все-таки нельзя". Я не понял. "Как?" — говорю. "Ну, некоторые места, по моему, неудачны, ну, например, о Зиновьеве *так* все-таки писать нельзя...". Я как будто стал понимать. Но, чтоб уточнить, переспрашиваю: "О Зиновьеве? Да Зиновьев же самый настоящий прохвост..." — "Ну, да, прохвост, но *так* все-таки писать нельзя...". На этом разговор как-то оборвался, Вишняк сел за стол работать.

Идя домой, я всё думал, что это за притча такая? Завзятый антибольшевик, завзятый эс-эр, секретарь двухдневного Всероссийского Учредительного Собрания, счастливо и случайно бежавший в Москве из-под большевицкого ареста и скрывшийся. М. В. Вишняк вдруг "запрещает" *так писать*. О ком? О настоящем, кровавом мерзавце, большевике Зиновьеве!? Неужели, думаю, только потому, что Зиновьев — еврей (Радомысльский) и Вишняк, как еврей, считает, что подавать Зиновьева во всей его "красе и прелести", значит, — "сеять антисемитизм"? Я знал, что и такая точка зрения существует. Но эту точку зрения считал и считаю *совершенно порочной*. Президент Израиля Вейцман был прав, сказав: — "Разрешите и нам иметь своих мерзавцев". Я всегда "разрешал". Но теперь я догадывался, почему в "Сов. Зап." многое смягчили или опустили вовсе. Наверное "надавил" Вишняк. Психологически Марк Вишняк был не похож на еврея Леонида Канегиссера, застрелившего омерзительного еврея-чекиста Моисея Урицкого. Позднее, в Америке в "Новом Журнале" я напе-

чтал воспоминания Нагловского полностью, добавив весьма поучительную главу "Воровский в Италии". Поучительную потому, что эта глава рассказывает о наглых методах советского шпионажа в Западных странах. Тогда в Италии у Воровского главой шпионажа был известный чекист Яков Фишман, бывший левый эс-эр, но после "покаянного письма" о своих "заблуждениях" дослужившийся в ВЧК до высоких постов.

Нищета и чудеса

В "Memoires d'outre-tombe" Шатобриан подробно описывает, как он, будучи эмигрантом в Лондоне, голодал: — "...Голод меня пожирал; я сосал куски белья, которые мочил в воде; жевал траву, бумагу. Когда я проходил мимо булочных мои страдания были ужасны. В один такой мучительный зимний день я, как приросший, простоял два часа перед магазином сухих фруктов и копченого мяса, глотая глазами всё, что видел; я готов был съесть не только всю эту еду, но и упаковку, коробки, корзинки".

В Париже я не перед какими такими магазинами не стоял. Но мы с Олечкой достаточно хватили эмигрантской нищеты. В большом городе она начинается, когда не на что купить трамвайный билет. В дни этой бедности мы ели картошку и капусту, на это как-то хватало. За квартиру — не плачено за шесть месяцев. Это — привилегия парижан. В другом городе вас давно бы с полицией выкинули на улицу. А в Париже такая уж неписанная традиция: терпят. И правильно делают. В конце концов всегда приходит какое-то чудо* (и домовладельцы не в накладе). Конечно, время было неприятное. Консьержка (стервятая, чахоточная) будто норовила прищемить тебя дверью, бросая полные презренья взгляды.

Всё это происходило на рю де ля Конвансьон 158. Но что это была за квартира! Одна (небольшая) комната. Посредине (почти всю ее занимал) высокий, красно-полосатый, пружинный

*Приехал же через несколько лет Шатобриан французским послом именно в Лондон, где так "гомерически" голодал, жуя траву и бумагу.

матрац на двоих, накрытый покрывалом. Этот "многоуважаемый" матрац приобрели на Блошином рынке. И Олечка долго возилась пока вывела из него керосином клопов. Кроме матраца в углу стоял колченогий стол, около него два стула. В стену вделан шкаф (для белья, платья). Крохотная газовая кухонька (на двоих) примыкала к комнате. Все это — на 5-м этаже и если старенький, дребезжащий лифт отказывался вас поднимать, приходилось "итти ногами". Вот за эту-то "квартиру" мы и не платили шесть месяцев.

За колченогим столом я писал "Дзержинского", "Ораниенбург", статьи для "Иллюстрированной России", "Иллюстрированной Жизни", "Последних Новостей", "Современных Записок". За ним отделал рассказы гр. Л. Н. Воронцовой-Дашковой, Н. П. Саблина, А. Д. Нагловского.

Помню, зашел как-то в гости давний знакомый еще по Берлину, Давид Вениаминович Пружан. Мы встречались с ним у Станкевичей. Пружан — старый журналист, думский корреспондент "Биржевки" ("Биржевых Ведомостей") и в Государственной Думе сидел в "черте оседлости", как иронически называли в Думе места для журналистов. Во Франции жил под Парижем, на собственной ферме. Все было в порядке.

Ну, сидим, разговариваем. Вдруг Пружан говорит: — "Гульчик, а хорошо бы чайку выпить!" (Меня он называл "Гульчик", а жену — Олечка). — "Конечно, — отвечаю, — недурно бы, да трудновато". Пружан как-то "остолбенел": не понимает. Потом: — "Как, — говорит, — *чаю нет?*" — "Вот именно", — говорю я, смеясь. — "Да вы серьезно?" — Наконец он поверил и вдруг как-то застеснялся, начал что-то мямлить и вскоре ушел. А наутро мы получаем пакет: чай, сахар, печенье.

Но не единым чаем жив человек. И когда стало совсем невтерпеж, мы пошли к моей двоюродной сестре Ляле (дочь дяди Анатолия) и рассказали, как и что. Ляля была добрейшей душой. Была она замужем за художником Эдуардом Мейером, сыном профессора Казанского Университета, жили не Бог весть как, но не так, как мы. И тут же Ляля и Эдуард обязали нас ежедневно приходиться к обеду и ужину. Так мы и начали ходить к

ним на рю Лакретель Пролонжэ. Но вскоре нищету сменили *чудеса!*

Чудо первое произошло так. Стучат в дверь. Отворяю. Какая-то быстрейшая "пневматичка" от Александра Тимофеевича Руденко. Вызывает немедленно. Добрался. Александр Тимофеевич радостно жмет мне руку, улыбается: — "Ну, ваши визы устроены, получите немедленно! Мутэ стал министром в кабинете Блюма. Я ему все рассказал. Он обещал позвонить министру внутренних дел Салангро, с которым хорош. Мутэ просит только, чтоб я вас завтра привез к нему в 10 утра и вы ему сами все расскажете. Обещал дать письмо, с которым вы и поедете к этому самому мсье Бланшару".

Как хорошо, что на свете, кроме стервистых консержек, существуют еще Александры Тимофеевичи Руденки. Разумеется, в 10 утра мы были уже у Мариуса Мутэ, ставшего "министром колоний" в новом правительстве. Мутэ был известен, как "друг русской эмиграции". Он произвел на меня чудесное впечатление: прост, приветлив. Я все рассказал о своих прошениях о визах и об отказах. Он ответил: — "Будьте уверены, визы для вашей семьи вы немедленно получите. Я уже говорил с министром внутренних дел. Всё в порядке. Через два дня езжайте в Сюртэ Женераль с моим письмом к вашему "другу", — Мутэ улыбнулся, — мсье Бланшару. И дайте мне знать о результате".

Так первое "чудо" свершилось. Конечно, всякое чудо можно назвать какой-угодно базаровской прозой: "стечением обстоятельств", "простой случайностью". Для меня это было "чудо". "Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог!". Я не знал, как благодарить А. Т. Руденко, а он только радостно отшучивался, говоря, что он тут совершенно не при чем. Забегая вперед, скажу о трагической смерти лейтенанта запаса французской армии мэтра Александра Тимофеевича Руденко. Когда началась война с Гитлером, Руденко был мобилизован, ушел на фронт и был убит, пытаясь поднять свою роту в атаку на наступающих немцев. Увы, французская армия была в полнейшем разложении. И в атаку поднялся только француз, лейтенант запаса Александр Тимофеевич Руденко, которого и изрешетили немецкие пули. А рота, отступая, бежала в беспорядке, как вся французская армия, нежелавшая сражаться...

Как сказал Мутэ, через два дня я приехал в Сюртэ Женераль с его письмом к мсье Бланшару. Боже мой, какой же он оказался очаровательный и любезный человек! И как это я не заметил этого раньше! Вероятно, раньше я "обознался". Бланшар любезнейше сказал, что визы уже ушли во французское посольство в Берлине и моя семья может получить их, когда захочет. Мсье Бланшар даже проводил меня до двери. И так мило сказал: "Au revoir, monsieur Goul!". Но никаких "оревуаров" я уж не хотел.

Я занял у Ляли деньги на телеграмму в Фридрихсталь, чтоб перекинуть туда мое первое чудо. Нишета, конечно, еще продолжалась. Но через несколько дней и тут произошло "чудо". В нашу "замечательную квартиру" раздался сильный стук в дверь в неурочное время. Отворяю. Срочный почтальон передает телеграмму из Лондона. Раскрываю: телеграмма в 52 слова! Читаю вслух и оба не верим в читаемое. Да, конечно, отчаянье всегда худший выход из положения. Оказывается, в самых отчаянных положениях человек обязан надеяться на... *на чудо!* И оно придет в самой скромной одежде.

Этой телеграммой меня немедленно вызывали в Лондон на работу в фильме Марлэн Дитрих, причем за баснословный (для меня!) гонорар. Телеграмма была от Лазаря Меерсона, который делал для этого фильма декорации. В ней говорилось, что режиссер фильма Жак Фейдер и "продюсер", знаменитый фильмный "тайкун" Александр Корда обязательно хотят меня в качестве "technical advisor". И чтоб меньше, чем на 50 фунтов в неделю я не соглашался. Сие *повторялось трижды!* В Париже я немедленно должен ехать к представителю А. Корды Паллосу и подписать с ним контракт, чтоб не задерживаясь плыть в Лондон. Кончалась телеграмма: свяжись с Мэри, она всё знает.

Но "связываться" с Мэри не было надобности. Через час в дверь квартиры опять раздался стук и почтальон передал "пневматик". Мэри немедленно вызывала на Монпарнас, в кафэ "Дом". Приезжаю "немедленно". Мэри сидит на своем традиционном месте, улыбается. "Я, — говорит, — всё знаю. Меерсон (она его всегда так называла) мне рассказал всё по телефону, и вы, Роман, должны завтра же ехать к Паллосу". Отвечаю, что, конечно, поеду, но 50 фунтов в неделю (фунт стоял тогда очень высоко) я просто выговорить не смогу. "Не валяйте дурака!

Требуйте 50 фунтов! Меерсон говорит, что Фейдер прочел по-французски ваш роман и настаивает на вашем немедленном приезде. Только в таком виде "скромного труженика" вы не можете ехать к Паллосу. Поедьте сейчас же ко мне, я вам дам прекрасный костюм Меерсона, рубаху, галстук и тогда отправляйтесь за 50-ю фунтами в неделю".

Поехали с Мэри в их белую студию у парка Монсури. Меерсон был физически плохо сложен и никакими костюмами эту нескладность было не скрыть. На мне же его костюмы были, как по заказу, что невропата Лазаря даже приводило в раздражение. "Почему мои костюмы на тебе сидят лучше чем на мне, как на тебя шитые?" — "А это тайна природы". Мэри вынула прекрасный сероватый какой-то "в диагональ" костюм, две "тонкие" рубахи от Диора и чудеснейший шерстяной серо-голубой галстук. Когда я всё это взял, говорю: — "Ну, это просто не на 50, а на все 100 фунтов в неделю!". Дала Мэри и денег на непредвиденные расходы. И в таком костюме я на завтра был уже у Паллоса возле Елисейских Полей.

Очень было трудно мне выговорить эти самые "50 фунтов". Я бы и за 5 фунтов поехал с восторгом. Но телеграмма *требовала*. И ничего не поделаешь. Паллос, верткий делец, как и Корда, венгерский еврей, встретил меня очень любезно, сразу сказав, что получил от Александра Корды телеграмму обо мне, по которой я должен работать в фильме, как "technical advisor". Паллос сказал, что контракт он уже приготовил, по которому мне дадут въездную и выездную визы, и спросил наконец, сколько же я хочу получать в неделю? Я выдал из себя (вышло вполне естественно): — "Ну, 50 фунтов". — "О, нет, мсье Гуль, это много, знаменитый Фернанд Лежэ тоже сейчас работает у Корды в другом фильме и получает 20 фунтов в неделю". Конечно, знаменитым художником Фернандом Лежэ Паллос меня несколько сбил, но не убил. — "Нет, — говорю, — за такую сумму я поехать не могу". — "Ну, я предлагаю вам 25 фунтов", — проговорил Паллос. "Господи, подумал я, да для меня это же целое состояние!". Но голосом, которым я остался вполне доволен, сказал: — "Нет, мсье Паллос, чтоб нам долго об этом не говорить, давайте подпишем на 40 фунтов в неделю". Довольно неожиданно для меня Паллос ответил: — "Знаете, мсье Гуль, я

предлагаю 35 фунтов в неделю!”. Тут уж я сопротивляться не мог (не могу “играть не свои роли”). И сказал: “Хорошо, пусть будет 35”. В мгновение ока мы подписали контракт на два месяца, по 35 фунтов в неделю. А проработал я 6 месяцев.

В нашей омерзительной “квартире” Олечка ждала меня в большом волнении. Когда я вошел: — “Ну, как?” — бросилась ко мне. — “35 фунтов в неделю!” — сказал я, обнял ее и расцеловал. — “Ну, и очень хорошо!” — обрадовалась Олечка и смеялась, радостная, второму совершившемуся чуду. Нишета кончалась, и семья приезжает.

Взяв у Мэри деньги под будущий гонорар, мы расплатились с консьержкой за шесть неплаченных месяцев. И стервистая консьержка, получив чрезмерный “пурбуар”, сразу превратилась в херувима. Теперь она уж не только не норовила прищемить нас дверью, а широко открывала ее, говоря самые ласковые “бонжур’ы, бонсуар’ы и комман т’аллэ ву”.

(Продолжение следует)

South Jamesport, 1983.

Роман Гуль

СКЕЛЕТ АМУРА

1.

Пока молчат разрытые глубины,
я дам слова, а ты, что прореку,
всё повторяй за мной: "Ты — мой любимый.
Я — кровь твоя. Сквозь сердце я теку.

Я омываю дни твои и мысли,
и там, где недра дыбятся, как высь,
где в ядрах мрака яркий свет явился,
там жизни наши дó-смерти срослись".

Свои слова твоими я услышу,
и в этой отзеркаленной любви
я сам скажу: "Твой — с погребца по крышу.
Куда ещё идти? Во мне живи.

Не подрывай, крепи живую крепость,
покуда вместе нас не загребёт
зазубренным ковшом — в загробный эпос.
Держись меня. Я — череп и хребёт".

2.

Как можно так! Тебе нужна отмостка
для отступного? Так запутать жизнь!
Я костью расщеплённой, кровью мозга
пишу тебе, прошу тебя: держись!

Вернись в меня. Лишь в этом смысл отъезда.
Замкни моё ребро. И, знаешь ли,
сказать ли, где твоё прямое место?
Ты знаешь. Там, где мы его нашли.

Ты — здесь. Я на подобья натыкаюсь
твои, которых лес во мне возрос.
Ты — в мыслях, в сновиденьях, в самых тканях
тобою же рассерженных желёз.

Когда за болью — боль, что делать дальше?
Оставить двоедушную одну?
Нет, у подруги быть не может фальши.
И собственное сердце я кляню.

3.

Люблю тебя, а, вижу сам, — не надо б...
Тобою взрезан по живой броне,
пропорот о тебя, как танк о надолб,
с тобой люблю и эту боль во мне.

Мой дух парил почти Назианзином
в превыспреннейших сферах — бедный дух!
Ещё бы! По таким потом низинам
пройтись, в грязи и в пятнах оплеух.

Стучу к тебе — кто эту дверь отверзет?
Скажи, ты совесть видела свою?
Я — как она теперь. Тебе же мерзок,
отвратен самому себе — стою.

Смешно теперь сказать: любовь есть роза...
Вниз, в унитаз пошло цветенье роз,
и это страшно... Я спасу, откройся!
Живёшь играя? А казнишь — всерьез.

4.

Пока слоями с болью отдиралась
кора былой, родной нечистоты, —
осталась бы, — так уповал я, — малость,
но подлинность. Сердечник боли. Ты.

И подлинно ты, наконец, раскрылась...
Занёс я душегубные слова,
но мозг окаменила Божья милость.
Потом я понял: ты в одном права.

Пусть и тебя разделала утрата
под фарш, но я, действительно, не ваш.
И — в самом тайном — искренность театра
но мне — всё то же зло, всё та же фальшь.

И всё ж я умерщвлён не катастрофой,
но проклят я, как это ни старо,
что ради четырёх четверострофий
я предал Музу и растлил перо.

Дмитрий Бобышев, 1978

ПАПА ИОАНН-ПАВЕЛ II О ВЯЧ. ИВАНОВЕ

РЕЧЬ ПАПЫ ИОАННА-ПАВЛА II
НА АУДИЕНЦИИ, ДАННОЙ УЧАСТНИКАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА "ВЯЧ. ИВАНОВ И
КУЛЬТУРА ЕГО ВРЕМЕНИ"

Ватикан, 28 мая 1983 г.

Многочтимые г-да профессора,
Дамы и господа,

Благодарю за честь, которую вы мне оказали своим посещением. Мне доставляет особенное удовлетворение принимать вас по случаю Международного Симпозиума, организованного Римским университетом, Международной Ассоциацией Конвивиум и городом Римом и посвященного большому русскому поэту, философу и филологу Вячеславу Иванову и культуре его времени.

Вы прибыли сюда как представители известных университетов и институтов, занимающихся вопросами культуры славянских и латинских, англо-саксонских и средиземноморских стран, вы прибыли сюда из Соединенных Штатов Америки, из Восточной и Западной Европы. И мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, сколь символично самое ваше пребывание здесь, возглавленное проф. Джексоном из Иельского университета, президентом "Конвивиума Вячеслав Иванов" и профессором Колуччи, главой русской кафедры Римского университета, которых я горячо благодарю за сказанные ими слова. Я весьма рад также приветствовать находящихся среди нас Лидию Иванову и Дмитрия Иванова, детей выдающегося русского мыслителя, которому мой предшественник Пий XI желал доверить должность главы палеославянского и русского отдела Восточного Понтификального Института. Возможно ли не испытывать чувства радости, следя за вашими трудами, посвященными предмету, который является истинным примером соединения Востока

и Запада, европейским в глубочайшем значении этого слова, будучи "плодом двух течений христианской традиции, обнимающей две культуры, отличные друг от друга, но и необходимым образом друг друга дополняющие", — как я написал об Европе в Апостолическом письме "Egregiae virtutis", вспоминая подвиг св. Кирилла и Мефодия.

Может ли быть что-либо более необходимое, более неотложное, чем это сближение между духовными колыбелями христианского Востока и Западной культуры в лоне "единой Европы, познавшей в прошлом кровь и слезы, битвы и расколы, все мыслимые проявления жестокости".

Восстановление духовной цельности человечества, и прежде всего — отдельного человека, преодоление трагического раскола, присутствующего в душе каждого человека и всего человечества, поиски подлинных духовных корней — таково было величайшее чаяние чествуемого нами сегодня выдающегося новообращенного, с сыновним благоговением прослеженное Дмитрием Ивановым, не обошедшим вниманием и общие духовные корни европейских народов в своем сообщении "Вячеслав Иванов, или Всемирное братство во Христе как основание славянского гуманизма".

Я хотел бы вновь перечитать вместе с вами вот эту лирическую страницу: "Что до меня, я пытаюсь познать диалектику исторического процесса в плане личном, я взыскую непрестанного и трагического диалога между человеком и Тем, кто, создав человека свободным и бессмертным, по образу и подобию Своему, задумав его чадом своим во всей славе, доверив ему свое сокровенное "Я есмь", ждет того дня, когда этот блудный сын, пережив все заблуждения и ошибки, блуждания и отступничества, притечет, наконец, к Отцу своему Небесному, чтобы сказать: "Ты еси, а потому и я есмь" (Вяч. Иванов и М. Гершензон, *Переписка из двух углов*, Лозанна, 1979, стр. 99).

Es - Ergo sum. Да, человек — образ Божий, тот, кто от имени всего Божьего творения скажет "Да" Господу — "Все, сотворенное на земле и под небом — все принадлежит Тебе, Господи" (Вяч. Иванов, *Человек — Собр. Соч.*, Брюссель, 1971 г., т. III).

Примиренный с самим собой и со всем творением человек

способен восстановить и внутреннюю общность, *соборность* среди рода человеческого. И в этом — главное значение и необходимость диалога между различными культурами. "Ибо каждая великая культура, это вместилище памяти, является воплощением основных духовных начал, многогранным выражением религиозной идеи, лежащей в ее истоках" (Вяч. Иванов, *Письмо Шарлю дю Бос*). И потому истинным призванием каждой нации, отбрасывая в сторону все трагические превратности истории, является воплощение своей особенной, только ей одной присущей стороны откровения в Слове.

В богатой традиции славянских народов именно мир, народ, общность человеческая богоносна и христоносна, призвана воскреснуть к новой жизни во Христе, чтобы быть таинственным образом обоженной. Но уже здесь, на этой земле, Церковь является нам как сокровенный рай преображенного во Христе человечества. "Только одно способно привести в стройность хаос наших душ — это свободное и всецелое приятие Христа, как единственной силы, определяющей наше физическое и духовное существование (Вяч. Иванов, *Русская идея*, 1909 г. — Собр. Соч., т. II).

Исторически происшедший раздел церквей — все еще незаживающая, кровоточащая рана. 17 марта 1926 г., исповедуя в базилике св. Петра в Риме Символ католической веры, Вячеслав Иванов впервые, как он написал об этом Шарлю дю Бо, ощутил себя "ортодоксом во всей полноте этого слова, во всей полноте обладания тем священным сокровищем, кое мне было даровано еще в момент моего крещения, и радость обладания которым я не ощущал в продолжение многих лет, несвободных от чувства неуспокоенности, сменившегося мало помалу чувством боли оттого, что я был отторжен от другой половины этого живого сокровища святости и благодати, оттого, что я не дышал полной грудью, но — только одним легким" (Вяч. Иванов, *Письмо Шарлю дю Бо*, стр. 90). Об этом вспоминал и я 31 мая 1980 г. в Париже перед представителями не-католических общин, делясь своими впечатлениями от братского визита, нанесенного мною Константинопольскому Вселенскому Патриархату. "Христианину и, добавлю я, католику нельзя дышать одним легким, ему необходимы оба легких, и Восточное и Западное".

Так поищем же Боговдохновенной Мудрости, чтобы с Ее помощью вновь обрести утраченное единство Востока и Запада, Севера и Юга, чтобы мы снова, наконец, могли дышать полной грудью, чтобы наши сердца принадлежали поистине Вселенскому, восстановленному братству первоначального духовного единства сынов Божиих, братьев о Христе и братьев во Христе.

Это — мое глубочайшее чаяние. И ваше сегодняшнее культурное начинание, собравшее вокруг себя поэтов, мыслителей, художников, — один из необходимейших шагов на этом пути. Ибо — позвольте сказать вам об этом накануне моего нового апостолического путешествия на мою Родину — славянская душа, которой предназначено ваше послание, принадлежит как Востоку, так и Западу, окармливаясь от этого двойного источника общего всем нам Отечества, веры Христовой. Вячеслав Иванов как-то сказал: "Я живо чувствую, как, подобно силе Антеевой, прибывают силы у Польши от соприкосновения со своею родной религиозной почвой, и как они убывают, когда ослабляются ее связи с Церковью Вселенской" (Вяч. Иванов, *Родное и Вселенское*, М., 1919 г.).

Спасибо, дорогие друзья, за ваш вклад в настоящий Симпозиум, за тот камень, который вы принесли сюда на восстановление здания утраченного единства, истинного гуманизма, основанного на вере в Бога и на всемирном братстве во Христе.

Перевод Д. Скалона

*

Господи; Я не довольно-ль жила?
Берег обрывист. Вода тяжела.
Стынут свинцовые отсветы.
Господи!
Полночь над городом пробило.
Ночь ненастлива.
Светлы глаза его добела,
Как у ястреба...
Тело хмельно, но душа не хмельна,
Хоть и немало хмельного вина
Было со многими распито...
Господи!..
Ярость дразню в нем насмешкою,
Гибель кличу я, —
Что-ж не когтит он, что мешкает
Над добычею?

София Парнок

*

Сотворил меня плохо Создатель
С беспокойной, страстной душой.
Я пишу для тебя, мой читатель,
Но я знаю — ты мне чужой.
Ты захлопнешь книгу, зевая,
И скажешь, сощутив глаза:
— Вот Одоевцева какая —
Не то рысь, не то стрекоза.

Ирина Одоевцева

“СКАЗАНИЕ О ГОРДОМ АГГЕЕ” В. М. ГАРШИНА

Об этом произведении Всеволода Михайловича Гаршина литературоведы упоминают обычно с уважением, хотя оно невелико и при своем появлении оно не вызвало такого интереса, как, например, гаршинские же “Четыре дня” или “Надежда Николаевна”.

Уважение это вызвано тем, *как* отозвался на “Сказание” Лев Толстой. Он не похвалил рассказ, не поздравил автора, а просто отказался от дальнейшей работы над собственным произведением на ту же тему.

Л. Н. Толстой вообще высоко ценил Гаршина как писателя и человека, заботливо и тревожно следя за его жизнью. Гаршин был талантлив. И в то же время он был человеком, чрезвычайно мучительно переживавшим неурядица пореформенной российской действительности.

В одном из писем к матери он мучительно восклицал: “Куда итти, что делать? Подлые ходят на задних лапах, глупые лезут гурьбой в нечаевцы и т. д. до Сибири, умные молчат и мучаются. Им хуже всех. Страдания извне и изнутри”¹.

Молодой Гаршин был среди тех, кто мучился. Его мучения были тем сильнее, что он был слишком восприимчив и нервен. Участие в войне (против Турции в 1877 г.), ранение, пребывание

1. В. Гаршин, Полное собрание сочинений в трех томах, Academia. Москва—Ленинград, 1934, том III, стр. 23. В дальнейшем все ссылки на тексты Гаршина даются по этому изданию.

среди страдающих в госпитале поставили неустойчивую психику молодого человека на грань ненормальности.

В этом состоянии хронической подавленности и ужаса перед будущим человечества Гаршина поддерживала лишь вера в конечное торжество справедливости. Как именно эта справедливость восторжествует, он не знал, возлагая надежды то на одно, то на другое.

Сперва он надеялся на победу в борьбе, но недаром же он считал, что только "глупые лезут в нечаевщы": борьбу, о которой мечтал юноша-Гаршин, должен был возглавить совсем не какой-то увлеченный красивыми теориями революционер, а тот, кто подлинно страдал за людей, был безгрешен и бесконечно справедлив.

В этом смысле знаменательно письмо В. М. Гаршина к И. Н. Крамскому по поводу его картины "Христос в пустыне":

"Те черты, которые Вы придали своему созданию, по-моему, вовсе не служат к возбуждению жалости к "Страдальцу" (говорю это потому, что один из толкователей нашел, что лицо Христа ужасно *жалко*). Нет, меня они сразу поразили, как выражение громадной нравственной силы, ненависти ко злу, совершенной решимости бороться с ним. Он поглощен своею наступающею деятельностью, Он перебирает в голове все, что Он скажет презренному и несчастному люду, от которого Он ушел в пустыню подумать на свободе. Он сейчас же взял бы связку веревок и погнал бы из храма бесстыдных торгашей"².

Прошло каких-нибудь два года, и Гаршин стал сомневаться, справедливо ли всегда действовать активно. Медленно и с остановками он шел к толстовскому непротивленчеству. Как художник, Толстой был властителем дум Гаршина и раньше, он всегда изучал произведения великого писателя, как учебник мастерства, но теперь он стал читать и публицистические статьи, особенно посвященные вопросам морали: искал в них руководство в жизни.

15 марта 1880 г. Гаршин написал матери, что решил повидаться с Толстым, и уже на следующий день был в Ясной Поляне.

2. В. Гаршин, том III, стр. 153-154.

Оба писателя — прославленный, уже немолодой и юный, к которому еще только пришла широкая известность — говорили совсем не о вопросах их профессии.

Как вспоминал впоследствии приятель Гаршина В. И. Бибииков, тот “сообщил знаменитому писателю свои планы об устройстве всемирного счастья. Лев Толстой переживал тогда тяжелый нравственный кризис, разрешившийся всем известной “Исповедью” с ее последствиями, но планы Всеволода Михайловича не показались ему такими несбыточными, какими они казались всем другим ... Они долго говорили. Всеволод Михайлович помнил, что Толстой одобрил и приветствовал его начинания”³.

Через пять лет Гаршин вновь хотел встретиться с Толстым, но не застал его дома. 20 февраля 1885 г. он писал В. М. Латкину: “Ездил в Москву; повидаться с Львом Николаевичем Толстым не удалось. Толстой уехал в деревню ... Я чувствую настоятельную потребность говорить с ним. Мне кажется, что у меня есть сказать ему кое-что. Его последняя вещь⁴ ужасна. Страшно и жалко становится человека, который до всего доходит “собственным умом”⁵.

Совсем незадолго до смерти Гаршин написал произведение, благодаря которому мы можем утверждать, что толстовские взгляды в нем в конце концов победили. Этим произведением было “Сказание о гордом Аггее”, о котором мы уже упоминали. Прежде чем начать анализ “Сказания” с точки зрения интересующей нас темы — о соответствии Гаршинского произведения агиографического первоисточнику — следует высказать несколько предварительных замечаний.

Прежде всего следует отметить, что “Сказание о гордом Аггее” — первое и единственное произведение Гаршина, имеющее литературный первоисточник. До того даже сказки Гаршина были полностью — от сюжета до интонации — результатом личного творчества писателя. Первоисточник “Сказания” — древнерусская религиозно-нравственная повесть, — как уже упоминалось, был

3. В. Бибииков, Рассказы, СПб, 1888, стр. 361.

4. “В чем моя вера”.

5. В. Гаршин, том III, стр. 353.

опубликован в сборнике А. Афанасьева "Русские народные легенды". Совершенно бесспорно, что в афанасьевской легенде Гаршина привлекли не какие-нибудь фольклорные образы и не жанровые особенности фольклора, а идейно-тематическая сторона. Текст, записанный А. Афанасьевым и озаглавленный им "Повесть о царе Аггее и како пострадал гордостью", является старинным рассказом нравоучительного содержания, типичным для древнерусских прологов и патериков.

Отметим также два обстоятельства, связанные со временем действия в "Сказании о гордом Аггее" Гаршина. В этом произведении Гаршин, никогда не писавший о прошлом, впервые обратился к истории. Однако следует оговориться, что "историчность" "Сказания" — мнимая, как в значительной степени мнимым является и местонахождение "некоторой страны", где автор развертывает события.

А теперь приступим ко сличению текстов — гаршинского с афанасьевским.

А. Афанасьев начинает повесть сообщением о том, что "бысть во граде Филуяне царь, именем Аггей, славен зело". Изменение Гаршина невелико, но существенно: "Жил в некоторой стране правитель, звали его Аггей. Был он славен и силен".

Далее Афанасьев рассказывает, как однажды, стоя в церкви на литургии, царь обратил внимание на евангельские слова: "богатии обнищают, а нищие обогатеют". Царь разгневался и повелел вырвать из Евангелия лист с этим текстом, а иерея, прочитавшего эти слова вслух, посадить в темницу. У Гаршина же сразу после цитированной уже первой фразы следует рассказ о подробностях жизни Аггея, изложенный с явным намерением русифицировать события. (Недаром публикация "Сказания" цензурой была разрешена не сразу).

Сцену в церкви Гаршин психологически заостряет. Если в сборнике Афанасьева Аггей обращает внимание на евангельские слова случайно, то у Гаршина он, всегда готовый к "нарушениям народом законности", "слушает службу и думает: верно или неверно говорится в святом писании".

В древней повести правитель, не поймав оленя, возвращается назад и, не найдя ни коня, ни платья, "ста наг и весьма задумался". Гаршин и здесь заостряет социально поведение правителя: "Рас-

сердился правитель, подумал, что украли, и решил строго наказать воров”.

Древний источник не смущается отрывочностью изложения. В нем рассказывается, что после церковной службы царь пошел “в дом свой и нача пити и ести и веселитися”. А затем, сразу же после этой фразы, следует: “Видевша же царь в поле оленя, поеха и взя с собою юношов, и погна в след и хоте оленя уловити”. Чтобы объяснить читателю, как царь оказался в поле, когда он только что сидел за пирушественным столом, Гаршин вводит рассказ о некоем юноше, который, находясь за городом, увидел рослого и красивого оленя, задумал угодить правителю, прибежал в его палаты и сказал об олене слугам. Описание оленя и погони за ним у Гаршина сделаны с большой художественной выразительностью, в то время как в древней повести читатель лишь информируется: “Бе же олень прекрасен зело. Царь же рече отроком своим: “Стойте вы zde, аз пойду уловлю один оленя”. И погна во след...”

Эпизод с встреченным Аггеем пастухом (в древней повести — пастухами) у Гаршина очень близок к эпизоду, рассказанному Афанасьевым. Любопытно, однако, что у Афанасьева пастухи избили Аггея кнутами и непонятно какими (в тексте стоит знак вопроса) трубами. У Гаршина сказано, что *берестовыми* трубами.

Социальное и психологическое обогащение Гаршиным древней повести является одновременно и нравственным. Интересен в этом смысле тот же эпизод с избиением Аггея. В древней повести пастухи избили и прогнали Аггея, он пошел в город голым, а там торговые люди дали ему “одежду худую, раздраную”. У Гаршина нагой Аггей встретил пастуха, который был в лаптях и худом зипунишке и накричал на него за то, что тот не приветствовал Аггея, как подобало приветствовать правителя, и даже начал бить его; однако, пастух был сильнее, повалил Аггея на землю и бил его берестовою трубою, пока вся береста не расплелась. Избитый Аггеем пошелся потихоньку, и пастуху стало его жалко. Он позвал Аггея обратно, прорезал в мешке три дыры (для головы и рук) и отдал его Аггею.

Активное действие эпизода на этом кончается, но нравственно-психологическое содержание его — еще впереди. Отойдя от пастуха, Аггей оправился довольно быстро. Шел он по дороге, и в нем все больше разгоралась злость на вора, укравшего коня и

одежду. "Уж покажу я ему, что я, Аггей, — настоящий, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха тоже так не оставлю, — подумал Аггей, да вдруг вспомнил про мешок и устыдился".

Этот неожиданный поворот в мыслях Аггея — явный отголосок толстовских рассуждений о сосуществовании в одном человеке множества самых различных и в том числе противоположных черт, а также отзвук толстовского же учения о непротивлении злу насилием — и то, и другое произвело на молодого Гаршина сильнейшее впечатление.

С того момента, как Гаршин заставил Аггея устыдиться, он повел свое повествование совсем не так, как в древнем источнике: оставив сами события без изменений (или почти без изменений), он наполнил их совсем иным идейным и нравственным содержанием, придав религиозному житию более светский характер.

Особенно это заметно при повествовании о раскаянии Аггея. В древнем источнике сказано: "Царь же Аггей восплакался горько: "Увы мне! Что сотворил себе. Владыку прогневил; сам же царства своего лишился и погибель себе сотворил, а все пострадал за слово евангельское!" Гаршин же прямо заявляет, что не за это пострадал Аггей: "И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что не за выдранный лист наказал его Господь, а за всю жизнь".

Соответственно той направленности, которую придавал Гаршин покаянию Аггея, он меняет характер всего окончания рассказа. У Афанасьева ангел "нача его учити и наказывати впредь евангельское слово не хулить и священников почитать, а себя не превозносить, кротку и смиренну быть". У Гаршина: "Кончилось наказание твое, — сказал ангел. — Возьми мантию правителю, возьми меч и жезл и шапку правителю. Помни, за что ты наказан был и правь народом кротко и мудро и будь отныне братом народу своему".

Древняя повесть оканчивается назиданием ангела. Не то у Гаршина, который придает ей окончание в том же духе, в каком через четыре-пять лет окончил своего "Отца Сергия" Лев Толстой: "Нет, господин мой, — ответил Аггей ангелу, — ослушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча ни жезла, ни шапки, ни мантии. Не оставлю я слепых своих братьев: я им и свет, и пища, и друг, и

брат. Три года я жил с ними и работал для них и прилепился душой к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям: долго стоял я один среди народа, как на каменном столпе, высоко мне было, но одиноко, ожесточилось сердце мое и исчезла любовь к людям".

"И пошел поводырь Алексей, — заканчивается "Сказание о гордом Аггее", — со своими двенадцатью слепыми и работал на них и на других бедных, слабых и угнетенных и прожил так многие годы до смерти своей".

"Сказание о гордом Аггее" — единственное обращение Гаршина к духовной литературе. Уже следующее его произведение (вышедший в свет меньше, чем через год после "Сказания", — в январской книжке "Северного Вестника" за 1887 г. — рассказ "Сигнал") было опять основано на современном реалистическом материале и лишено какой бы то ни было стилизации.

Однако идея этого рассказа была та же, которую выносил писатель во время работы над "Сказанием о гордом Аггее" — борьба между добром и злом. Только борьба эта, заполнявшая в "Сказании" душу Аггея, стала ареной столкновения взглядов двух людей — кроткого, но способного на высочайший моральный подвиг Семена и злого, преступного Василия.

В этой борьбе побеждает добро, побеждает без применения силы, только потому что оно — добро. А не почерпнул ли Гаршин эту идею в древнерусской повести об Аггее? И не потому ли он принял толстовское непротивление злу насилием, что это учение пронизывает нашу духовную литературу?

Но не только идейно-нравственное успокоение Гаршина знаменует собой "Сказание о гордом Аггее", в нем писатель постиг ту простоту художественной формы, к которой стремился в последние годы.

В 1885 г. он писал В. М. Латкину: "Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных отрывочных воплей, каких-то "стихов в прозе", какими я до сих пор занимался: материала у меня довольно"⁶.

6. В. Гаршин, т. III, стр. 356.

В отличие от всех предшествующих произведений Гаршина. "Сказание о гордом Аггее" отмечено сдержанным, внешне очень спокойным тоном повествования, простотой изложения. Думается, что и эти достоинства пришли к писателю после внимательного изучения древнерусской духовной литературы.

А. Опудский

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	70	130	250
Заграница	97	184	357
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	126	242	474

ЗЕРКАЛО И ИНТЕРЬЕР В РОМАНЕ "ПЕТЕРБУРГ"

Вещи, обстановка комнат, интерьер в романе А. Белого выписаны выпуклей, стереоскопичней, материальней, чем люди, похожие на тени, куклы, фантомы. Персонажи романа мыслятся автором как носители идеи, принципа, концепции. Даже вождение плоти приобретает двухмерность абстракции. Люди обделены плотью, но наделены концептуальной психологией. Их окружение, обстановка комнат, точно так же как и городской пейзаж, служат в романе чем-то более значительным, чем одним лишь фоном или обрамлением. Едва ли не каждая подробность интерьера семантически существует более чем в одном плане. Поэтому явный и скрытый смысл подробностей может быть расшифрован многогранно.

Каждая вещь в романе "Петербург" работает как зеркало. Образ зеркал — сквозная тема книги. Если зеркало не упоминается, то напоминает о лаке паркета или показана игра отблесков, бликов, отсветов, всевозможные вариации игры света и тени.

Но зеркало — больше, чем вещь или декоративная подробность интерьера, больше, чем только сквозной образ в романе. Зеркало для А. Белого — универсальный символ, средство выразить фундаментальную онтологическую мысль. Вслед за создателем антропософии Рудольфом Штейнером, писатель видит мир как иерархию нескольких планов существования. Бытие не однозначно, хотя источник метафизического света — один. Даже солнце светит отраженным метафизическим светом. Каждый уровень существования — это тень, отбрасываемая другим, более высоким уровнем. Так, люди в их телесном воплощении — это тени, отбрасываемые их внутренним "я". Тень и зеркальное отражение — это одно и то же, разница лишь в точке

зрения наблюдателя. Итак, зеркало для Белого — это Вещь с большой буквы. Другие вещи отличаются от зеркала не в принципе, а в степени отражательной способности. Если зеркало отражает физический облик, то другие вещи могут отразить внутренние переживания, мысли и даже философию человека. Каждая вещь — одновременно и символ и зеркало. В кабинете молодого Аблеухова мы находим бюст Канта. В доме сенатора висит уменьшенная копия картины французского художника Давида. Лестница украшена статуей Ниобы с алебастровым взглядом. В квартире "японской куклы", возлюбленной Николая Аполлоновича, висят гравюры Хокусаи — виды Фудзиямы. В доме Аблеуховых холодно белеет бюст Архимеда, который вместе с "Планиметрией" на письменном столе сенатора служит для того, чтобы гротескно показать геометрию и симметрию Аблеуховского сознания.

Что же касается бюстика Канта, украшающего кабинет Николая Аполлоновича, то это один из центральных символов книги. Еще за десять лет до начала работы над романом А. Белый пишет: "В комнате был ужас небытия: там лежала на столе "Критика чистого разума". Позднее писатель прошел через период увлечения Кантом, но возвращается к прежнему убеждению: логика Канта замораживает жизнь, вместо жизни оставляет нам геометрию интеллекта; Кант — гениальный мертвец, он, собственно, и не жил, а был одним из книжных шкафов своей библиотеки. Бюстик Канта в кабинете Николая Аблеухова подчеркивает безжизненность философии последнего. Кантианские абстракции сына суть то же самое, что и "Планиметрия" на письменном столе отца. Николай Аполлонович, однако, более чем кантианец, более чем пародия Белого на свои былые увлечения.

Известное сходство между студентом Аблеуховым и другим петербургским студентом — Раскольниковым — найти отнюдь нетрудно. И это подобие давно было подмечено критикой. Но есть в романе еще одна подробность, которая усугубляет эту петербургскую аналогию: картина Жана Луи Давида в доме Аблеуховых — триумфальная ода в красках, панегирик Наполеону Бонапарту. Для Достоевского, а затем и для легко заимствующего А. Белого, Наполеон есть воплощение принципа: лжеоправдание убийства, совершаемого ради "высокой" идеи.

Поднимаясь по парадной лестнице Аблеуховского особняка, герои романа то и дело наталкиваются на алебастровый взор Ниобы. В соответствии с мифом, Ниоба хвалилась достоинствами своих прекрасных детей и тем навлекла на себя "зависть богов". Дети погибли, а Ниоба была обращена Громовержцем в камень. Неоднократно встречаемый в романе А. Белого образ Ниобы — рефрен, акцентирующий конфликт "отцов и детей", окаменелую натуру Аблеухова-Каренина-Победоносцева-Аракчеева.

Поднявшись по лестнице, вы попадаете в зал, напоминающий "коридор широчайших размеров". Если не упустить из виду эту, на первый взгляд незначительную деталь, становится ясным символический смысл всего интерьера. Зал в доме Аблеуховых изображен как "внутренний" Невский проспект. Главная улица Петербурга рисуется в романе как магистраль, ведущая в Ничто. Но Ничто есть туранская нирвана, а такая нирвана чревата эсхатологическим смыслом. Зал в особняке сенатора несет ту же смысловую функцию. Картины, висящие здесь — "бледнотонная живопись" в подражание "Помпее". Эти картины в круглых рамах — окна в небытие, в будущую катастрофу, которую писатель предрекает Петербургу.

Квартира Ангела Пери — еще один образец символики интерьера. Лихутина, Софья Петровна (самое имя — саркастический перифраз имени террористки Софьи Перовской), живет в квартире, украшенной крикливо, претенциозно и ярко. Но сколь значителен эпитет, характеризующий яркость: "со стен упали каскады неугомонных цветов: очень огненных там; и здесь под небесны х" (разрядка моя — В.К.). "Поднебесная" — синоним Китая — то-есть еще один аккорд в речитативе о панмонголизме.

Комнаты в квартире Софьи Петровны Лихутиной малы. Характерная особенность лица Лихутиной — "узкий лобик". Использование пространства как средства аналогических характеристик — излюбленный прием писателя. Рассмотрение только одного этого приема могло бы составить тему отдельного исследования, так как не только в "Петербурге", но вообще в прозе А. Белого пространство — постоянный объект его художественного эксперимента. Комнатки Лихутиной столь же тесны,

как и ее революция, и ее теософия. Пространство в ее присутствии редуцируется к кукольному масштабу. Пейзажики с видами "Фудзиямы" в этом окружении воспринимаются как игрушечная модель горы панмонголизма.

Сама символика панмонголизма в романе основана на очень прихотливой, малооправданной, узкосубъективной логике. Однако, желтый цвет, как символ панмонголизма, встречается в романе с особенной настойчивостью. Сам петербургский октябрьский туман кажется писателю желтоватым. Город еще только в преддверии, еще только накануне будущей Цусимы, и поэтому туман не желт, а желтоват. Но стены комнаты, в которой живет профессиональный революционер Дудкин, оклеены желтыми обоями. Стены в зале Аблоуховых, напротив, излучают холодную снежную белизну. Такова же и гостиная в особняке сенатора ("холодно было великолепие гостиной"). Ведь сенатором "холодание возводилось в принцип". Для украшения интерьера выбрана картина именно Жана Луи Давида, а не другого художника. Общеизвестно, что Давид был наиболее великолепный, но и наиболее холодный художник французского классицизма.

Ключ к пониманию интерьера в романе "Петербург" дает нам сам автор. Андрей Белый называет комнату "мозговым пространством". В другом месте сенаторский дом назван "Палладой". Как Паллада в полном вооружении вышла из головы Зевса, так же и "лакированный" дом Аполлона Аполлоновича — порождение "туранской", "монгольской" мысли сенатора о холодной, блестящей, симметричной красоте. Холод его ума должен выйти за пределы этих холодных стен, распространяясь на всю Россию.

Помимо того, что интерьер зеркально отражает внутренний мир героя, в свою очередь, внутренний мир действующих лиц находится под влиянием, исходящим от интерьера. Интерьер — это психология персонажа, проецируемая вовне. Это мысль, которая приобрела независимое бытие. Мысль жила в человеке, обитала в его мозгу, теперь человек обитает в мысли, принявшей объективное существование, материализовавшейся и принявшей облик парадной лестницы, гостиной, кабинета или зала. Интерьер в своем влиянии на человека создает у него иллюзию, и человек кажется себе в своей комнате центром вселенной. Ин-

терьер является источником соллипсизма героев романа.

Для Аполлона Аполлоновича интерьер — защита от реального пространства ("Несомненно, в сенаторе развивались: боязни пространства"). И еще через несколько страниц — "безотчетную грусть вызывали пространства". Стены комнат защищают героев от "общей жажды смерти". И наконец, сам Петербург в изображении Андрея Белого — это каменный интерьер, отделенный от всей страны.

В. Крейд

ПЕРЕПИСКА И. А. БУНИНА С М. А. АЛДАНОВЫМ*

Публикация А. Зверса

Четверг [1948 г.]

Пока думаем, дорогие Алдановы, что наше свидание во вторник, Бог даст, состоится — если только не будет бури с метелью или ливнем (сочетанию 2-х последних слов позавидовал бы сам Бальмонт!).

Посему пока говорим по-советски: "Пока!" и целуем Вас.
Ваш Ив. Б.

Там еще так говорят: "Ну, жму Ваши пять!"

Четверг 8 янв[аря] 48 г.

Дорогой, милый Марк Александрович, с большой радостью исполняю то, что нужно, — *par avion* *rescom*. Всю статью хорошо разобрали с В.Н. Она сейчас идет в Antibes и там зайдет на почту.

Нынче утром телеграмма (от 7-го): *Merci pour lettres. Explications suivent. Salutations Marie Zetlin!*

Думаем, что все-таки она очухалась — иначе не послала бы телеграммы — ведь не малый расход!

Целуем Вас с Татьяной Марковной.
Очень любящий Вас Ив. Б.

*См. "Н. Ж.", кн. 150.

1. 20 декабря 1947 г. М. С. Цетлина послала Буниным следующее письмо: "Вы ушли в официальном порядке из Союза Писателей с теми, кто взяли советские паспорта... Я должна уйти от Вас, чтобы *чуть-чуть* уменьшить Ваш удар.

У Вас есть Ваш жизненный путь, который Вас к этому привел. Я Вам не судья.

Я отрываюсь от Вас с очень глубокой для меня болью и эта боль навсегда останется со мной. Разлюбить я Вас не могу.

Вы — мой милый Иван Алексеевич, *над* которым я себя никогда не поставлю. Я чувствую Ваш крестный путь, как если бы Вы были моим любимым братом". (См. А. Н. Дубовиков, "Выход Бунина из парижского Союза Писателей", — *Литературное Наследство*, 84, II, (1973), 402). Главнейшие пункты своего ответа М. С. Цетлиной Бунин цитирует в своем письме Б. К. Зайцеву от 15 января 1948 г. (См. *Н. Ж.*, 138 (1980), стр. 172, 173).

[Алданов Бунину]

12 января 1948 г.

...Издательство Грассе прислало мне французский томик: переписка Горького с Чеховым. Я прочел с интересом. Там часто упоминается Ваше имя (в письмах Горького — он хвалит Вас, но сдержанно, с оговорками). Если хотите, привезу...

18 янв[аря] 1948 г.]

Милые друзья, я серьезно болен — воспаление век и ноздрей, завтра или послезавтра придется ехать в Cannes — к доктору специалисту.

Предупреждаем Вас, боясь, что Вы приедете и не застанете нас.

Целуем сердечно.

Ваш Ив. Б.

P. S. Мы уже были в Cannes неделю тому назад, очень истра- тились, но без пользы.

2 февр[аля] 48 г.

Дорогой Марк Александрович, письма М[арии] С[амойлов]ны, обещанного ею мне еще 7 янв[аря], до сих пор нет — и думаю, не будет. Ей или оч[ень] неловко и ложное самолюбие не позволяет сказать: "извините — ошиблась" — или ей поспешили написать (Зайцевы, по-моему): "не обращайтесь внимания на письмо Б[унина], — он просто хочет вывернуться как-нибудь...". Ведь З[айцев] недавно так почти и написал мне: "Все-таки твой поступок *всеми* понят как протест против исключения советских". И я ему ответил, что это "*всеми*" — его выдумка — и т. д.

Прилагаю хорошее, умное, благородное письмо Карповича

(сохраните его и возвратите мне при случае). Только недавно получил. Отвечу кратко, благодарностью. О сотрудничестве своем в "Нов. Ж." умолчу — пока думаю, чувствую, что мне невозможно все-таки, неловко и обидно посылать что-нибудь в журнал, основанный М[арией] С[амойловной] (и М[ихаилом] О[сиповичем]), которого она как бы хозяйка.

Прерываю письмо — идут на почту. Целую Вас и Т. М.

4.2.1948 г.

Дорогие друзья,

письмо от Яши Цвибака. В письме такие строки: "Я узнал, что М[ария] С[амойловна] послала Вам письмо, к сожалению, только дня через три после его отправки. Я сказал ей, что я думаю, осуждал ее решительно... Получив Ваше письмо, я вторично с ней говорил и очень ее упрекал. Она оправдывалась — не знала, дескать, что Вы больны; послала свое письмо в адрес Зайцевых, так как считала, что Вы уехали и что Зайцевы перешлют. Надеюсь, что З[айце]вы, зная подлинное Ваше состояние, все же не перешлют письма, а они переслали — и т. д. Все это ужасно наивно и по-бабьи. Но я видел, что ей ужасно неприятно, что она жалеет, и она сказала, что отправила телеграмму и напишет письмо, которым все исправит. Через неделю после этого я собирался побывать у нее с Галичем, мы хотели вдвоем на нее повлиять окончательно. Тут, неожиданно, наши отношения испортились из-за статейки, которую я написал в "Н[овом] Р[усском] Слове", — посылаю ее Вам..."

Будьте здоровы, целую Вас.

Ваш Ив. Б.

9.2.1948 г.

Дорогие друзья, как видите, письмо обращено только к В. Н.¹ Затем: извиняется М[ария] С[амойловна] *только* в одном — в посылке своего "знаменитого" письма *через* Зайцева. "По существу же...", т. е. несмотря на все то, что я ей писал, "характеристика" моего "поступка" осталась для нее в полной силе. Это, знаете, уже некоторая пощечина мне!..

Почему М[ария] С[амойловна] "очень рада", что М. М. Кар-

пович написал мне письмо "по этому поводу", не понимаю. В "Нов. Журн." больше никогда ноги моей не будет. В. Н. помогать распространению его тоже не будет больше.

Целую Вас. Ваш Ив. Б.

1. Копия*

4.2.48 г.

(Приписано Буниным:

"Получено нынче — 9 фев[раля]"

Дорогая Вера Николаевна!

Налеюсь, что Вы получили мою телеграмму в ответ на Ваше письмо. Простите меня, что я до сих пор не прислала Вам своих объяснений. Меня очень огорчает, что произошло совершенно неожиданное для меня *недоразумение**. Когда я Вам писала свое письмо, я не знала, находитесь ли Вы в Париже, или уже уехали на юг. *Свое письмо я Вам писала в результате письма Б. К. Зайцева и Веры Алексеевны**, которые мне сообщали *подробно** о Вашем уходе из Союза Писателей с теми, кто взяли советские паспорта. Мое письмо к Вам не могло быть для них секретом и поэтому, не зная, где Вы находитесь, я послала мое письмо к Вам на их адрес в открытом виде. У меня не было намерения, чтобы они прочли это письмо *до Вас, это вышло случайно***. Мне н и к о г д а не приходила мысль "предать гласности с целью очевидно очень недоброй" (слова Ивана Алексеевича) это письмо. Никаких копий и никому в Америке и в Европе я не посылала, за исключением *двух** лиц: я послала копию М. М. Карповичу и М. А. Алданову, исключительно из-за моей связанности с ними по "Новому Журналу". Я *была очень рада, когда М. М. мне сообщил* о том, что он написал по этому поводу Ивану Алексеевичу [*приписано Буниным: ?!*]. Мне очень больно, что эти две случайности, мое незнание, где Вы находитесь и моя связанность с "Новым Журналом" создали у Вас впечатление, что я хотела предать гласности с очень недоброй целью.

Должна признаться, что эти случайности могли Вас привести к этому выводу, о чем я о ч е н ь жалею и в чем я самым искренним образом перед Вами извиняюсь. По всей вероятности, я это сделала от большой взволнованности или, как пишет Иван Алексеевич: "непомерной страстности", что меня, понятно, не оправдывает. Поэтому я принимаю все Ваши упреки по этому поводу и очень благодарю Вас и Ивана Алексеевича, что Вы, несмотря на это, мне все же ответили подробными письмами...

*Места, *подчеркнутые Буниным*.

**[*Приписано Буниным*]: Неправда! Галичу послала — он мне писал об этом. Д. б. м. и еще кому-нибудь...

[Алданов Бунину]

10 февраля 1948 г.

Дорогие друзья,

получил только что Ваше письмо. Да, нечего сказать. Ну, что-

ж, значит, мы оба ушли из "Нового Журнала". Но, пожалуйста, не пишите *об уходе* в Париж, так как это могло бы еще, чего доброго, попасть в "Русские Новости", а это, разумеется, было бы *чрезвычайно* нежелательно, поскольку мы решили не заявлять об уходе в "Н[овом] Р[усском] Слове". К тому же, от Карповича ответа на мое письмо еще быть не может, и мы ему "официально" не заявили об уходе.

Привезти ли Вам еще "Картуш Деникотинеа"?

Обнимаю Вас. Надеюсь, Вы чувствуете себя хорошо. Весна. "Как ни старались люди, собравшись несколько сот тысяч в одно место..."

Ваш М. Ландау

11 февр[аля] 48 г.

Марк Александрович, дорогой, милый, я страшно тронут Вашими товарищескими чувствами ко мне, но *умоляю* Вас — ради Бога не уходите из "Нов. Журнала"! Ведь это будет такой большой вред ему! Я — другое дело. Но и я ни в коем случае не предам гласности свой уход из него, чтобы ему не повредить.

Пишу пока два слова — В. Н. спешит в город за покупками. Надеюсь, скоро увидимся.

О "Картушах" не беспокойтесь, у меня их еще достаточно.

Целуем Вас и дорогую Т. М.

Ваш Ив. Б.

[Алданов Бунину]

9 марта 1948 г.

Дорогой Иван Алексеевич,

сегодня заказал Вам в агентстве Kuoni купэ из двух мест на 15 апреля в спальном вагоне...

Вчера вечером, вернувшись домой, нашел в ящике письмо от своих американских издателей. Они получили из Калькутты предложение издать "Истоки" на бенгальском языке!.. Это мой двадцать четвертый язык. Когда будет двадцать пятый, угощу Вас шампанским. Вы, верно, за 25 перевалили? После смерти Алешки [Толстого], "Правда" сообщала, что он переведен на 30 языков, но из них, кажется, десять были языки разных народов СССР...¹

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), стр. 140.

Вечер 10-го марта
[Почтовый штемпель:] 1948 г.

Дорогой Марк Александрович, простите ради Бога, — без вины виноваты перед Вами, заставив Вас напрасно беспокоиться о билетах для нас: в пятом часу приехал к нам на своей машине Клягин, посидел немного и вышел с Верой, которая вернулась часа через полтора и сказала, что была в Cannes и Клягин завез ее к Куку, где и заказала нам билеты на 24 апреля. А в ее отсутствие я получил Ваше письмо! Сделайте одолжение, зайдите в свободную минуту в агентство "Kuoni" и откажитесь за нас — мы, мол, не можем ехать 15 апреля. Целуем Вас обоих. До воскресенья, надемся! Уже и Калькутта? Ура!

[Алданов Бунину]

2 апреля 1948 г.

...Вы не исполнили обещания НЕ писать никому о нашем уходе из "Нового Журнала": в Париже Тэффи мне сообщила, что Вы ей об этом написали; а здесь я узнал, что Вы написали о том же и Цвибаку. Но что ж делать, Бог Вас простит. Как бы то ни было, когда мне с Ваших слов говорили о нашем уходе, я подтверждал: да, ушли, ушли из-за письма Марьи Самойловны Ивану Алексеевичу.

Вчера я случайно встретился с одним добрым знакомым... Он меня огорченно спросил: "Что же это, неужели Бунин стал большевиком?... Я ему немедленно изложил, как было дело. Он пришел в ярость, вынул чековую книжку и тут же вручил мне чек на пятьдесят долларов" с просьбой передать Ивану Алексеевичу как дар, свидетельствующий о моем глубоком уважении к нему"...

У меня успех в Англии: "Истоки" взяты Бук Сосайети, но масштабы в Англии неизмеримо меньше, чем в американском Бук оф зи Монс, да и денег оттуда, боюсь, не выцарапаешь!

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), стр. 27, 128, 140.

9.IV.48 г.

Дорогой Марк Александрович, мы очень о Вас с Татьяной

Марковной беспокоились, с радостью вздохнули свободно, когда, наконец, узнали, что Вы долетели.

Простите ради Бога, что причинили Вам неприятность невольно — мне кажется, что я тут все-таки без вины виноват: я думал, *что надо было скрывать наш уход из "Н. Ж." лишь до поры до времени*, до Вашего извещения о нем Карповичу, после которого наша "тайна" уже не может больше оставаться "тайной", — в противном случае зачем было бы его извещать? Я не думал, что Вы и его просили хранить эту "тайну"... Во всяком случае, я очень огорчен. Больше никому не скажу ни слова.

А вестью о чеке* Вы нас очень, очень утешили — как раз перед Вашим письмом мы подсчитали наши ресурсы и ахнули: их осталось настолько в обрез до приезда в Париж, что прикупать что-нибудь для пропитания здесь, до 23 апреля, до отъезда отсюда, оказалось уже совсем невозможно, несмотря на то, что стол "Рус[ского] Дома" уж совсем испортился — чуть не каждый день к обеду по кусочку ржавой трески с сухой картошкой и по тарелке супа из картошки и моркови, а на ужин — по тарелке теплых, гадких макарон безо всего... (*Совершенно между нами*: если бы Вы были еще здесь, я бы произнес такую речь насчет Роговского, его жизни вообще, — распутно "карамазовской", — и его хозяйства в "доме". в частности, — что Вы были бы просто поражены. Помоему, извиняет его одно: он настолько нелеп, ненормален и кое в чем просто гадок, что это — уже болезнь, последствие сифилиса, думаю...).

Из Парижа вести об ужасной погоде, о холодах — мы рады, что выезжаем отсюда позднее, чем раньше думали.

Очень тронут и Вами, — что Вы хотите что-нибудь сделать для меня в фонде.

От души поздравляю с успехом в Англии! Целуем Вас обоих, дорогие!

Ваш Ив. Б.

*Мы его не получили еще, получив, извещу.

10 мая 1948 г.

Дорогой, милый Марк Александрович, отвечаю Вам пока один на Ваше письмо от 3 мая — В. Н. говорит, что напишет Вам

отдельно, пока же мечется по каким-то заседаниям и занята большой работой по чистке и новому устройству нашей квартирki: у нас — событие: Ляля [Жирова] с дочкой Олечкой, к нашему удовольствию, внезапно покинула нас, переселилась к некоему Величковскому, писателю стишков и работающему в лавочке, когда-то принадлежавшей Аге, и уже называет его своим мужем!

Чрезвычайно благодарю Вас за Ваши хлопоты обо мне (и о бедной Н. А. [Тэффи]) в Литер[атурном] фонде, пожалуйста, передайте при случае мою благодарность и фонду. Я уже получил от Кодрянской 17 т. за эти 50 дол. За 50 дол. милого Гутнера я получил 14 т. 600 фр. Очень тронут, дорогой друг, опять и опять Вашей защитой меня перед М[арией] С[амойловой]!

М. М. Карповичу я в свое время "с большим огорчением", но твердо написал, что больше не могу быть сотрудником "Н. Журнала", но письма этого он не получил — вижу это из его письма ко мне от 19 апреля (очень хорошего, очень сердечного, где он говорит о моем уходе только на основании Вашего письма к нему и уговаривает меня взять мое решение назад: отвечаю ему, что я ему писал о своем уходе и сам и что, к истинному моему огорчению, решения своего переменить никак не могу). Помню хорошо, что вместе с письмом Карповичу я послал письмецо Габриловичу, который тоже не получил его (как он пишет это Пантелеймонову: "сто лет ни строки от Бунина!"). Объясняю эти пропажи тем, что поручил послать эти два авиона повару "Рус[ского] Дома", ехавшему к жене в Ниццу, — человеку милому, но горькому пьянице.

Здоровье мое — прежнее, такое, что уже стыдно стало писать о нем. Кроме того, как приехал сюда, так тотчас же схватил такой ужасающий насморк и бронхит, что все лежал в постели, — только позавчера вышел в первый раз из дому — на обед к Полонским.

От всей души целую Вас и дорогую Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Бунин.

1 июня 194[8] г.

Милый, дорогой Марк Александрович,

спешу Вам ответить, горячо поблагодарить Вас за Ваши постоянные заботы обо мне и попросить передать С. С. Атрану, что я чрезвычайно тронут им и шлю ему мой сердечный поклон. Буду очень рад познакомиться с ним, когда он будет в Париже.

Ваше сообщение чрезвычайно обрадовало меня, хотя эта радость смешана и с большой грустью, с боязнью, что м. б., и не осуществится доброе намерение С. С.-ча. Ведь Вы говорите, что могут быть какие-то "влияния" на него. Что ж — очевидно, на свете все может быть, век живи — век учись! Моя история, т. е. то, что некоторые в чем-то обвиняют меня... эта история похожа на самый нелепый дикий сон. И все-таки это не сон, а явь, так что, повторяю, "влияния" возможны — что, конечно, уж так дико, что и слов не найдешь. Что до моего материального положения, то Вы его знаете лучше Столкинды. Жить чуть не на краю могилы и сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, м. б., завтра у тебя, больного вдребезги старика, постыдно, унижительно доживающего свои последние дни на подачки, на вымаливание их, не будет куска хлеба — это, знаете, нечто замечательное! Вы говорите о Цвибаке: У него моих капиталов осталось теперь всего 150 дол., — на днях пришлось взять 200, — и никаких "сборов" он больше уже чуть не год не делает, да, конечно, и не будет делать — есть ведь всего 5-6 человек, которые кое-что дали ему для меня в прошлом году, и не думаю, что будет ему приятно снова клянчить на мою подлую, нищую старость. А все это сводится к тому, что если бы я стал, наконец, чувствовать себя хоть несколько обеспеченным благодаря С. С. Атрану и другим, было бы большим успокоением для меня.

Противно, что пишу так бездарно, неуклюже, но что делать! Погода ужасная, — все время, с самого нашего приезда сюда, — чувствую себя, тоже все время, на редкость гадко — Вербов нашел у меня большое ослабление сердца, дал *Dijibaine*, а от него мне стало еще хуже... Сейчас должен приехать ко мне доктор Зернов — посмотрим, не поможет ли он?

Что до завтрака с Павловским, то Вы, конечно, все знаете от Якова Борисовича [Полонского].

Целую Вас обоих сердечно. Вера тоже. Она Вам скоро напишет.

Ваш Ив. Б.

2 июня 1948 г.

Милый, дорогой Марк Александрович, не сразу отвечаю на

Ваше письмо как раз по той причине, о которой мне стало уже просто стыдно писать, — по моему гнусному здоровью: у нас стоит совершенно дьявольская погода, такой дождь и холод, что я и день и ночь задыхаюсь от чего-то похожего уж на подлинную астму, — будь богат, тотчас же улетел бы куда-нибудь в Сахару, в Бисерму или в Египет — умирать в сухом и теплом воздухе все же в сто раз легче, чем в холоде и сырости на Оффенбахе. Да и быть погребенным там, в какой-нибудь песчаной пещере совсем, совсем не то, что в парижской могиле, — никаких червей, никакого гниения! Я о такой могиле мечтал еще в 1907 и в 1911 годах, будучи в Египте...

Опять и опять горячо благодарю Вас за Ваши неизменные заботы обо мне, — это, конечно, благодаря Вам решил подарить мне 20 тысяч г. Атран. Пожалуйста, передайте ему мой низкий, благодарный поклон. Денег этих я еще не получил, но, Бог даст, получу, если он не забыл распорядиться насчет них в Париж. Если найдете с Яшей "женщину", могущую устроить у себя бридж в пользу моей постыдной старости, буду страшно рад, — цены у нас на все растут поистине сказочно.

18-ую кн[игу] "Нов. Журн." только что получил. Кое-что уже успел прочесть. "Никита" Толстого написан чудесно. Только я почти уверен, что когда-то, где-то он уже был напечатан, — читал, все время смутно вспоминая, что когда-то я уже читал это. У Газданова очень ловко сделано про убитого бандита. Оч[ень] жду Вас в "Н[овом] Р[усском] С[лове]".

Третьего дня добрался (с превеликим трудом!) до Тэффи — жалко ее бесконечно: все то же — чуть станет ей немного легче, глядь, опять сердечный припадок. И целый день, день за день, лежит одна-одинешенька в холодной, сумрачной комнатке...

Зайцева видел на вечере у Иванова. Поздоровались, обменялись вопросами о здоровье — и все.

Целую Вас и дорогую Татьяну Марковну. Ваш Ив. Б.

9.VI.48 г.

Дорогой друг, меня известили, что в журнале (американском) "Story" (Spring, 1948) какой-то *Leo Gruliont* напечатал перевод моего рассказа "Визитные карточки", насколько понимаю: "Calling Cards"¹. Мне каждая копейка теперь дорога,

поэтому не может ли Ваш "Лит[ературный] фонд" заставить "Story" заплатить мне за этот перевод? Сердечно обнимаю Вас, целую руку дорогой Татьяны Марковны. Ваш Ив. Б.

P. S. 20 тысяч, о коих Вы писали, я еще не получил.

1. Бунин прав. Перевод, действительно, был напечатан в журнале "Story (The magazine of the short story)".

14.VI.48 г.

Дорогой Марк Александрович,

Вы знаете, в каком ужасном положении до сих пор Належда Александровна [Тэффи], — до сих пор то и дело припадки грудной жабы и очень часто потому, что все дни и вечера она совершенно одна, — две дамы, у которых снимает она свою вечно темную, мрачную комнату, никогда не бывают дома. — и сама должна опрывать себе постель и что-нибудь готовить на кухне ("что-нибудь" настолько скудное, что, помимо всего прочего, она истощена еще и недоеданием), а эта постель и кухня опасны ей, по словам доктора Беляева, который сейчас в Париже, поистине смертельно. Поэтому решили мы, несколько человек, близких ей, — решили втайне от нее, — сделать денежный сбор в пользу ее и дать ей возможность жить где-нибудь в хорошем пансионе под Парижем, для какового сбора нужно, конечно, составить некоторое небольшое воззвание, подписанное несколькими видными людьми. На сбор в Англии уже согласился А. Я. Гальперин, бывший на днях у нас, — Вы его, я думаю, хорошо знаете, он всегда живет в Лондоне, — дать свою подпись соглашается В. В. Вырубов, хотим просить подпись Маклакова и вот просим и Вас о том же: пожалуйста, ответьте поскорее согласны ли Вы на это? (Лично я, сам живущий подавляющими и теперь обнищавший уже до самой последней степени, не могу, конечно, подписаться). Вера просит сообщить Вам, что решено просить подписаться еще и Рубинштейна (того, что был в Лиге Наций). Она шлет Вам с Татьяной Марковной свой сердечный поклон, я целую Вас обоих, дорогие мои.

Ваш Ив. Бунин

Куда уезжаете на лето?

Если увидите автора "Звездочетов", попросите его, пожалуй-

ста, выслать мне экземпляр нью-йоркского издания "Темных алле́й" — м. б., у него есть. И еще сделайте одолжение спросить его: как же мне быть теперь с каким-то Ганько, который купил у меня "Темные алле́й" для издания перевода их в Америке, а теперь, по недавнему сообщению того же автора "Звездочетов", заявил, что он вполне ниш и издать меня никак не может?

Двадцати тысяч, о которых Вы мне писали, все еще нет.

[Алданов Бунину]

18 июня 1948 г.

... Вчера было заседание Президиума Фонда, я прочел Вашу открытку о "Стори". Секретарь на бланке Фонда пошлет редактору письмо с запросом, кто и по какому праву дал им Ваш рассказ. Как только получится ответ, сообщу Вам, — что предполагается сделать дальше...

21 июня 1948 г.

Дорогой Марк Александрович, деньги (20 т. франков) от г. Атрана мы получили (в его парижской конторе), будьте добры передать ему мою большую благодарность. Очень благодарю и Вас, — ведь это, конечно, "дело Ваших рук".

Воззвание для Тэффи для нее уже не секрет. Но печатать это воззвание в "Рус[ских] Новостях" и в "Рус[ской] Мысли" не предполагается. (Кстати: не думайте, пожалуйста, что я могу когда-нибудь опять появиться в "Рус[ских] Н[овостях]" с рассказом, стихами или статьей!). Относительно "Н[ового] Р[усского] Слова" ничего не могу сказать пока в этом смысле (т. е. относительно напечатания в нем этого воззвания) — еще не было ни одного собрания тех, кто дадут свои подписи. Не думаю, чтобы обратились к Вам с просьбой беспокоиться с рассылкой его.

Мне подписываться мы с В. Н. находим все-таки неудобным.

Очень благодарю фонд за "Story". Я туда, т. е. W. Burnett'у пока не пишу.

Н. В. Сделайте одолжение попросить Цвибака, чтобы он взял у Танько бумажку — его отказ от издания "Темн[ых]

аллей", его возвращение мне свободы насчет этой книги и заявление, что я не должен возвращать ему его аванса в 300 долларов. Он все-таки очень "подвел" меня!

Сотрудников "Нов. Ж." очень благодарю, но возвратиться в "Н. Ж.", конечно, не могу. Пишу об этом и Карповичу, от которого только что получил самое сердечное письмо.

О нашей поездке куда-нибудь летом даже и речи не может быть. От подарка Атрана у нас осталось всего 7 тысяч, — прочее ушло на долги. Впереди у нас сейчас только аванс в 3 т. пезет от испанского издателя за мою "Лику" да и то с вычетом 20 проц[ентов] моему литерат[урному] агенту М. А. Гофману, а главное, еще неизвестно когда могущий быть получен. Есть еще 50 фунтов в Лондоне, — аванс за "Темн[ые] аллеи", — но как их получить? Пока — легальным путем — получать не хочу: не хочу платить Англии 45 проц[ентов] налога, — ведь это ужас что такое!

Приехала Шура с мужем, нынче пожелала быть у нас на часок (одна, конечно).

Пришло мне страшно нежное письмо С[офьи] Ю[льевны] Прегель (сестрицы друга Волэса, имени которого, т. е. Волэса, а даже слышать не могу без бешенства). Она, как Вы, верно, это уже знаете, переселяется вместе с "Новосельем" в Париж.

Недавно мы два раза виделись с вдовой Глазунова, его, насколько понимаю, приемной дочерью и ее мужем, немецким писателем (лет 35), соверш[енно] очаровательным человеком (говорящим по-франц[узски]), подружившимся в Мюнхене со Степуном. Степун подарил ему первый том (огромный) своих воспоминаний (по-немецки, конечно), который он нам показывал: мы ахнули на портрет Степуна в этой книге: так он стар, сед, худ, с тонкой ниточкой сжатого рта! Можно подумать — человеку не менее 80 лет! Но не простой старец, а Холстомер.

Целую Вас обоих, дорогие!

Ваш Ив. Б.

[Алданов Бунину]

25 июня 1948 г.

Дорогой Иван Алексеевич,

Секретарь Фонда Раскин получил ответ от редактора

“Стори” и переслал его мне. При сем его прилагаю. Как видите, продал Ваш рассказ журналу тот же Танько. Цвибак потребовал от него объяснений, он ответил, что “Стори” заплатил ему за рассказ 25 долларов, которые почти *целиком* ушли на перевод! Сделал же он это для рекламы книге, в надежде, что она выйдет.

Как Вы хотите поступить? Если хотите, я могу запросить Бернета, с к о л ь к о он уплатил этому Рокпорт Пресс, т. е. Танько. Однако, вполне возможно, что он мне это не сообщит. Быть может, напишите ему Вы сами? Я мог бы составить для Вас текст письма — или попросите кого-либо в Париже, напр. Кодрянского, который должен хорошо знать английский язык. Если дело идет действительно о 25 долларах, из которых надо было покрыть стоимость перевода, то не стоит начинать дело, по-моему. Но как хотите. Не думаю, чтобы Танько сообщил Цвибаку неверную цифру, хотя бы потому, что Вы можете запросить Бернетта. Однако, и невозможного в таком предположении тоже ничего нет.

Как видите, Бернетт хочет предложить Вам дать что-либо для “Антологии лучших писателей мира”: говорит, что уже писал Вам и ответа не получил. Он просит сообщить ему Ваш адрес. Я его ему сообщу. Не знаю, имеет ли он в виду что-либо Вами еще не напечатанное или просит выбрать из появившегося на английском языке. Советую Вам спросить его предварительно об условиях. Антологии всегда платят очень мало. А может быть, он сам Вам все это сообщит, получив от меня Ваш адрес...

I.VII.1948 г.

Дорогой, милый Марк Александрович,
не знаю, как и благодарить мне Вас и Я[кова] М[оисеевича Цвибака] за Ваши заботы обо мне! Никогда не забуду их!

Все уже сделано, получил от Наташи — “сказочницы”¹ 70 страниц. А мои 200 стр[аниц]² будьте добры передать по адресу, здесь на клочке бумаги прилагаемому. (Не понимаю только, что значит *Gaslues*, — забыл вчера спросить: м. б., Jacques)?

На историю со “Стори” надо махнуть рукой. Поставим точку на этом деле. Но очень прошу Я[кова] М[оисеевича], чтобы он не позволил Таньке *продолжать* торговать моими рассказами. А *главное* — чтобы он взял у Таньки письменное

удостоверение, что он, Танько, отказывается от издания "Темных аллей", что я свободен теперь располагать этими "аллеями" как мне угодно и что аванс, который я от него получил, — 300 долларов, — я *не* должен ему возвращать.

Письма от Бернетта, его просьбы ко мне дать ему что-нибудь для "Антологии лучших писателей мира", я не получал.

О Карповиче я Вам уже писал: я ответил на его очень, очень милое письмо ко мне о возобновлении сотрудничества в "Н. Ж." отказом, конечно, самым ласковым, но твердым.

Сделайте одолжение переслать письмецо Сергиевскому.

Вчера видел Полонских — они были на вечере "en l'honneur d'Ivan Bounine" и, конечно, напишут Вам, какая это была милая ерунда (под председательством Jean Schlumberger, очаровательного человека, президента фран[цузского] отделения des P.E.N. Clubs).

Воззвание насчет Тэффи будет самое маленькое, скромное и будет только показываться жертвователям, но нигде не печататься. Подписи будут: Ваша, Вырубова и Маклакова.

Обнимаю Вас, целую руку дорогой Татьяны Марковны, Вера очень, очень кланяется Вам обоим.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Пожалуйста, напишите словечко, что письмо это дошло до Вас.

1. Это, по всей вероятности, Наталья Кодрянская.

2. Бунин подразумевает "доллары".

7 авг[уста] 48 г.

Милые, дорогие Марк Александрович, Татьяна Марковна, я все еще на одре, пишу Вам полулежа на нем, слаб смертельно. день и ночь обливаюсь потом от сердечной слабости и, очевидно, от сухого *плеврита*, что обнаружился в левом боку моем дней десять тому назад.

Решили (*по приказу* Беляева) ехать на всю зиму в Ниццу, если, Бог даст, буду жив. Вот если бы и Вы были там зимой! Мы там должны быть не позднее начала ноября. А Вы еще ничего о себе определенно не знаете? Насчет войны — кажется, ее не будет? Англия, Америка — все проглотят, все пощечины Москвы

терпят и будут терпеть...

Целуем Вас от всей души.

Ваш Ив. Б.

P. S. Для благодарности Вам не нахожу слов!

Вышел роман Зайцева "Тишина" (все о Глебе). А когда-то его первая книга называлась "Тихие зори"... "Подколотный ягненок"...

Берберова опять уехала в Швецию — говорят, решила добиться для Зайцева премии Нобеля! И не думаю, что это шутки [...]

4.IX.48 г.

Дорогие друзья, с новосельем! Дай Бог Вам всего доброго!

А вчера у меня в руках оказалось американское "Новоселье", которого я никогда не видал, — за 1942 г., — и в котором я с удивлением увидел свой рассказ ("Три рубля") — и с истинным восхищением прочел Ваш рассказ, дорогой Марк Александрович, — "Тьма": как чудесно в нем *все* — и как страшно! Редкий рассказ!¹

Мои делишки все еще не важны — ужасная слабость!

Целую Вас сердечно, Вера тоже.

Ваш Ив. Бунин.

P. S. Наш поклон и привет Вере Марковне!

1. М. А. Алданов, "Тьма" — *Новоселье*, 3 (1942), стр. 3-16.

17 сент[ября] 48 г.

Дорогой Марк Александрович, нынче была у меня сказочница — дело сделано. Ханину уже давно (т. е. дней 5 тому назад) написал благодарность. Благодарю еще раз и Вас — ведь все это, конечно, Вы сделали. Что до комнат, о которых Вы писали, то я и за грош не стал бы жить с этой дамой, а уж за 10 тысяч в месяц и по́гото (старинное слово)! Смею ли я думать о таких тратах! Вообще все более и более убеждаюсь, что навряд мне придется ехать на юг. На какие средства? Вечер мой 23 окт[ября]? Допустим, что он даст 100 тысяч: но разве на это можно ехать?

Целую Вас и руку дорогой Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

Пишу кратко и плохо — очень задыхаюсь.

31.X.1948 г.

Дорогой Марк Александрович, возвращается ветер на круги свои — нынче решили ехать в начале декабря на зиму опять в "Русский Дом"! И там для нас отчаянно дорого, но все же, думаю, дешевле, чем где-нибудь еще. Приехать в Нишу, "затесаться" с нашим барахлом в гостиницу для хороших господ и начать поиски — одно это будет гибелью для нашей "кассы"! А тут еще расплата вот-вот со внуком Льва Николаевича, с доктором Сергеем Михайловичем Толстым, к которому я съездил уже 16 раз на дыхание под колпаком всякими новомодными специями, весьма дорогими. Мне это, кажется, помогло немного в моей эмфиземе и в астме, но и простудило — вот уже неделя ужасного насморка и кашля! — простудило потому, что в колпаке воздух становится под конец очень теплым, а на улице у нас уже холодно.

На вечере я имел "безумный" успех, поэтому не верьте "Рус[ским] Новостям", что я "не оправдал ожиданий публики"¹: что ж иное могли сказать "Новости", которые так рекламировали мой вечер и которые я так подвел, закативши под конец чтения такое, что, верно, привело в бешенство "советское" посольство? В четверг будет обо мне еще фельетон Адамовича — ему, бедняге, тоже придется, должно быть, ругать меня². Вот пока все — больше писать не могу, трудно от слез и кашля. Целую Вас обоих.

1. "К сожалению, вечер не оправдал ожиданий слушателей. Рассказывая о своих современниках — писателях, художниках и артистах, — И. А. Бунин ограничился их странными, или смешными сторонами, а говоря о Чехове, например, остановился лишь на его пьесах, в которых многое ему не по душе. А публика, по-видимому, ждала другого и рассчитывала, что И. А. вспомнит о замечательных или ценных особенностях тех знаменитых людей, с которыми ему пришлось встречаться. Бунин редко выступает, и вполне естественно, что все собравшиеся на вечер славнейшего современного писателя надеялись не только посмеяться вместе с ним, но и услышать слова, которые остались бы в нашей памяти навсегда" [*Подпись: М.*] ("Вечер И. А. Бунина" — *Русские Новости*, 178 (1948), стр. 6).

2. "Бунин отнесся к своему времени с высокомерием, наполовину основательным, наполовину ошибочным, и оттого, слушая его, хотелось восклик-

нуть: как верно, и как неверно... А сейчас, раскрыв одну из его последних книг и зачитавшись ею, не в силах от нее оторваться, я хотел бы сказать: произошло всего-навсего недоразумение, когда-нибудь разъяснится и оно" (Г. Адамович, "На вечере И. А. Бунина" — *Русские Новости*, 179 (1948), стр. 4).

11 ноября 1948 г.

Дорогие Марк Александрович и Татьяна Марковна...

Пишу Вам пока два слова, в постели — немного простужен. В "Русский Дом" надеемся выехать в середине декабря. Когда, Бог даст, увидимся, покажу Вам то, что я читал на вечере, и Вы увидите, с какой любовью я говорил о Короленке, о Чехове, — кроме его пьес, — о Гаршине, об Эртеле и т. д. — и как "крыл" Маяковского ("совершив сальто-мортале в тот лагерь, против которого...") и т. д.¹

Всегда Ваш Ив. Б.

Даманская ошибается — вечер дал вовсе не 200 тысяч.

1. "На почтительном расстоянии от Великого, на кончике стула, сидел интервьюер самой независимой в мире газеты. Он не мог еще опомниться от восторга, вызванного недавним сальто-мортале, когда Великий перескочил в тот лагерь, против которого в течение тридцати лет метал громы и молнии. [Подпись: *Удоставившийся присутствия*]" ("Маленький фельетон. Ему, Великому" — *Русская Мысль*, 83, 10 ноября 1948-го г.).

[Алданов Бунину]

14 ноября [1948]

Дорогой Иван Алексеевич,

прочел присланную Вами статью, — сказать нечего. Не обращайтесь внимания. Вдобавок, статьи, написанные в таком тоне, всегда или почти всегда вызывают у читателей чувства, обратные тем, на которые автор рассчитывал [...].

16.XI.48 г.

Дорогой Марк Александрович, не думаю, что мы разъедемся с Вами, — раньше конца декабря вряд ли выедем, хотя лечение ингаляцией я бросил — особой пользы она мне, кажется, не принесла, а вред уже был: простудился от холодного воздуха на улице после сиденья под колпаком до пота, а кроме того и не по карману мне это лечение — сидел 16 раз и уже обошлось мне это

в 21 тысячу [...]

С Имкой я не ссорился, но как с ней иметь дело, раз она мучит даже Вас, столь великое количество читателей имеющего, полтора года? Очень жаль, что Вы не можете издаваться у Гукасова, — он бы Вас издал "в два счета" и очень хорошо во всех отношениях.

Тэффи все та же, к сожалению, даже к великому огорчению моему: то ей ничего себе, то опять очередной припадок...

О "Нов. Ж." и об архиве Николаевского поговорим при свидании.

Целую Вас и Татьяну Марковну, Вера кланяется Вам очень и очень.

Ваш Ив. Б.

Никогда-то Вы, милый друг, ни словечком не обмолвитесь, что пишете!

Понедельник 20 дек[абря]

Вечер [1948]

Вчера ночью, очень расстроенный, написал Вам довольно сумасшедшее письмо, которое В. Н. нынче утром, пока я спал, отправила. Нынче раскаиваюсь. Получил нынче же очень успокоительное письмо от Цвибака. Напишу Вам завтра подробнее.

Ваш Ив. Б.

Я совсем болен нервно.

Р. S. Вчера ночью же, я написал и Цвибаку вроде того, что и Вам. Это письмо тоже было отправлено утром. Днем послал ему второе — тоже раскаяние.

Дорогой друг, мне оч[ень] тяжело.

[Алданов Бунину]

31 декабря 1948 г.

... Я сегодня получил от М. М. Карповича письмо, в котором он совершенно "дезауирует" письмо к Вам Марьи Самойловны... М[арья] С[амойловна] написала свое письмо без его ведома, оно никак не выражает его мыслей и "другие" (?) разделяют *его* точку зрения (это цитирую дословно). Не излагаю его

письма подробнее, так как М[ихаил] М[ихайлович] пишет мне, что подробно написал то же самое Вам. Кроме того, он объясняет, что преобладание в 17-ой книге [Нового Журнала] (из парижских сотрудников) тех, которые в Союзе остались, произошло случайно: когда он составил книгу, он еще не знал "и не мог предвидеть раскола" (Союза). Одним словом, он в этом вопросе нейтрален, а в действиях Цетлиной никак неповинен...

Вторник [апрель 1949]

Очень рад, дорогой друг, что "Тр[етий]" Толстой Вам понравился, очень благодарю, что прислали вырезки. Сейчас В. Н. идет (как всегда спешит) в город, поэтому кончаю эту записочку. Напишу подробнее потом.

Здоровье мое за последнее время стало уже просто смешотворно — не могу сделать шагу без сердцебиения, головокружения.

Целую Вас и руку Т. М. Ваш Ив. Б.

17/VII/1949 г.

На кладбище в московск[ом] Новодевичьем монастыре был (возле собора, в кустах сирени) памятник *кому-то* — безымянный, с удивительной надписью: мраморная колонна, на ней мраморная урна, а на урне — всего два слова: "Был человек...". Вот, дорогой мой, что мне хочется написать нечто о себе — с таким заглавием. Да, верно не даст Бог. Не хватит уже сил.

Ив. Б.

Среда, 27 июля 49 г.

Дорогой Марк Александрович,

дай Бог здоровья князю Волконскому, завидую ему — ходит по городу, а я и по квартире хожу с великим трудом. Дай Бог и Вам всяческих сил, а уж до чего Вы пронзили меня своей утренней прогулкой, того и сказать не могу! Старый город Нишцы, его базары, старый порт, море, утренняя свежесть, запахи всего этого — какое это великое счастье! Все это я столько раз испытал — и вот всему этому конец для меня! Несказанно страшна старость, смерть такому человеку, как я!

Горячо благодарю Вас за Атрана — это, конечно, дело Ваших рук.

О газете Вы, думаю, уже все знаете теперь от Полонских. Павловский надолго, — д. б., месяца на полтора, — уехал куда-то на Ривьеру, м. б., увидит Вас. Собрание в кафе (а не "решающий завтрак") не состоялось: Павл[овский] на это собрание не был приглашен, — приглашен был Кодрянский, но он не явился, а был у меня на другой день с извинениями — и твердо заявил, что газета его никак не интересует: "я с 10 лет сионист и интересуюсь только Израилем". Да и зачем он нужен? Газета, повторяю, может быть только еженедельная, а для такой вполне достаточно денег Павловского. Тем более, что "Рус[ские] Нов[ости]" при последнем издыхании — это мне твердо сказал Бахрах. Ступницкий уже сдастся. Волков не в счет — тот, опять-таки по словам Бахраха, впал в полный старческий идиотизм.

В ерунде насчет выписки Полякова я, конечно, не принимал никакого участия.

То, что Мельгунов может быть приглашен в "Возр[ождение]", мне казалось, как я уже Вам писал, ерундой уже просто смехотворной. Как вдруг письмо ко мне Абрама [Осиповича Гукасова]: "редактором "Возр[ождения]" будет, вероятно, Мельгунов...". Я глазам своим не поверил! Очевидно, Абрам спятил с ума.

В "Нов." я уже давно дал странички три. Выйдет "Нов.", вероятно, только в начале октября. В "Возр[ождение]" не намереваюсь давать ничего. (Это строго между нами).

Холодными ваннами вы "угробите" себя очень быстро. Дорогой друг, я не шучу. Какой злодей Вам это посоветовал?

Целую Вас и руку Т. М.

Ваш Ив. Б.

P. S. Уже давно стоит у нас адская жара. Мучусь ужасно, ночи не сплю, задыхаюсь...

"Сколько хороших вещей даром пропадает у меня в голове!" — говорил Санчо Панса. Лежу и все думаю, думаю... и все пропадает даром.

[Алданов Бунину]

3 августа 1949 г.

У Державина есть стихи, и глуповатые, и очаровательные:

И смерть, как гостью, ожидает,
Крутя задумавшись усы.

Такой человек, как Вы — конечно, Вы думали о смерти всю жизнь. — “Да, но это было не то, совсем не то!” А почему же уж с о в с е м не то? Мне еще недавно врач по поводу Вас сказал: “ни от эмфиземы, ни от астмы, ни от геморроя не умирают”. Значит, в с е - т а к и главное сводится к тому, что р а д о с т е й жизни становится все меньше. Это так. Ну, что ж, надо себе доставлять те, которые еще остаются...¹

¹ См.: И. Ж., 81 (1965), стр. 129.

5 авг[уста] 49 г.

Дорогой Марк Александрович, будьте добры передать милому художнику мой поклон и благодарность за совет, но скажите ему, что когда-то знаменитый московский врач по носовой части Беляев сказал мне, что втягивать в нос воду — *смертельная* опасность: может куда-то попасть, куда ей никак не следует (в какие-то “пазухи”).

В кофейне *не я* ждал Кодрянского, а Як[ов] Бор[исович Полонский] и Аминад [Петрович Шполянский].

Где Роговский, не знаю. О Б. Прегель тоже ничего не знаю.

Гуляйте, дорогой, на здоровье! А я, видно, отгулялся. И главное, очевидно, не астма, ни эмфизема: бывает у нас, осматривает нас каждую неделю последнее время доктор Зернов (ужас! Ему всякий раз тысячу, да на лекарство тысячу!) и прописал мне сразу 2 лекарства *сердечных* (а В. Н. запретил ходить по лестнице и ходить по городу больше 20 мин[ут]).

Целуем Вас, дорогие. Ваш Ив. Бунин.

Повторяю: ради Бога, не садитесь в ледяную воду!

25.8.49 г.

Дорогие друзья,
как поживаете? Когда в Париж?

Позавчера был у меня Яшенька Цвибак, заходил прощаться, послезавтра отплывает в Америку. Сообщил, что завтракал с С. С. Атраном и что Атран решил выдавать мне помощь каждый месяц (начиная с 1-го сентября) в размере десяти тысяч франков.

Как его отчество: Соломонович или Самойлович? Яша точно не знает.

Напишите поскорее.

[Алданов Бунину]

26 августа 1949 г.

... В парижском издании "Хералд Трибюн" я видел объявление об английском издании "Темных Аллей" с чрезвычайно лестной строчкой из рецензии в лондонском "Тайме"¹. Бог даст, и оттуда будет доход...

¹«Mr. Ivan Bunin, the Russian Nobel Prize winner (who is in exile from his country), has an outstanding international reputation, created by such books as *The Gentleman from San Francisco* and *The Village*. His latest volume of short stories is admirable. He can evoke whole worlds of the past; and he pin-points the essential moments and details of a lifetime with such acid sharpness and such skill that for a moment the real world appears pallid by comparison. The dominant note of nearly all these stories is one of regret — regret that life recedes like a tide, regret that one must stand alone on the desolate beach, regret that a human being is only capable of living one full cycle before he dies. "In Paris", which is the story of an elderly exile from Russia meeting a charming Russian woman in Paris, there is an excellent example of the author's power to infuse nobility, breadth of vision and eternal significance into what might have been an ordinary love-affair». ["Ivan Bunin: *Dark Avenues. And Other Stories*," trans. Richard Hare — *The Times: Literary Supplement*, 2466 (May, 1949), 293.]

"Г-н Иван Бунин, русский лауреат Нобелевской премии (находящийся в изгнании), пользуется выдающейся международной известностью благодаря таким своим вешам, как "Господин из Сан-Франциско" и "Деревня". Последний том его рассказов достоин восхищения. Бунин в состоянии вызвать к жизни целые ушедшие миры: как основные моменты, так и житейские детали прошлого он дает с такими остротой и мастерством, что, порой, окружающая ныне жизнь кажется, в сравнении с им описываемым, ужасающе невыразительной, бледной. Доминирующий лейтмотив почти всех этих рассказов — печаль, сожаление, что жизнь уходит, подобно отливу, печаль, что остаешься один на опустелом берегу, сожаление, что человеку отпущена всего одна жизнь, и затем

следует смерть. История пожилого русского эмигранта, встречающего в Париже очаровательную русскую женщину — “В Париже” — великолепный образчик того, как автор умеет внести благородство, широту видения и непреходящую значимость в то, что иначе бы выглядело всего лишь обыкновенной любовной историей”).

26 августа 1949 г.

Дорогой друг,

вчера Вам написал, а сегодня получил Ваше письмо. Атрана зовут Соломон Самойлович. Он мне обещал давать Вам 600 долларов в год, т. е. более пятнадцати тысяч франков в месяц, а дает, Вы пишете, только десять тысяч. Нехорошо. Но и эта сумма имеет значение. Конечно, поблагодарите его...

Ночь с среды на четверг, 16/17
ноября [1949]

Милый Марк Александрович,

благодарность Столькинду написал давным-давно, благодарить Зензинова и Николаевск[ого] за их ходатайство перед Литер[атурным] Фондом поручил Цвибаку. Доллары Ст[олькинда] и Фонда получил через Лионск[ий] Кредит дней 10 тому назад.

Ездил туда с В. Н., истратил на такси 600 фр., после чего все время света Божьего не видел от чудовишного насморка. Позавчера по этой причине у меня начался кашель, *сутки* не дававший мне передышки даже на 5 минут — думал, что околею, спал за сутки всего часа полтора. Нынче был доктор: трахеит жесточайший, тронуты верхушки бронхов. Ошеломленный лекарствами, отдыхаю, поспал. Температура пока 37. Не знаю, что будет дальше. Бог даст, поправлюсь и встречу Вас той бутылкой шампанского, что Вы подарили мне в Juan-les-Pins.

Был у меня дней 10 т. н. Алек[андр] Федорович [Керенский]. Марга[рита Августовна Степун] и Гал[ина] Ник[олаевна Кузнецова] 2 недели тому назад уплыли в Америку. Теперь уже там, где-то за Нью-Йорком, 1½ часа езды, в доме, где жил какой-то Арсеньев. Ну вот — “пока”!

Целую Вас и Т. М. Вера тоже. Она тоже больна, как Вы

знаете, переутомилась кроме того продажей билетов сперва на вечер Зурова, потом Адамовича.

Ваш Ив. Б.

Извините за мазню, пишу в постели. А Вы, оказывается, тайком написали новый роман! У меня великое горе: Пантелеймонову все хуже, уже не может говорить, сипит.

20 янв[аря] 50 г.

Дорогой Марк Александрович, очень, очень благодарю Вас за участие в моем "юбилее"! Только, ради Бога, пусть оно будет *не* в стеснительной для Вас форме. Рогнедов залетал ко мне по этому делу всякий раз на пять, на десять минут, и я мало знаю, что именно и с кем он затевает. Я вообще уклоняюсь от участия в этом деле — мне это неловко, и я человек неопытный. Одно твердо ему сказал: ни малейшей связи с "Русской Мыслью"! На Нью-Йорк согласен, раз *Вы* одобрите. Пусть будет только то, что *Вы* решите.

Дон Аминадо, думаю, лучше оставить в покое.

Вы спрашиваете: "На каких началах Р[огнедов] организует в Париже концерт и спектакль?" Я этого не знаю.

У нас холода, астма мучит меня чаще и сильнее и поэтому чуть не весь день я пьян от приема лекарств. Письма писать мне трудно, пишу часто именно как пьяный.

Если найдете возможность, пожалуйста, перешлите прилагаемую записочку Рогнедову.

Целую Вас, наш сердечный привет Татьяне Марковне.

Ваш Ив. Б.

20 янв[аря] 50 г.

Дорогой Александр Павлович, не знаю, где Вы, и поэтому прошу Марка Александровича отправить Вам эту записочку — *усердную просьбу*: раз Марк Александрович был так добр, что согласился принять участие в нашем деле, сделайте одолжение советоваться с ним *во всем*, прежде чем предпринять что-нибудь в Америке и в Европе (точнее сказать — в Париже)¹.

Храни Вас Бог, целую.

Ваш Ив. Бунин

I. [Приписано Буниным:] NB NB.

25 янв[аря] 50 г.

Еще раз очень благодарю Вас, дорогой мой, что Вы приняли такое живое участие в этом "юбилее". Всех, кого Вы называете в Вашем письме от 24-го, т. е. во вчерашнем, конечно, следует привлечь, — так и напишите Рогнедову, пожалуйста. А Вашего вопроса в Вашем предыдущем письме насчет денег Рогнедову за его большую работу по устройству "Юбилея" я не понял и потому и написал: "не знаю". Теперь сообщаю: он мне сказал, что должен взять 20 процентов с доходов этого "юбилея". Не знаю только, секрет это или нет. Вам-то, конечно, я этот секрет могу сообщить и сообщаю.

Пишу в постели — оказалось, что должен сейчас беречь свои силы особенно. На днях Болотов исследовал мою кровь и нашел, что у меня вместо нормальных 5 миллионов кровяных шариков всего-навсего *половина* нормы. Катастрофа! И страшное разорение денежное — лечение, питание... "Помирать буду, сказал Макар — и лег на снег". ("Сон Макара").

Ваш Ив. Б.

Дорогой Марк Александрович¹,
 мне нужен *очень скорый* и *хороший* переводчик на английск[ий] язык книги моих "Воспоминаний", уже проданных в Лондоне Леману. Нет ли у Вас такого? Кроме того, и переводчик на франц[узский] язык. Нет ли у Вас и такого?

Ваш Ив. Бунин

1. Почтовый штемпель: 31.1.1950.

[Алданов Бунину]

1 февраля 1950 г.

... Сердечно поздравляю с продажей английского и французского изданий. Хороши ли условия и, главное, может ли Леман перевести Вам аванс? ... Как Вы знаете, между английским и американским языком есть некоторая разница. Мои "Истоки" перевела хорошая американская переводчица, Екатерина Алексе-

евна Руцкая.

Ее перевод газеты хвалили. Британский писатель Коп этот перевод и приобрел, и его исправил на б р и т а н с к и й лад. Вам, собственно, все равно: Ваша книга будет приобретена и американским издателем, так что если Вы отдадите переводить англичанину, то его перевод придется выправлять для С. Штатов. Поэтому, думаю, Вы можете рекомендовать Руцкую Вашему издателю... На французский язык все три мои книги, проданные с 1939 года, переводились с а н г л и й с к о г о, — русского языка эти переводчики и не знают. Следовательно, никого Вам рекомендовать не могу. А как жена Хмары?..

23 февр[аля] 50 г.

Дорогой Марк Александрович, простите, что не поблагодарил Вас во-время за Ваше последнее письмо, за американскую переводчицу — уж очень ослабел от удущья и слабости сердца. Сейчас очень, очень благодарю, что приказали Имке послать мне "Истоки". Получил 2 тома и надеюсь нынче же ночью начать читать (я ведь засыпаю очень поздно).

Когда Вы в Париж? Что до нас, то мы взяли билеты на 11 апреля — конечно, опять в "Рус[ский] Дом".

Целую Вас и руку дорогой Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

Суббота¹

Дорогой Марк Александрович, простите краткость, ужасно задыхаюсь да и весьма взволнован — смерть Роговского и поразила и сбила с толку. Взяли мы билеты на 11 апреля, но "Рус[ский] Дом" теперь, верно, закроется? Пишу Протасову, жду от него ответа... А каковы Ваши планы? Приедете ли в Париж? Читаю "Истоки" — и поражаюсь Вашими дарами и многим, многим истинно восхишаюсь!

Нынче читал о подкопе, о Михайлове, Перовской с этим страшным припевом насчет турка — и всплескивал руками: ей-Богу, это все сделало бы честь Толстому! Целую Вас и Т. М.

Ив. Б.

1. Почтовый штемпель: 6 III 1950.

Дорогой Марк Александрович,¹

конечно, большой комитет устраивать в Нью-Йорке *не надо*. Вообще, раз Вы были так добры, что проявили участие к этому делу, не спрашивайте меня, что и как должно в нем быть. — сделайте одолжение, дорогой друг, отвечать на вопросы Рогнедова, как Вам угодно (если будете ему писать) — Вы всё лучше меня знаете.

Кончил читать полный текст "Истоков". Дай Бог успеха такой редкой книге! Не умею (да и никогда не умел) прилично высказываться в письмах, а теперь и совсем никуда стал в этом отношении по всяческой слабости, поэтому скажу еще о ней пока только кое-что: совершенно превосходно *все* и всюду о цирке, Катя, Карло, Алексей Иванович написаны так восхитительно и живо, что их не забудешь; тоже и все, относящееся к 1 марта, к Александру, Перовской, Желябову — и т. д. и т. д. Прекрасно написаны и Лиза и Маша — да мало ли еще что!

Мой брат Юлий, просидевший год в тюрьме в Харькове, был выслан на 3 года под надзор полиции к нам, "к родителям", в наше именице — и много, много рассказывал мне о Липецке, о том, что знал Перовскую и, кажется, Желябова — с тихим восторгом показывал мне его карточку, я и сейчас ее мысленно вижу...

Целую Вас, дорогой Татьяне Марковне кланяюсь — Ваш
Ив. Б.

"Спит иль нет моя Людмила?" "Вот и месяц величавый...". Жуковский (— Бунин!! —) еще *до* Пушкина дал новый литературный язык.

После смерти Роговского оказалось, что у него ни гроша!

На похороны его собрали 150 т. франков. По вероисповеданию он оказался католик.

1. По содержанию письма можно заключить, что оно было написано как раз до следующего от 14 марта.

14 марта 50 г.

Дорогой Марк Александрович, еще раз сердечно благодарю за заботы.

На Ваш вопрос "о большом комитете" я ответил — отри-

цательно, — наши письма разошлись.

Возвращаю Вам письмо Рогнедова и его "Юбилей Бунина", где кое-что мне было не по душе, главное — "забыть личные счета": что может подумать читатель? "У Бунина с кем-то какие-то дразги... Бунин вечно с кем-то ссорится...". Но Рогнедов — Рогнедов, что с ним поделаешь!

Получил письмо от Протасова — ждут нас в "Русском Доме", "Дом" будет существовать... но сколько времени? Цена увеличена — 500 с человека. Значит, с нас 1000 в день, да покупки, да на прислугу, на топку... Да проезд туда и назад 40 тысяч! У меня волосы дыбом встают! Слава Богу, из Австрии пришли, наконец, 52 тысячи, Гофман был в Англии, книгу моих "Воспоминаний" продал чохом — 200 фунтов — Леману. Но мне очистилось всего 106 тысяч франков, Гофман вычел 50 тысяч, что дал мне авансом (уже давно), и процент себе — 40 тысяч — жестокий процент! У Цвибака оставалось моего капитала всего 130 долларов — пришлось выписать 100, так что все мое состояние теперь в Америке весьма невелико — 30 долларов!

Вчера был у меня доктор Зернов. Решено, что мне надо поехать к знаменитому французу по сердцу — Лобри, — что он сделает какие-то снимки с моего сердца; и др. Поповский и Зернов говорят, что Лобри ничего с меня не возьмет, а мне это — нож в сердце, так что я, может быть, и не поеду.

Зернов был позван к Роговскому утром в день его смерти и рассказывает: вечером в этот день Роговский сказал какой-то даме, что была при нем: "Надоело мне лежать, давайте-ка хорошенько пообедаем!" — и порядочно покушал и выпил, после чего тотчас же почувствовал себя так ужасно, что кинулись к какому-то, первому попавшемуся, доктору французу и тот заявил даме, что Р[оговский] "будет жив, если не умрет через 15 минут", и ровно через 15 м. Р[оговский] умер ("с диким ужасом в глазах", по словам дамы).

Пантелеймонов, кажется, совсем плох. Собирался ко мне — и не мог. Боли в горле жестокие, лежит, шутя написал мне: "Верно, не для меня придет весна..." (Знаете эту мешанскую песенку? "Не для меня придет весна, не для меня Буг разольется, и сердце радостью забьется не для меня, не для меня!" Почему Буг, а не Дон, не Днепр — неизвестно, я еще мальчиком этому

удивлялся, слыша эту песенку в Ельце).

Будьте здоровы, дорогие.

Ваш бывший Хохол Удалой.

В "программе" Рогнедова:

1. Фестиваль...

2. Банкет

3. Продажа книг Бунина с автографами...

А книг у меня совсем нет — все распродано и никто не переиздает.

20 марта 1950 г.

Дорогой Марк Александрович, нашел еще одно письмо Рогнедова к Вам и возвращаю, зная, что Вы храните все письма к Вам.

Надеюсь, что Вы и дорогая Татьяна Марковна здоровы, благополучны и усердно пишете что-нибудь хорошенькое. Дай Бог, целую Вас.

Получил от Gide'a его "Journal" (1942-1949), — половина — время страшного существования в Тунисии, — ошалел при чтении 1½ страницы его записи в день 3-го августа 1942 г., — когда ему было уже 73 года: подробный рассказ о тех 2-х ночах, что он провел с каким-то юношей лет 15 в несказанных наслаждениях, обоюдных, ему, Gide'у, казалось, что и он — юноша! Как можно это не только записывать, но и печатать и зачем, не постигаю!

Ваш Хохол уж
совсем не удалой.

P. S. В "Рус[ский] Дом", думаю, Бог даст, 11 апр[еля] поедем. Но почему-то боюсь этого... Хватит-ли сил доехать...

26 марта 1950 г.

Послал Вам на-днях с пьяных глаз стишки (с пьян[ых] глаз от пастилок от кашля с опиумом) и не написал ничего дельного. А дельное прежде всего об Австрии: я уверен, что к Вам оттуда обратились бы (да, вероятно, и обратятся), если бы там не произошла какая-то перемена в издательстве: из-во это что-то

непонятное для меня — участники его и французы и австрияки, и вот, от австрияков был какой-то Ганс Нейман, а теперь его, очевидно убрали — на мои письма к нему ответа не получаю уже давно, а там должна выйти "Жизнь Арсеньева" вскоре. Написал своему земляку (по Орлу) и переводчику Артуру Лютеру, который переводил (и уже перевел) мою "Лику" в виде пятой "книги" этой "Жизни" (с уничтожением слова (т. е., вернее, заглавия) "Лику"), запросил его и жду известий; зато получил, наконец, из этой французской Австрии 52 тысячи франков.

Кто будет переводить мои "Воспоминания" в Англии, точно не знаю: Гофман назвал кого-то и прибавил: "А Будберг согласилась только *просмотреть* перевод, сама переводить отказалась — в виду того, что обижена в Ваших "Воспом[инаниях]" за Блока, за Горького, а Вы смягчить ничего не захотели...".

Нынче прочел, что Фонвизин называл излишнее богатство языка, которым уже и при нем шеголяли некот[орые] писатели, "дурацким богатством" — и опять почувствовал, что я обожаю этого толстяка — главное за его письма о Европе и пуше всего о французах: до чего был умен и как беспощадно великолепно "крыл" их! Удивительно, сколько талантов и умниц среди толстяков! Вот хоть Фонвизин, Крылов, актер Давыдов... есть еще и один — мой современник и друг, — Вы его слишком хорошо знаете...

Поездку в Juan-les-Pins, кажется, похерим: Протасов прислал письмо — было какое-то дамское заседание в "Рус[ском] Доме", Дория хочет сесть на опустевший трон Роговского, хочет выгнать Протасова, а ведь если его не будет, "Дом" погибнет, а если сразу и не погибнет, мы без него, без Протасова, не поедem. Целуем вас обоих. Ив. Б.

[Алданов Бунину]

27 марта 1950 г.

... Я не читал дневника Жида. Да, Вы меня изумили. Мне казалось, что он все-таки не "описывает"! В англо-саксонских странах его, верно, привлекли бы к суду, так как счастливый предмет его любви — малолетний. Ответили ли Вы Жиду и что? Мне он книг никогда не посылал, и я ему тоже нет. А с Моруа и

еще кое с кем иногда обмениваемся книгами...

[Алданов Бунину]

29 марта 1950 г.

...Я и не знал, что Вас опять переводит Лютер. Он превосходный переводчик. Что до Будберг, то я удивляюсь, как она согласилась хотя бы просмотреть перевод. Ведь она должна Вас ненавидеть, как вдова Горького!?! ...Фонвизин был умница, это верно. Не помню, был ли он толст, но, помилуйте, какой же я толстяк...

1. Мария Игнатьевна Закревская-Будберг (1892-1974), секретарша Горького, никогда не была за ним замужем.

До! чего Москва лишена юмора, милый Марк Александрович; передо мной "советская" открытка, на обороте которой картинка: множество гусей на пруде — и подпись: "Гуси колхоза имени К. Либкнехта". Воображаю, что говорят мужики, стараясь выговорить это знаменитое имя!

Ив. Б.

Бальмонт напечатал в 1905 г. стих[отворение], начинающееся так: "Кто не верит в победу сознательных, честных рабочих, тот бесчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!".

1. Почтовый штемпель: 30.III.1950.

Ночь с 14 на 15 апр[еля] 50 г.
Засыпаю теперь в 6, в 7 ч[асов] утра.

Милый Марк Александрович, по ночам кончаю исправлять, дополнять рукопись своих "Воспоминаний" для русского издания, в передышки читаю понемногу "Пещеру" (как новое — совсем забыл! Стар!) и качаю головой: до чего хороши исторические вставки! Как написаны! "Гусли!" Точность, чистота, острота, краткость, меткость — что ни фраза, то золото!

Да хранит Вас Бог, дорогой мой!

Целую Вас, целую руку дорогой Татьяны Марковны, Вашей сотруднице, верному другу, скептической умнице — как раз Вам под стать!

Ваш Ив. Б.
Надеюсь выехать 29 апр[еля] — если Бог даст.

[Алданов Бунину]

17 апреля 1950 г.

...А я тронут больше, чем могу сказать. Должен сказать, что и удивлен: мне "Пещера" не кажется хорошей книгой...

Дорогой! Марк Александрович, мы, слава Богу, доехали до "Рус[ского] Дома". Не извещали Вас раньше о своем приезде, ибо до последнего часа отъезда из Парижа не были уверены, что выедем* — так слаб я был от потери крови. Пишу сейчас в постели — вчера в Antibes меня чуть не на руках дотащили до автомобиля.

Целуем Вас и Татьяну Марковну. Будем рады Вас видеть возможно скорее.

Ваш жалкий "юбиляр".

*[Приписано Буниным:] я ведь оч[ень] суверен.

1. По содержанию можно заключить, что это письмо было написано вскоре после 29 апреля 1950 г.

Суб[бота] 9 сент[ября] 50 г.

Горячо благодарю Вас, дорогие мои, за Вашу сердечность ко мне. Перед операцией искололи меня ниже поясицы ужасно, но не знаю, помогло ли это? Операция длилась час — и за это время я испытал 56 раз нечто такое, чему имени нет: *убежден*, что даже в Москве *самые страшные пытки* не уступают этому. Я еще в постели и каждый день меня мучат всяческими уколами. Слаб так, что вот уже больше не могу писать — обливаюсь тропическим потом. Задолжались мы тут уже чудовишно. Но где ж ловить Рогнедова? Он куда-то исчез. И как нам быть — не постигаю!

Целую Вас от всей души.
Ваш Ив. Б.

17.X.50 г.

Дорогой Марк Александрович,
еще раз очень, очень благодарю Вас за Ваши слова о моей книжке¹. Если что в ней слабо, то ведь не надо забывать, что это слабое писал *смертельно* больной человек, отравленный к тому же лекарствами.

Сейчас пришло письмо от Ф. Мориака, которым не могу не похвастаться. Пишет:

16 Octobre 1950

“Mon cher et illustre Confrère,

Je sais que vos amis vont bientôt fêter votre 80ème anniversaire. Je tiens à vous exprimer à cette occasion l’admiration que j’éprouve pour votre oeuvre, et la sympathie que m’inspirent votre personne et le destin si dur qu’a été le votre.

Permettez moi de vous serrer très affectueusement les mains

de tout coeur votre
François Mauriac.”²

Целую Вас и добрую Т. М.
Ваш Ив. Б.

1. 9 октября 1950 Алданов написал Бунину: “Не отвечал Вам, так как хотел сначала прочесть “Воспоминания”. Я почти все читал в газете, и все же впечатление чрезвычайно сильное. Книга бесстрашная — и страшная. Написана она с огромной силой”. (См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), стр. 142).

2. “Мой дорогой и выдающийся собрат! Я знаю, что Ваши друзья скоро отпразднуют Ваше 80-тилетие. Очень хочу высказать Вам по этому случаю восхищение, которое вызывают во мне Ваши произведения, и сочувствие, которое мне внушаете Вы и суровая судьба, выпавшая на Вашу долю. Позвольте мне искренне позжать Вашу руку. От всего сердца, Ваш Франсуа Мориак”.

26.X.50 г.

Мои дорогие Алдановы, я совсем никуда — так утомлен “праздником” своей старости. Сейчас добрался до письм[енного] стола и пишу Вам мою горячую благодарность за Ваше письмо. Письма Вашего, дорогой друг, с просьбой о портрете *не*

получал.

Ваш Ив. Бунин

Суббота, 28.X.1950

Дорогой друг, вчера я написал Вам, что не получал Вашего письма, где Вы просите прислать Вам мой портрет. Но я ошибся — я так стал слаб — особенно в последние дни! Шлю Вам 2 портрета, ибо письмо Ваше — от 16 окт[ября], — где говорится о нем, я нашел. Если Вам не понравится, не вижу ничего другого подходящего.

Горячо благодарю, что хотите написать обо мне в Америку. Пишите, пожалуйста, что угодно о моей любви к *современным* американским писателям. А насчет банкета в Америке ровно ничего не знаю — да и *никто* не знает — в том числе и этот самый Хлестаков — Рогнедов. Скажем ему, чтобы он прислал Вам "воззвание" (м. б., В. Н. уже сказала ему, — сейчас поздняя ночь, она уже спит).

Целую Вас обоих сердечно.

Ваш Ив. Бун.

[Алданов Бунину]

30 октября 1950 г.

...Статья Жида была прекрасна¹. Статьи Андре Пьера я не читал: покупаю "Ле Монд" не каждый день².

Лунц прислал мне по воздушной почте статью Адамовича о "Воспоминаниях"³. Прилагаю ее, на случай, если Вы еще не получили...

¹... Bounine a le droit de penser que par sa constance et la noblesse de son exil autant que par son oeuvre il a sauvé une part de l'âme de sa patrie et du peuple russe.

Nous sommes heureux de publier ici l'hommage que notre éminent collaborateur André Gide a tenu à lui adresser.

Cher Ivan Bounine,

Je ne vous ai précédé que d'un an dans la vie; c'est dire que nous sommes à bien peu près du même âge. Vous m'avez précédé de quinze ans dans les honneurs: c'est en 1933, si je ne fais erreur, que la Suède vous accorda le prix Nobel. Cette même faveur insigne fut accordée, en France, à Roger Martin du Gard, puis, longtemps ensuite, à

moi-même. Est-ce un titre suffisant pour m'adresser à vous aujourd'hui, au nom de la France, et vous donner, au seuil de votre quatre-vingts-unième année, une accolade confraternelle? Non: il y faut encore que vous ayez choisi la France pour abriter votre long exil, citoyen russe réfugié parmi nous depuis la révolution qui vous a mis en opposition, parmi les vôtres, contre ce qui vous paraissait intolérable. Il y faut surtout les liens d'une sympathie profonde, pour votre oeuvre d'abord, que j'admiraïs déjà longtemps avant d'avoir pu vous rencontrer; pour vous-même enfin lorsque nos routes se sont croisées... "Pour les 80 ans d'un réfractaire," par A. Gide, *Le Figaro* (23 octobre 1950).

("...Бунин вправе считать, что свою твердостью и благородством своего изгнания, так же как своим творчеством, он способствовал сохранению духа своего Отечества и русского народа.

Мы рады поместить здесь обращенное к нему приветствие нашего выдающегося сотрудника — Андре Жида.

Дорогой Иван Бунин,

Я старше Вас всего лишь на один год, то есть мы с Вами почти ровесники. Но в почестях, Вам оказанных, вы обогнали меня на 15 лет: в 1933 году, если я не ошибаюсь, Швеция присудила Вам Нобелевскую премию. Что касается Франции, такая же выдающаяся честь была оказана Роже Мартэн дю Гару и, много времени спустя после этого, — мне. Могу ли я только в этом качестве обратиться сегодня к Вам, от имени Франции, на 81-м году Вашей жизни, и заключить Вас в братские объятия? Нет, для этого надо было, чтобы именно Францию Вы избрали пристанищем Вашей продолжительной ссылки, Вы, русский гражданин, нашедший среди нас убежище от революции, которую Вы не приняли, ушедший от своих, к которым Вы остались непримиримы. Для этого нужна была также глубокая соединяющая нас симпатия, прежде всего в отношении Вашего творчества, чьим восхищенным поклонником я был задолго до того, как встретил Вас лично, и симпатия по отношению к Вам, — когда наши пути, наконец, скрестились...") ("К 80-летию несомленного").

2"... Quatre-vingts ans ... Peu d'écrivains russes ont atteint ou dépassé cet âge. Encore plein d'activité créatrice, Ivan Bounine suit les traces de Léon Tolstoï. Sa longue carrière a été brutalement coupée en deux: cinquante ans en Russie, trente ans en France. Heureusement pour lui la redoutable épreuve de l'exil n'a pas entravé l'épanouissement de ses dons. C'est à Paris ou à Grasse, ses deux villes d'élection, que l'auteur du *Village*, du *Monsieur de San-Francisco*, du *Calice de la Vie*, a écrit les oeuvres auxquelles il attache lui-même le plus prix: *Le Sacrement de l'amour*, *La Vie d'Arseniev*, *Les Allées sombres*, *La Délivrance de Tolstoï*, et enfin un livre de *Souvenirs* achevé il y a quelques mois. "Mon éloignement de la Russie ne m'a pas gêné", déclare Bounine qui compare son sort à celui de Victor Hugo, de Heine, et de Herzen, et il ajoute: Nous, écrivains, nous portons notre patrie en nous! ..." A. Pierre, "Un jubilé littéraire. Ivan Bounine a quatre-vingts ans." *Le Monde* (24 octobre 1950).

("...Восемьдесят лет... Немногие русские писатели достигли или перевалили этот возраст. Иван Бунин, все еще полный творческой энергии, следует по стопам Льва Толстого. Его продолжительная карьера резко делится на две половины: 50 лет в России, 30 лет во Франции. К счастью, тяжелое изгнание не помешало развитию его дарования. Именно в Париже, или в Грассе, в этих избранных им городах, автор "*Деревни*", "*Господина из Сан Франциско*", "*Чаша жизни*", написал произведения, которые он сам ценит более всего — "*Первая любовь*", "*Жизнь Арсеньева*", "*Темные Аллеи*", "*Освобождение Толстого*", и, наконец, книгу "*Воспоминаний*", которую он завершил всего лишь несколько месяцев тому назад. "Мне не помешала моя разлука с Россией", — заявляет Бунин, который сравнивает свою судьбу с судьбой Виктора Гюго, Гейне и Герцена. И он добавляет: "Мы, писатели, носим нашу родину в себе".)

3. "Воспоминания Бунина, в той части, по крайней мере, которая касается его сверстников, почти сплошь насмешливы. О Толстом он пишет благоговейно, об Эртеле благожелательно и почтительно, о Чехове, — правда, с оговоркой насчет его пьес, — вспоминает с восхищением, но едва перейдет к "декадентству", т. е. к тому периоду, в который поэзия с Блоком во главе или в центре ее, оказалась значительнее и, пожалуй, даже популярнее прозы, его иронии и презрению нет конца..." (Г. Адамович, *Одиночество и свобода*, Нью-Йорк, 1955, стр. 109).

29.XI.50 г.

Дорогой Марк Александрович,
сейчас пришла телеграмма Габриловича мне:

"Aldanov's excellent essay on Bounine appeared New York Times last Sunday. Please ask Aldanov send russian original to *Delo* to be printed there in Bounine's issue. Gabrilovitch."¹

Спешу сообщить Вам это и горячо поблагодарить Вас за Ваши добрые слова обо мне². "Дело" ("Delo") это иллюстр[ированный] двухнедельный журнал Родиона Березова. Первый номер выйдет к Рождеству. Там будет много обо мне³ — Березов расскажет отношение ко мне читателей в России и поместит на обложке мой портрет⁴. (Все это сообщил мне Габрилович, а Р. Березов сам еще не написал мне, просил Габриловича спросить меня, может ли он, Березов, "посметь" обратиться ко мне с просьбой о сотрудничестве, я написал Габриловичу: "может, сотрудничать, вероятно, буду").

Что Вы, как Вы? Ждем Вас в Париже. Целуем Вас и Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Б.

1. В прошлое воскресенье в "Нью Йорк Таймс" напечатана великолепная статья Алданова о Бунине. Пожалуйста, попросите Алданова выслать русский оригинал для "Дела", чтобы напечатать в Бунинском выпуске".

2. Here in France there is an old man, a man bedridden and living in semi-obscure, for whom the announcement of this year's Nobel Prize for literature awakened memories of the time, seventeen years ago, when he himself received the prize. The old man is Ivan Bunin, the only Russian writer ever to win the Nobel award, and now just turned 80.

André Gide regards him as the best of living Russian writers, but Bunin's reputation grew only gradually. He reached the pinnacle of his fame in about his fiftieth year. Americans are most aware of his famous short story, "The Gentleman from San Francisco". His best works are, I think, "The Village", which Gide singled out as the finest in modern Russian literature, his "Life of Arsenyev" and "Mitya's Love."

As a creative writer, Bunin did not do things the easy way; in fact, he always took the line of greatest resistance. For example, he wrote stories without plot. Now, there are, I think, only two novelists who conquered the world without using plot: Proust and Joyce. Another instance: he abhorred publicity. And he was too honest — to the point of being shockingly harsh in his descriptions of the Russian peasant. Needless to say, this was unappreciated by his countrymen. His most famous work, "The Village", was severely criticized for this reason. Similar accusations, of course, were brought against Rabelais, Molière, Balzac, Stendhal, Thackeray, Flaubert, Gogol, Proust; Bunin could not complain of the company he kept. ...».

M. Aldanov, "Ivan Bunin Revisited," *The New York Times* (November 26, 1950).

("Во Франции живет старый человек, человек, прикованный к постели и полужабитый всеми, в ком сообщение о присуждении Нобелевской премии этого года по литературе пробудило воспоминания о том времени, 17 лет назад, когда он сам получил эту премию. Старый человек — Иван Бунин, единственный русский писатель, когда-либо получивший Нобелевскую премию, которому ныне исполнилось 80 лет.

Хотя Андре Жид и считает его лучшим из ныне живущих русских писателей, известность Бунина возростала медленно. Вершины своей славы он достиг к 50-ти годам. Американцам особенно хорошо известен его знаменитый рассказ "Господин из Сан-Франциско". По моему мнению, к его лучшим вешам следует отнести "Деревню", которую Жид выделил как лучшую в современной русской литературе, а также "Жизнь Арсеньева" и "Митину любовь".

Будучи подлинным творцом, Бунин не искал легких путей; он всегда шел по линии наибольшего сопротивления. У него, например, почти отсутствуют сюжетные рассказы. Пожалуй, я могу указать только на двух романистов, покоривших мир бессюжетной прозой — Пруста и Джойса. И еще: Бунин ненавидит публичность, шумиху. И еще: он удивительно правдив, даже шокирующе жесток в описании русских крестьян. Разумеется, это не стяжало ему лавров среди его соотечественников. Его самая знаменитая вещь, "Деревня", сурово критиковалась по той же самой причине. Схожие обвинения, раздавались, конечно, и по адресу Рабле, Мольера, Бальзака, Стендаля, Теккерея, Флобера, Гоголя, Пруста;

Бунину грех жаловаться на компанию, в которой он очутился...”).

3. “Лично я полагаю, что Бунин видит то, что есть, а другие — то что принято и полагается видеть. В этом и состоит трезвость Бунина и нетрезвость других... (стр. 47). М. А. Алданов в частном письме И. А. Бунину (от 9 октября 1950 г.) назвал книгу его “Воспоминаний” “страшной и бесстрашной книгой”... (стр. 48, 49). Алданов, как очень многие из нас, долгие годы проходил с повязкой на глазах и видел “ложную славу”. Пришел великий его друг, Бунин, и сорвал повязку с его глаз. Я понимаю Алданова: это страшно... (стр. 51). Книга Бунина страшна тем, что она отнимет от нас последние как бы остатки нашего умиления над градом Китежем, нашей веры в него и нашего упования на него. Апостол Павел сказал бы, что это все была “ложная слава”... (стр. 54)”. (Л. Е. Габрилович (Л. Галич), “Мысли о Бунине”, *Дело*, 1 (1951).

4. В первом номере нет статьи Р. Березова о Бунине, а есть его портрет, под которым написано Бунинским почерком “Мой портрет того года, когда я написал “Господина из С. Франциско”. Ив. Бунин”.

(Продолжение следует)

ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

СУДЬБА ЭМИГРАНТКИ*

8 марта 1946 г. перед самым обедом открылась кормушка в камере и в ней появилась голова и плечи ответдежурного. Он вы­звал мою фамилию:

— Подойдите сюда.

У меня бешено забилося сердце. На этап! Слава Богу! Ведь меня пугали, что в читинской тюрьме задерживаются по не­скольку месяцев.

— Как вы себя чувствуете? — довольно человечно, к моему изумлению, спросил меня грозный на всю тюрьму ответдежур­ный Гвоздев.

— Благодарю вас, совсем хорошо, — соврала я, охваченная желанием скорее выбраться из этой тюрьмы, напоминавшей не­сгораемый сейф, настолько крепко и безнадежно мы были заперты в ней.

— Вы говорите правду? — недоверчиво спросил он.

Я ослабела от голода, т. к. ужасную тюремную "баланду" — жидкую безвкусную похлебку из мерзлой картошки и капусты, да еще подаваемую в ужасных, дырявых, заткнутых раз в неделю меняемыми грязными тряпочками мисках, я по утрам в течение первых моих десяти дней в читинской тюрьме есть не могла. Но к вечеру в моей голове шумел морской прибой, я осла­бела от голода и капитулировала: ела комбинированный обед и ужин: эту самую баланду, заливавшую через дыры в мисках нары и пол, который всегда приходилось после обеда мыть вто­рично, и немного темнокоричневого пюре из неочищенной мерзлой картошки или немного гаоляновой каши. Треть из моей 600-граммовой "пайки" хлеба я почти ежедневно отдавала кому­нибудь из молодых, т. к. мне казалось, что они от голода мучатся больше, чем я.

*См. *Н. Ж.*, кн. 150, 151, 152.

Не только в то время, но вообще в течение первых пяти лет после процесса мой и без того всю жизнь плохой сон совсем расстроился. Нервы, несмотря на умение владеть собой, были в ужасном состоянии, сердце — тоже. Но я понимала, что мне нужно скорее добраться до лагеря, где условия жизни все-таки несколько лучше тюремных.

Поэтому, когда ответдежурный недоверчиво переспросил меня (воображаю, какой у меня был вид в то время!), я, ясно и "честно" глядя ему в глаза, подтвердила, что чувствую себя вполне здоровой.

— Хорошо, — буркнул он и ушел.

24 мая 1957 г.

Как раз в тот момент, когда вносили в камеру обед, меня вызвали на этап. По тюремным правилам, мне перед этапом должны были дать пообедать, но об этом никто не позаботился. Наскоро простившись с моими товарками по камере, я с моим неизменным неудобным узлом в руках спустилась впереди ответдежурного по лестнице во двор.

Когда я выходила во двор тюрьмы, мне показалось, будто я уже отчасти вышла на свободу, настолько отгороженной от внешнего мира была читинская тюрьма. Нужно сказать, что помимо общей высокой белой стены, помимо колючей проволоки, вход в читинскую тюрьму был не прямо с улицы, а еще через один двор, тоже обнесенный высокой стеной. Вход со двора в само здание, помнится, тоже запирался. Перед входом в каждый этаж была железная решетка, запиравшаяся дежурной изнутри, так что дежурная на данном этаже была заперта вместе с нами. Когда приходил ответдежурный или кто-либо из начальства, он стучал снаружи в решетку, и дежурная впускала пришедшего в наш длинный коридор, устланный, как в гостинице, красной ковровой дорожкой, прикрепленной к медным прутьям.

Следующим запором были уже двери камер, запиравшиеся, как двери сейфа, простым поворотом ручки снаружи. Внутри эти железные двери не имели ручки и самая их толщина и вид неизменно напоминали мне несгораемый шкаф. Посредине первого большого тюремного двора, посыпанного черным шлаком, находились обнесенные высоким дощатым забором четыре

прогулочных дворика, между которыми возвышалась вышка для часового, не позволявшего разговаривать между собой прогуливающимся в разных двориках заключенным, содержавшимся в разных камерах.

Когда мы выходили на нашу 20-минутную прогулку, нас сопровождал дежурный, помнится, одно время даже почему-то с револьвером в руке (может быть, перед этим была попытка к побегу) и направлял нас в узкий проход между высокими заборами прогулочных двориков. Калитка в один из них бывала настежь открыта, и, значит, этот дворик предназначался для той камеры, которая сейчас выводилась на прогулку. Калитка запиралась за нами на замок, и начиналась прогулка.

Еще хорошо, что в читинской тюрьме, по крайней мере, нас, женщин, не заставляли ходить по кругу, держа руки за спиной. Мы гуляли свободно, кто как хотел, молодые занимались гимнастикой или гонялись друг за другом. Всегда находились любительницы поговорить через шелку со знакомыми из другой камеры, хотя это было строго запрещено, и узнать новости. Но забор был настолько высок, а прогулочный дворик настолько мал, что тень от забора покрывала большую его площадь, посыпанную черным шлаком. И только предвесеннее, сияющее голубизной и ярким солнцем сибирское небо напоминало о жизни, о весне, о свободе.

Когда я сошла в тюремный двор, будучи вызвана на этап, то, кроме волнения, которое всегда переживаешь, отправляясь на этап, особенно если едешь одна в тяжелую неизвестность, на новые муки, я чувствовала еще и большую радость от того, что я так скоро, всего через восемь дней, вырвалась из читинской тюрьмы. Мне уже успели рассказать, что в ней застревают на долгие месяцы, ожидая этапа. Почему-то в Чите в то время на пересылку (в пересыльную тюрьму) направляли только тех заключенных, кто посылался в Читинскую же (прежнюю Забайкальскую) область. Всех же транзитных, а также читинских следственных и недавно осужденных направляли в областную тюрьму, ул. Баррикад № 1.

Во дворе я была неприятно поражена: кроме меня из какой-то другой камеры была вызвана из женщин только одна молодая японка, а дальше строился в ряды большой этап японцев.

Господи Боже мой! Когда же я, наконец, избавлюсь от японцев! Неужели даже в тюрьме и на этапах, уже на родной земле, я все каким-то проклятием буду связана с ними, не имея никакого отношения к ним по моему делу!

Присмотревшись к этапу, я заметила несколько человек русских мужчин и, не без основания решив, что они, наверное, из Манчжурии, раз их отправляют, как и меня, с японцами, вопреки всяким тюремным правилам, подбежала к ним, пользуясь суматохой во дворе, поздоровалась и спросила, есть ли среди них кто-нибудь из Харбина?

— Здесь есть Александр Иванович Коробов, — ответило мне несколько дружелюбных голосов.

Александр Иванович! Мой первый, уважаемый и любимый редактор, в двух газетах которого, "Р. Г." и "Р. С." я проработала первые 8 лет из моей почти 22-летней газетной работы, при ком я во время его 5-6 лет на посту редактора из зеленого новичка сложилась в журналистку. В последние годы я лишь изредка встречала на улице или в общественных местах Александра Ивановича, отошедшего от газетной работы и служившего в представительстве Министерства Иностранных дел Манчжоу-Го в Харбине. В последний раз я встретила его однажды летом 1945 г., когда я, как всегда стремительно, шла по Биржевой улице из редакции газеты "Г. Э."

Я тогда уже обратила внимание на то, как он постарел, хотя, конечно, не сказала ему об этом, а он в шуточной форме просил меня идти медленнее, говоря, что он теперь не поспеет за мной.

Юрист, врач, экономист и журналист, Александр Иванович Коробов был всесторонне образованным человеком. В Харбине он был известен, как редактор. Но "доктором" Коробовым его никто не называл, хотя многие знали его как врача еще по его родной Самаре. В Харбине, в эмиграции, он врачебной практикой не занимался, но когда опять попал в Россию, в тюрьмы и лагеря, вновь занялся своей прежней профессией и опять превратился в "д-ра Коробова", каковым в моей памяти он и остался до конца.

Человек с довольно трудным, властным характером, вспыльчивый и с несколько иронической манерой разговора, он порой отталкивал от себя и от своей газеты целые обществен-

ные группы. Но даже его противники или отошедшие от него из-за его характера люди воздавали должное его стойкости, честности, убежденности и любви к России. Я помню случай, когда он отказался от избрания почетным членом одного литературного молодежного объединения "М. Ч.", потому что одновременно с ним был избран один известный талантливый поэт и писатель, которого он не уважал за неустойчивость его политических убеждений.

И вот теперь я с Александром Ивановичем впервые встретилась на родной земле... на тюремном дворе.

Я нашла его в последнем ряду уже построившегося этапа.

— Вот где нам суждено было встретиться, Александр Иванович, — сказала я, протягивая ему обе руки.

Он пожал их, встретив меня без особого удивления. На губах его была обычная, чуть ироническая, усмешка. Мы обменялись двумя-тремя фразами. Окрик "стройся" заставил меня проститься с ним и побежать к моим оставленным вещам (сумку мне по квитанции дежурная принесла еще в камеру).

Я встала рядом с единственной, кроме меня, женщиной, молодой японкой, и этап двинулся после обычного предупреждения:

"Слушай команду: один шаг в сторону конвой будет рассматривать, как попытку к побегу и применит огнестрельное оружие. Поняли?"

— Поняли, — ответили несколько наиболее робких голосов из рядов.

— Шагом марш, — раздалась команда и этап вышел из ворот тюрьмы.

Так как нас, женщин, было только две, нас невозможно было изолировать от мужчин и мы оказались окруженными мужчинами. Я очутилась среди земляков-манчжурцев, но, к сожалению, там не было ни одного харбинца.

Один из них сразу же взял у меня из рук мой узел, отрекомендовавшись бывшим казачьим офицером Веретенниковым. Другой, черный, как армянин или грузин, бывший чаньчуньский цензор (фамилии не помню) попросил разрешения взять меня под руку. И благодарна же я была этой товарище-

ской руке, так как булыжная мостовая, по которой мы шли, оказалась необычайно скользкой, и нам под ноги то и дело падали японцы из передних рядов.

На ходу мы тихо переговаривались с земляками, шедшими рядом, спереди и сзади под непрерывные окрики: "Шире шаг!", — что на языке военной команды означает "идите быстрее" ("короче шаг" означает "идите медленней").

Пока мы шли до вокзала, начало уже смеркаться. Начальник конвоя объявил нам, что нас сперва посадят в пустой вагон, где мы переждем некоторое время, а затем погрузят в поезд. Это объявление было большой любезностью, так как обычно арестантам на этапах ничего не объявляют; то, что тебя превращают в вещь или в бессловесную скотину, от которой ожидают только слепого повиновения, — одна из самых тяжелых сторон арестантской жизни.

Конвой повел нас на какие-то боковые пути. Когда мы очутились между двумя рядами пустых составов, началась смена, которой я во всю свою жизнь не забуду. Один из конвойных, имея, очевидно, в виду, что ждать в пустом вагоне придется довольно долго, и движимый человеколюбивыми чувствами, но не принявший во внимание, что среди нескольких десятков мужчин находятся две женщины, внезапно скомандовал:

— Оправься!

После минутного замешательства, а японцы сразу, мужчины стали отворачиваться на обе стороны к стоявшим вагонам и оправляться.

Молодая хорошенькая японка (имя и фамилию которой я теперь забыла), посмотрев кругом, с обычным японским отсутствием стыдливости, присела тут же, прямо посередине.

Я одна стояла, сгорая от стыда, не зная, куда девать глаза. Я стояла около конвойного, лицом к нему, чтобы не смотреть по сторонам. Наконец моя моральная пытка кончилась, и мы вошли в холодный вагон, в котором был кое-как освещен лишь коридор. Нас загнали в пустое купе "зак-вагона", т. е. специального вагона для заключенных. Но мне помнится, что передняя стенка того купе, в которое я попала, представляла собой не решетку, как обычно, а была закрыта сплошными железными ставнями, как это бывает в купе-карцерах.

И опять начальник конвоя не предусмотрел, что две женщины, вопреки всем правилам, попали среди сотни мужчин. Он должен был нас изолировать. Позже мне рассказывали в тюрьмах и лагерях, какие несчастья случались с женщинами в таком положении даже в "черных воронах" — тюремных каретах, когда женщины оказывались в тесном помещении, в темноте, вместе с истосковавшимися по женщинам мужчинами. Правда, это относилось к "бытовикам".

Наш начальник конвоя по легкомыслию или небрежности не подумал об этом. Но, по счастью, мы имели дело с порядочными людьми.

В коридоре я видела, как японка юркнула в одно из купе к своим японцам, среди которых у нее, видно, были знакомые.

А я оказалась в одном купе с Александром Ивановичем, севшим напротив меня, и моими новыми знакомыми, помогавшими мне в пути, да еще с несколькими земляками. В крошечной тьме, в ледяном, нетопленном арестантском вагоне у нас завязалась оживленная беседа, во время которой мы расспрашивали друг друга о судьбе знакомых и друзей, и припоминали самые яркие моменты из только-что пережитых следствия и суда.

3 июня 1957 г.

Мы провели таким образом часа три. Был, очевидно, уже поздний вечер, когда начальник конвоя открыл наше купе и объявил, что конвой проехавшего этапа отказался нас взять за отсутствием мест, и что мы возвращаемся обратно в тюрьму. Тяжелые вздохи и возмущенные возгласы послышались в ответ. Но что пользы?

Когда мы вышли из поезда, было уже совсем темно. Тяжела эта картина построения арестантского этапа, особенно в темноте! Окрики конвойных, суета, стараешься примостить на спине свой жалкий багаж и — в путь!

Возле меня встали, как уже знакомые, мои прежние спутники. Один нес мой узел, другой держал меня под руку. Александр Иванович шел где-то недалеко, я слышала его голос. Стоял лютый мороз. Было уже 8-е марта, но на улице было 35 градусов. Идти было тяжело. Задыхались от морозного воз-

духа, скользили, спешили под окрики конвойных: "Шире шаг! Не растягивайся!".

Вдруг сзади, среди ближайших рядов произошло какое-то замешательство. Кто-то упал. Возле упавшего остановилось несколько человек. Конвой гнал их, чтобы они догоняли ушедший вперед этап.

— Кто упал?

— Старик-доктор. Он не может идти.

Не обращая внимания на окрики и ругань конвоя, мы с моим спутником бросились назад, к лежавшему на земле Александру Ивановичу.

— Александр Иванович, что с вами? Вы ушиблись?

Мы вдвоем старались его приподнять, но я — совсем слабая, а мой спутник, видимо, тоже был измучен тюрьмой и недоеданием. Мы могли только слегка приподнять Александра Ивановича, но он грузно валился назад. Видимо, это был не ушиб от падения, а сердце отказывалось работать.

— Оставьте меня, я хочу тут умереть, — хрипел Александр Иванович, когда мы изо всех сил старались, задыхаясь, помочь ему подняться.

Мы оставались одни. Впереди уходили последние ряды этапа. Один или двое отставших конвойных кричали на нас, чтобы мы уходили, матерно ругались, даже замахивались прикладами.

— Оставьте меня, идите, я хочу умереть, — твердил Александр Иванович.

Но как можно было бросить друга в таком положении? Да и любого человека?

Однако, некоторые из ушедших вперед мужчин, очевидно, убедили конвой разрешить им вернуться. От уходящего этапа отделились несколько мужчин и побежали обратно. Они подняли Александра Ивановича и полуповели, полупонесли его.

Хоть отчасти успокоенные насчет него, мы, наконец, послушались конвоя и побежали нагонять уходящих. К тому времени я совсем замерзла. Душа была потрясена только что пережитой сценой. Сердце замирало и ныло, но к счастью, мы, наконец, после долгой ходьбы, подошли к тюрьме и после некоторых формальностей по вторичному принятию в тюрьму, были впу-

шены на тюремный двор. Но там начались новые формальности.

— Женщин в контору, раздался чей-то начальственный голос. Японку и меня вызвали в какое-то помещение. Я наскоро простилась и поблагодарила своих спутников. Губы мои еле шевелились от холода.

В конторе, или, вернее, в той служебной комнате, куда нас ввели, жарко топилась плита. Там стоял только один старший дежурный.

— Грейтесь, — сказал он нам не без сочувствия.

Когда я немного согрелась у плиты, меня почему-то начала бить дрожь. Но я уже могла говорить.

— Гражданин начальник, прикажите, чтобы сюда завели погреться старика-доктора, у которого был сердечный припадок по дороге, — попросила я.

— Их всех сейчас заведут в помещение, — ответил мне дежурный, и, действительно, по лестнице мимо открытой двери комнаты, где мы находились, затопали тяжелые мужские шаги.

— Разотрите Александра Ивановича! — крикнула я, когда услышала русские голоса.

Но о его состоянии я не смогла узнать, пока ровно через два месяца, 8 мая, нас опять не вызвали на этап.

Пока мы еще находились в этом помещении, японка на весьма ломаном русском языке попросила меня передать начальнику, что она просит дать поесть, так как ее тоже вызвали до обеда. Я разъяснила это ответдежурному. Он удивился, что нас вызвали, не дав пообедать, но добавил, что сейчас уже поздно и накормить нас нечем. Так как не есть по суткам уже начинало входить в привычку, я от этого не впала в уныние. Когда мужчины были уведены и размещены, нас, двоих женщин, увели в женский корпус. Там, хотя нас оттуда увели всего часов пять-шесть тому назад, и мы все время находились под стражей, нам в коридоре опять устроили обыск. Обыск производила высокая дежурная с лошадиным лицом, по прозвищу "Конь-баба", которая обыскивала меня и в первый раз, когда я попала в читинскую тюрьму.

Хочу немного рассказать о женщинах-дежурных читинской областной тюрьмы. Не знаю, по каким соображениям, в читин-

ской гюрьме женщины-дежурные не были военными. В большинстве они не были и молодыми. Это были средних лет женщины, штатские, по-видимому, профессиональные тюремные надзирательницы, которых не переводили на другие должности в лагерь или на другую работу в НКВД.

Среди них только одна была человеческой, и как ни странно, это была единственная красивая и молодая. Звали ее Наташей. Многие женщины поймут мое удивление: очень красивые женщины, особенно молодые, редко бывают добрыми. Их красивая внешность и окружающее внимание, даже при наилучших условиях, обычно вырабатывают у них избалованность, эгоизм и тщеславие. Исключения бывают, но редко. Красивая же молодая женщина на такой должности, как тюремная надзирательница, как правило, должна была быть просто жестокой, но Наташа жестокой не была.

Еще с одним исключением мне пришлось встретиться в лагере Акмолинска: там была молодая, очень хорошенькая дежурная Вера, которая хотя и не была активно доброй, но и не была злой, славилась своим развратным поведением, хотя и тосковала о бросившем ее муже, и потихоньку дружила с урками.

Но вернемся к читинским надзирательницам. Одна из них носила завидное прозвище "Черная Немочь". Еще ее звали "Пиковой Дамой". Лишний раз, как и позже, в лагере Спасска, пришлось мне подивиться способности русского человека давать подходящие клички, пристающие к человеку, как клеймо.

"Черная Немочь" была маленькая, жгуче-черноволосая женщина с изжелта-бледным лицом и отвратительным, визгливым бабьим криком. Она при всяком мелком происшествии жаловалась ответдежурному на провинившуюся арестантку, и многие из-за нее попадали в карцер. Подглядывать в глазок и, внезапно распахнув дверь камеры, отнять у кого-нибудь столь необходимую и драгоценную в тюремной жизни иголку, которой кто-нибудь из заключенных, повернувшись спиной к глазку, но неосторожно вытянув руку с иголкой и длинной ниткой, латал прореху в одежде — тоже было одним из развлечений "Черной Немочи".

О корыстолюбии другой надзирательницы, "Конь-Бабы", я уже говорила. В этот второй раз она опять отняла мою боль-

шую черную американскую сумку со всем оставшимся содержимым и не дала квитанции, ссылаясь на позднее время (был уже 12-й час ночи), и на то, что камера хранения давно уже закрыта. Она обещала принести квитанцию назавтра, но в течение следующих двух месяцев я от нее этой квитанции так и не добилась. И поэтому, когда я уходила вторично на этап, моя сумка мне возвращена так и не была.

Четвертой дежурной была Ульяша. Вначале я ее путала с "Черной Немочью", потому что она была крикливой, темно-волосой и маленькой (так что для того, чтобы подсматривать за нами в глазок, находившийся на уровне нормального человеческого глаза, ей приходилось целый день таскать за собой по коридору маленькую скамеечку, на которую она становилась, что было всем известно).

У Ульяши в начале моего пребывания была одна особенность. Я уже как-то упоминала, что в Читинской тюрьме не полагалось звонков на подъем, проверку, еду и отбой, или они не были слышны.

Утром в половине пятого дежурная бегала по всему коридору, стучала в дверь каждой камеры и кричала:

— Подъем!

Ульяша же сопровождала побудку крепкими словами:

— Вставайте, б..., вставайте! — Дальше шла трехэтажная ругань, впрочем, произносимая без особой злобы, даже с оттенком веселости, как при хорошей шутке.

Первые такие побудки совершенно потрясли меня. Я горько упрекала себя, что не протестую. Но душа, измученная непрестанной борьбой за свои убеждения и человеческое достоинство во время следствия и суда, временно находилась в состоянии прострации. Шок был слишком велик. Лишь постепенно ко мне вернулась способность протеста против унижения человеческого достоинства. Первым толчком к этому излечению от временной моральной прострации и индифферентности был протест простых пожилых женщин нашей камеры против Ульяшиной ругани.

— Какое ты имеешь право нас обзывать? Какие мы тебе б...? Мы пожилые женщины и распутными девками никогда не были, — как-то заявила целая группа этих женщин изумленной и

растерявшейся Уляше.

Я устыдилась, может быть, не менее Уляши. Я почувствовала, что это была *моя* обязанность, как самого интеллигентного в тот момент человека в камере, да к тому же человека из "свободного мира", державшегося с таким достоинством во время следствия и суда, — протестовать против хулиганских выходок дежурной, которую, видимо, до сих пор никто не одергивал. Приняв с достаточным смирением этот урок, преподанный мне судьбой и моими младшими сестрами, я твердо решила взять себя в руки и постараться выйти из состояния той моральной прострации и безразличия ко всему, в котором я временно находилась.

Кстати, протест крестьянок вызвал немедленный эффект: огороденная Уляша хотя и продолжала визгливо кричать, но совершенно перестала сквернословить при побудках.

Остальными дежурными были еще две Марии, большая и маленькая, которые у меня особенно яркого впечатления не оставили, тем более, что одна из них была вскоре переведена на работу в прачечную.

Таковы были женщины-дежурные читинской тюрьмы.

7 июня 1957 г.

Из женщин той камеры, в которой я провела, после двух дней в карантине, еще шесть дней, мне запомнилось несколько человек.

Первая из них — "Лисичка". Опять подивилась я удивительной способности русских людей давать подходящие клички. "Лисичка" была маленькая, юркая, рыжая девушка, блатная, очевидно, из "громких". Несмотря на свою молодость (самое большее — лет двадцать с небольшим), у нее была уже двенадцатая судимость. С почтением и удивлением взирала я на столь солидный стаж в столь молодые годы. В то время мне непонятно было: если она сидела каждый раз даже только по одному году, то она должна была начать свою преступную карьеру лет с десяти, а то даже и с восьми. Как же это так? Позже мне все это разъяснили, и окончательно я поняла положение из одного более или менее откровенного разговора в лагере в Акмолинске с одной "паханшей", т. е. воровской атаманшей с отрезанным носом.

Дело в том, что с начала революции и до самых последних лет перед моим арестом вора и воровкам, даже рецидивистам, особенно тем, которые крали не у государства, а у частных людей, давали обычно самые маленькие наказания, указанные в законе, от двух недель тюрьмы и выше. Отсидев две недели, месяц-два или даже полгода в тюрьме, которая, по их словам, им — "родной дом", — воровка по выходе из тюрьмы опять принималась за свою исконную профессию.

Таким образом, у воровок за какой-нибудь десяток лет накапливалась уже масса судимостей. "Паханша" Марья Михайловна, которая мне это разъяснила, уверяла меня, что она потеряла счет своим судимостям за 30 лет своей карьеры. Она клялась, что за год она успевала посидеть по крайней мере раз пять. Это составляло 150 судимостей. Возможно ли это?

Но даже если считать, что память ей изменяла, и что в самые последние годы перед моим заключением вора стали давать большие сроки — факт тот, что всё-таки совсем молодые люди имели зачастую десятки судимостей.

Так, в читинской тюрьме сидел в мое время молодой вор по прозвищу "Мусса" или "Мишáнька", покоритель сердец многих читинских девушек-уроков. Они все уши прожужжали своим "Мишáнькой". Одно время он сидел в камере над нами и я слышала его голос, когда наши девчонки перекликались с ним через открытую форточку (что было строжайше запрещено и грозило карцером). У совсем молодого "Муссы"—"Мишáньки" (он был, кажется, татарин) было 22 судимости. Позже, в лагерях мне рассказывали о человеке, у которого было сорок с чем-то судимостей.

(Мусса же сидел как подследственный по делу бандитско-воровской шайки "Черная Кошка", одно время настолько терроризировавшей читинцев, что для ее ликвидации прибыл специальный отряд МВД, чуть ли не из Москвы. Говорили, что местная милиция и уголовный розыск были в связи с этой шайкой).

Зачем советские власти в течение 35 лет после революции придерживались такой, мягко говоря, неправильной уголовной политики — трудно сказать. Они этими смехотворно-мягкими приговорами (убийцам и насильникам тоже давали один-два-три

года тюрьмы) — буквально плодили и размножали уголовных преступников.

”Я могу тебя убить и мне ничего за это не будет” — еще при мне было ходовой фразой в лагерях, особенно в первые годы, и, действительно, за убийства в акмолинском лагере в течение долгого времени не карали, а только посылали на этап. И лишь за одно убийство при мне наказали 10-летним сроком.

О кражах у частных лиц, в данном случае, у других заключенных, и говорить нечего. Это совершенно не каралось. Но если даже лагерным убийцам и стали иногда давать какой-то срок за убийство, это сводилось к весьма небольшому наказанию. Ведь данный преступник уже сидел за какое-то преступление. Новый срок поглощался предыдущим и обычно оставалась небольшая разница — два-три года. А что для профессионального урки лишних два-три года, когда ”тюрьма и лагерь — родной дом”, из которого он если и выходит, то в лучшем случае на два-три месяца, а то и на несколько дней, — до новой кражи, нового суда, нового заключения.

Есть весьма остроумная блатная песня, нечто вроде ”сказки про белого бычка”, которую я, к моему великому сожалению, вовремя не записала, будучи уверена, что во время ближайшего обыска ее у меня все равно отнимут.

В этой песне рассказывается, как вор, который только что освободился из тюрьмы, куда он попал, если не ошибаюсь, за кражу золотых часов, пошел с приятелем в ресторан и встретил там ”собственного” прокурора.

...И сидит там прокурор,
и он смотрит точно вор, —
Да, да, да —

гласит задорный припев.

Вор немедленно снова крадет золотые часы (не помню — у прокурора или кого-либо другого) и карусель вертится сначала.

”Лисичка”, о которой я упоминала выше, была, как мне говорили женщины-читинки, из приличной семьи. Вместе с братом они, к великому горю родителей, пошли по профессиональному преступному пути, и в настоящий момент сидели по крупному делу: обокрали товарный вагон, т. е. совершили

государственную кражу.

Другой из женщин моей камеры была моя первая знакомая из политических — Тереза Ивановна. Двухсложную ее фамилию, кончавшуюся на "о" и звучавшую по-французски, я забыла. Тереза Ивановна, дама средних лет, была обрусевшая полька. Вдова или разведенная, по профессии машинистка, она с великим трудом и лишениями воспитала двух дочерей на скудное жалование машинистки.

С великим интересом присматривалась я к первой интеллигентной советской женщине, встретившейся на моем жизненном пути (те единицы, которые я знала в Харбине в КПЗ, были из наших тамошних — эмигрантки или русские уроженки Манчжурии, получившие советский паспорт).

К тому же Тереза Ивановна была, как я сказала, первой политической заключенной, встретившейся мне на русской территории.

Сидела она, как и я, по п. "10" ст. 58, но дело ее было совсем пустяковое. Вернее, и дела-то совсем никакого не было. Тереза Ивановна была, повторяю, старшей машинисткой, если не ошибаюсь, Земельного отдела в Чите. С горечью рассказывала она мне, с каким трудом, с какими лишениями воспитывала она своих девочек на свое более чем скромное жалование, которого в условиях войны, когда все цены даже в отдаленной от фронта Чите необычайно возросли, ни на что не хватало. Так, ведро картошки, например, стоило *100 или более рублей*. На одежду денег совсем не было и у ее дочерей было всего *по одному платью*, да и то ситцевому. И как же рада была она, когда по окончании войны, незадолго до своего ареста, она смогла сшить своим дочкам по второму ситцевому платью.

В это время ее старшая дочь, ставшая уже девушкой 19-ти лет, получила от жениха в подарок отрез на платье, и этот отрез стал роковым в жизни самой Терезы Ивановны. Как это произошло — расскажу дальше.

Когда мы выходили на улицу, Тереза Ивановна надевала старый нагольный бараний тулуп светлой окраски и однажды, с вполне понятной мне женской горечью (она была далеко не старая женщина, высокая, статная и видная собою), сказала мне:

— Посмотрите, Мария Лазаревна, как одеваются советские

служащие.

Она рассказала мне, что время войны они с дочерьми выдержали только благодаря тому, что давали у себя в единственной комнате приют одному шоферу, который служил на автотранспорте и часто приезжал в Читу. Когда он приезжал, он привозил им кое-какие продукты, а за это они разрешали ему останавливаться у них во время своих приездов в Читу, которая в это время была переполнена эвакуированными. Конечно, присутствие чужого мужчины в этой женской комнате очень стесняло, но что было делать? К тому же "был еще коридорчик, где стоял умывальник и где можно было умыться и переодеться...". В этой скучной, но дружной семейной обстановке старшая дочь Терезы Ивановны, недавно тоже поступившая на службу, стала невестой одного лейтенанта.

Жених ее после отпуска уехал на фронт и в настоящее время вместе с советской армией был в Германии. На Рождество он прислал невесте красивую рождественскую открытку, которую Тереза Ивановна как-то принесла на службу показать своим двум младшим сослуживицам девушкам-машинисткам, сказав:

— Посмотрите, какая красивая открытка. У нас нет таких (во время войны в СССР не выпускали художественных открыток).

В другой раз, когда дочь получила от жениха в подарок заграничный отрез материи на платье, общительная Тереза Ивановна тоже принесла образчик этой материи показать своим сослуживицам, причем тоже сказала, что в СССР нет такого материала.

Этого было достаточно. Обе младшие машинистки, недовольные Терезой Ивановной за то, что она, как старшая, иногда делала им замечания за лень и оставление на ее долю большей части работы, немедленно сообщили куда надо (или, опять скажу — куда не надо) о том, что Тереза Ивановна хвалит иностранную, да еще и вражескую промышленную продукцию и критикует советскую.

Результат: арест, приговор на четыре года, развал семьи, жизнь которой как-будто только начинала проясняться.

— Следует ли мне обжаловать приговор? — с тоской

спрашивала меня Тереза Ивановна, видя мое искреннее сочувствие.

— Не советую, это "редкое счастье" получить всего 4 года, ведь вместо оправдания могут дать 10 лет, — отвечала я ей.

12 июня 1957 г.

Я уже упоминала о двух девочках — Соне (фамилию ее забыла) и Ане Марковой, которые были со мною два дня в первом карантине и попали вместе со мною в мою первую камеру.

Дела у них были одинаковые и вот какие: Аня Маркова, девочка 15 лет, а по виду — настоящий пухленький ребенок со стриженной головой, с 13 лет (!) служила мотористкой на одной из угольных шахт Забайкалья. На ее обязанности было следить за прикрепленными к доске приборами, показывающими температурные перемены в шахте, и, в случае повышения температуры, нажимать сигнальную кнопку.

Таким образом, жизнь и здоровье сотен людей были вручены внимательности 13-летнего ребенка.

Рабочий день на шахтах во время войны был продолжительностью в 10 часов, и девочка совсем изнемогала от усталости и вообще от работы в шахте, под землей, без солнечного света и воздуха.

Кончилась война, мать Ани и ее старшая сестра устроились рабочими на мясокомбинат в Чите, где работать было легче и сытнее. Мать написала Ане: "Бросай работу на шахте и приезжай в город. Тебе сейчас, по окончании войны, ничего за это не будет. Мы тебя устроим к нам на мясокомбинат".

Аня послушала мать, бросила работу на шахте и уехала в Читу, где благополучно проработала на мясокомбинате несколько месяцев. Но потом "кто-то" вспомнил о самовольном уходе девочки с работы на шахте, ее разыскали и привлекли на основании Указа от 1939 г., каравшего четырьмя месяцами тюремного заключения за самовольный уход с работы с невоенных предприятий, включая колхозы, и тюремным заключением сроком от 5 до 10 лет за самовольный уход с предприятий военных и "военизированных" во время войны. Шахты считались такими "военизированными" предприятиями.

Кстати, по тому же Указу такие же сроки давались за "прогул", т. е. пропуск на службе без врачебного бюллетеня хотя бы одного дня, или опоздания на службу хотя бы на одну минуту. Мне рассказывала бывший доцент Московского университета, как во время действия этого Указа по утрам можно было видеть, как со всех сторон к Московскому университету бежали, задыхаясь и спотыкаясь, старики-профессора, почему-либо опаздывающие на лекции — обычно из-за неурядиц на городском транспорте.

У старшей девочки, Сони, было точно такое же дело, как у Ани. Она тоже самовольно ушла с такой же работы мотористки на шахте. Соня была старшей в семье из 9 детей и помощницей матери-вдовы. Нужно было ради младших братьев и сестер устраиваться на работу, на которой можно было получить или достать хоть сколько-нибудь продуктов.

Обеих девочек во время моего 8-дневного пребывания в тюрьме до первого вызова взяли на этап и повезли судить в те места, где находились оставленные ими шахты. При мне же их привезли обратно через несколько дней.

Обе они, как ушедшие с "военизированных" предприятий, были присуждены к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Несовершеннолетний возраст, факт окончания войны и состоявшие крайней нужды во внимание судом не были приняты.

Бойкая и веселая от природы Соня, уже несколько затронутая тюремной порчей в виде излишней развязности за несколько месяцев сидения в тюрьме во время предварительного следствия, приняла приговор с каким-то дерзким вызовом.

Не то — маленькая Аня Маркова. Когда ее привезли обратно в тюрьму, она, после того, как выслушала общее сочувствие и возмущение приговором, куда-то исчезла. После поисков я нашла ее под нарами, лежащей на моем одеяле (я в это время была "наверху"). Аня горько плакала, закрыв лицо согнутой в локте пухлой ручонкой и все звала свою мать: "Мама, мама!".

Я легла около девочки и обняла ее, стараясь утешить, как могла. Но как было утешить ребенка, безвинно попавшего на пять лет в тюрьму?

Анечка, не плачь, детка, не надо.

— Мария Лазаревна, ведь я за пять лет *уркой стану*.

Меня поразило это мрачное и весьма вероятное предвидение этого бедного неиспорченного ребенка, предчувствовавшего свою грядущую судьбу в случае, если она попадет в среду преступников.

— Аня, от тебя, от твоей воли и любви к твоей матери зависит, чтобы ты не стала уркой. Поклянись мне сейчас именем твоей мамы, что ты останешься порядочным человеком и не станешь преступницей.

— Плача, Аня поклялась.

Мне до глубины души было жаль бедных девочек: и маленькую Аню и бойкую Соню, у которой было доброе сердце, и которая мне при моем поступлении в тюрьму старалась оказать хоть какую-нибудь услугу.

Надо было обжаловать эти чудовищные приговоры. Срок на обжалование я уже узнала, он был по Уголовно-Процессуальному Кодексу РСФСР — 72 часа, т. е. трое суток. Не зная еще советского быта, я — юристка-теоретик, дочь опытного старого присяжного поверенного, не имея под рукой кодексов, не решилась писать кассационные жалобы, помня, какое это ответственное дело. Правда, я, к своему изумлению, видела, как эти жалобы писали отнюдь не юристки, а часто даже не интеллигентные женщины, писали корявым, малограмотным языком, без ссылок на статьи закона, указы, решения судов и т. п. Но мне указали в камере на одну бойкую женщину-бухгалтера, которая сидела в тюрьме в качестве следственной уже 7 месяцев и, как мне сказали, удачно пишет эти жалобы.

Я подошла к ней и попросила ее помочь девочкам. Она охотно согласилась, но, естественно, попросила дать ей копии приговоров для того, чтобы знать их формулировку, указ, на основании которого они вынесены, и суды, которые их вынесли.

Я, обрадованная ее согласием помочь девочкам, подошла к ним и попросила их дать мне копии их приговоров.

По их сконфуженным рожицам и по тому, как они посмотрели друг на друга и на меня, я поняла, что что-то произошло.

— В чем дело, девочки?

— Мария Лазаревна, приговоров нет. Мы их выкурили. — Как выкурили?

— У нас не было бумаги на сигареты и мы их употребили.

— Ах, девочки, девочки!!

Без копий приговоров бухгалтер, естественно, отказалась писать жалобы о пересмотре дела, т. к. девочки не помнили даже названия судов, которые их судили.

Пока я думала, как им помочь, их через день или два увезли, и дальнейшая их судьба мне неизвестна. Хочу надеяться, что они попали под одну из небольших амнистий 1947-1949 гг. и что им, ни в чем не виновным, не пришлось досидеть до конца своего пятилетнего срока.

Анечка, маленькая Анечка — сдержала ли ты данную мне клятву?

13.11.1958 г.

Из инцидентов, происшедших в моей первой камере, мне вспоминаются еще три. Один состоял в следующем.

Одна симпатичная молодая женщина, сидевшая по обвинению в растрате, жена майора, получавшая от мужа очень хорошие передачи, однажды разворчалась, получив от него, среди других вещей, кастрюльку, полную гречневой каши. С нашей точки зрения, это, особенно по сравнению с тюремной баландой из мерзлой капусты и коричневым пюре из картофельной шелухи, было лакомой едой. Но она была недовольна.

— Что это ему вздумалось?

Но кому-то пришло в голову: "Посмотрите-ка хорошенько, может быть, он неспроста послал вам кашу".

И действительно, когда она хорошенько размяла ее ложкой, то нашла в одном из комков маленькую записку. В ней преданный муж сообщал жене, чтобы она слишком не волновалась и не "переживала", потому что скоро будет большая амнистия.

Содержание этой записки было, конечно, тотчас же сообщено всей камере, и поднялось всеобщее ликование. Одна я в душе скептически отнеслась к этому сообщению и, конечно, оказалась права.

Правда, я тогда и в последующие годы слыхала, что Сталин обещал после войны дать такую амнистию. "о какой еще не слыхал мир". Но он успел умереть, не дав амнистии, а широкую амнистию для политических 17 сент. 1955 г., освобождение по актировке до нее, и последующие акты освобождения полити-

ческих дал уже не он. Я же успела к тому времени отсидеть свой 10-летний срок и "пересидеть" еще лишних полгода.

Но здесь, в тюрьме, мне не захотелось портить всеобщей радости. К тому же в последующие годы, действительно, было несколько маленьких групповых освобождений матерей или других категорий бытовиков по небольшим делам. Может быть, некоторые из моих тогдашних соседок по камере, включая и эту милую молодую жену майора, получившую записку в гречневой каше и на радостях пригласившую меня остановиться "на обратном пути домой" у нее в Чите отдохнуть — и были освобождены до конца срока. Дай им Бог!

Другой памятный случай произошел на другой день после моего переселения из карантина в камеру. Почему-то один из ответдежурных сам принес передачу: ведро вареной картошки, и сообщил, что это передала такая-то (фамилию не помню) — для всей камеры.

Хор радостных и растроганных восклицаний встретил это сообщение:

— Смотрите-ка, сдержала слово! Не забыла!

Тут же началась раздача картошки. Каждой из 35 обитательниц камеры досталось по две картошки, в том числе и мне.

Мне объяснили: какая-то простая, бедная женщина, у которой дома при аресте остались дети, говорила, что если ее отпустят (она была еще следственная), то она обязательно принесет для всей камеры передачу: ведро вареной картошки.

— Принесла бы чего побольше и получше — да не могу, денег нет. Но ведро картошки обязательно принесу, обязательно для всех.

Ее освободили, кажется, накануне того дня, когда я попала в камеру.

Все были страшно тронуты, в том числе и я, что эта бедная женщина не забыла своего обещания и так скоро выполнила его. Но я не хотела брать свою долю, говоря, что я не была в камере в то время, когда она давала свое обещание. Все же меня убедили взять эти две картошки тем доводом, что она именно хотела, чтобы каждая из обитательниц камеры получила от нее передачу, безразлично, знала она ее или нет.

Я была очень тронута и дала себя убедить. С аппетитом

съела я эти картошки. Как было бы хорошо, если бы все так умели держать свои обещания и обладали таким отзывчивым сердцем, как эта бедная женщина, которая, вернувшись после таких переживаний к своим брошенным детям, все же не забыла своих недолгих товарищей по несчастью.

В самый день моего первого вызова на этап, 8 марта, произошел еще такой случай.

У нас в камере сидела девушка, которая рассказывала, что она работала на паровозе сперва кочегаром, а затем — помощником машиниста. Была она небольшого роста, но плотная и коренастая и, очевидно, обладала известной физической силой. Но все же — девушка. Легко можно было поверить ей, когда она подробно рассказывала, как трудно было ей подбрасывать уголь в паровозную топку, как с одной стороны обдувало ее зимой в сибирские морозы ледяным холодом, а с другой — обжигало жаром из топки. А затем, когда она стала помощником машиниста на товарных поездах, как страшила ее ответственность за целостность людей, состава и груза, когда приходилось во время войны самостоятельно водить поезда. Особенно она не могла забыть свою работу кочегара и так распространялась о ней, что даже надоела всем.

Но вот наступило 8-е марта — Международный праздник женщин, созданный в СССР после революции. С интересом смотрела я на то, как молодые обитательницы нашей камеры старались в этот день одеться и причесаться получше, как они уселись в кружок, затянули было песню, но заглянул дежурный и сказал, что нам это "не положено".

И вдруг девушка-кочегар, вероятно, бывшая комсомолка, привыкшая слушать в этот день митинговые речи и, может быть, сама их произносившая, не выдержала наступившей грустной тишины после того, как дежурный запретил петь, — и разразилась трафаретной речью, начав ее словами, стертыми, как старые медные пятаки, но тем не менее, с огромным пафосом:

— Товарищи, в этот день, 8 марта, советская власть освободила женщину от горшка и ухвата...

"Язык мой — враг мой" — не выдержал:

— И прикрепила ее к паровозному котлу, — перебила я ее пафос спокойно и скромно.

Девушка-кочегар оторопела и замолчала. А камера разразилась хохотом, вспомнив, как она беспрестанно жаловалась на свою невыносимо тяжелую работу.

А кстати: освобождена ли нынешняя работающая наравне с мужчиной русская женщина от "горшка и ухвата", и не легла ли на ее терпеливые, все выносящие плечи, двойная тяжесть?

Итак, после обыска, измученная и взволнованная несчастным случаем с Александром Ивановичем, я снова, уже ночью, часов в 12, попала в карантин. На этот раз нашлось место на нарах.

Наутро, после проверки, меня страшно поразил грозный ответдежурный Гвоздев. Вместо того, чтобы выйти сразу после проверки, когда женщины, встававшие на проверку, разошлись по своим нарам, он подошел к моим нарам, на которые я уже собиралась сесть, сел рядом со мною (вопиющее нарушение тюремного режима!) и, сворачивая цыгарку, сказал мне совсем дружелюбно и сочувствующе:

— Мне жаль вас. Вы теперь не скоро отсюда уедете.

— Почему, гражданин ответдежурный? (Я к этому времени уже узнала подобающее обращение).

— Вас вчера не принял конвой проезжающего поезда, т. к. не было мест. Теперь вы застрянете здесь на некоторое время.

На этот раз я пробыла в карантине 25 дней. Беспокойное это было время. Люди менялись, как в калейдоскопе, так как когда формировали этап, женщин из разных камер обычно вызывали сперва в карантин, там формировали этап, т. е. проверяли их по спискам, и оттуда уже вызывали на этап.

С другой стороны, все приводимые в тюрьму обязательно попадали сперва в карантин и уже потом, через некоторое время, распределялись по камерам.

Приводили в это время, главным образом, бытовичек, попавших в первый раз. Урки были, но не так много. Из них яркое впечатление оставили только две.

Приводимые в первый раз женщины боялись, если дело было ночью, входить в совершенно темный карантин. Они в дверях упирались, иногда плакали. Были тяжелые сцены и мне

вскоре объяснили, почему. Места заключения в Чите, начиная с ежовского террора 1937 года и последующих, были овеяны мрачной славой.

Одна девушка, например, рассказывала мне, что ее подруга была в эпоху массовых арестов 1937 года вызвана как-то к следователю. Ее привели (это было поздно вечером) к темной комнате, в которую падал лучик света из дверной щели в следующей освещенной комнате, и сказали пройти туда. Когда она дошла приблизительно до середины темной комнаты, пол под ней раздался и она полетела куда-то в пустоту. Но упала она на протянутую над пустотой сетку. Потом ее извлекли оттуда и привели к следователю. Допрос происходил уже после этой "психической подготовки".

Кажется, эта же девушка мне рассказала, что дело там обходилось не всегда так благополучно. Дом этот стоял над рекой Ингодой, и не всегда в люке протягивалась сетка. Иногда неугодный человек падал через люк прямо в реку и уносился ее водами.

Не знаю, были ли правдой все эти рассказы или они — плод напуганного народного воображения. Но ежовский террор 1937 года, о котором я, собственно, полностью узнала лишь в России, т. к. нам за границей он не казался чем-то особенно отличающимся от предыдущих и последующих лет, — толковался в обывательской Чите своеобразно, как "перегибы" начальника местного НКВД, вместо которого каким-то образом временно оказался агент одной из иностранных разведок.

Семья настоящего (исчезнувшего) начальника, которой устроили очную ставку с самозванцем где-то в центре, чуть ли не в Москве, будто-бы разоблачила последнего, заявив, что они этого человека не знают, что это не их муж и отец.

Видя мое недоверие к этому рассказу, меня разные женщины старались убедить, что это правда. И лишь на Иркутской пересылке, встретившись с интеллигентными женщинами, я узнала, что тот террор, который читинское народное воображение приписывало главе-самозванцу читинского учреждения, носил массовый, всероссийский характер, и что аресты эпохи Ежова, который в конце концов был отдан за "перегибы" под суд и казнен, — выдающееся явление даже среди всех остальных эпох

арестов и гонений.

Жертвы 1937 года, если даже они и жили еще несколько лет после ареста, попали в особые, строго засекреченные лагеря на крайнем Севере, где они жили без права переписки, не говоря уже о свиданиях. Продолжали они там сидеть и после казни Ежова, и из них почти никто не вернулся домой. Об этих лагерях мне еще придется упоминать в дальнейшем, а пока возвращаюсь к читинскому карантину.

Итак, темные комнаты, куда заставляли входить, были окутаны в Чите дымкой ужаса и поэтому и спустя 8-9 лет после казни Ежова женщины боялись входить в темный карантин, и плакали и упирались у дверей.

Узнав все это, и жалея их от души, я, в качестве "старожилки" карантина, взяла на себя миссию успокоения.

Я или вставала с постели и подходила к ним и за руку вела их в темноте к свободным нарам или, если уж очень хотелось спать, уговаривала их, не вставая с места.

Голос мой им почему-то внушал доверие, и только что отказывавшиеся входить в темноту, после моих слов, чтобы они не боялись, что здесь ничего нет страшного (кроме тюремной камеры!), — спокойно входили и занимали указанные им мною нары, а после ухода дежурных благодарили меня, объясняя причину своего страха. Вскоре я узнала один тюремный обычай, весьма своеобразный.

С удивлением наблюдала я как-то, что, увидя днем в окне прибывший этап, среди которого были и женщины, несколько блатных девушек из нашей камеры, пошептавшись между собой и посмеявшись, расстелили на полу в ожидании прихода в карантин "новеньких" у самого порога чистое льняное полотенце, так что, войдя в камеру, нужно было неминуемо или наступить на него, или с порога перез него перескочить.

— Для чего это? — шепотом спросила я у кого-то.

— А это такой тюремный обычай. Так блатные проверяют новеньких. Если человек уже побывал в тюрьме, или, по крайней мере, давно сидит, он знает эту проверку и, войдя в камеру, если у порога разостлано чистое полотенце, обязательно наступит на него. Если же человек — новичок в тюрьме, он или она постесняются наступить на чужую чистую вещь, которую они сочтут за

случайно оброненную, и обязательно перескочат через нее.

Но для чего блатным нужна такая проверка "новеньких"?

А чтобы знать, что можно себе позволить в отношении их.

Спасибо за науку. Теперь, в случае, если в другой камере или в другой тюрьме подвергнут этой пробе меня, наступлю прямо на чистое полотенце.

Как-то так случилось, что мне так и не пришлось подвергнуться "испытанию полотенцем".

Но на иркутской пересылке через несколько месяцев мне еще раз пришлось быть свидетельницей выполнения этого тюремного обычая, причем на этот раз это делали не блатные.

Об этом — на своем месте.

М. Шапиро

(Продолжение следует)

ЛЮДОЕДСТВО В ХЛЕБНОЙ СТРАНЕ

В этой статье я хочу рассказать по документам и по памяти о том страшном голоде, который Сталин и Микоян искусственно организовали в стране в 1931-1932 годах.

Известный журналист Вальтер Дюранти, зачарованный великосветскими манерами советских лидеров и еще больше, вероятно, изобилием икры и шампанского на кремлевских банкетах, писал, что Кремль поднял "русский продовольственный стандарт жизни от дореволюционного, почти средневекового, до такого уровня, что этот стандарт сегодня не так далек от стандарта США, вопреки тому, что думают многие американцы" (Duranty, Stalin and Co, N. Y., 1949, p. 168).

Когда г-н Дюранти заносил на бумагу это безапелляционное утверждение, в Советской России люди пухли с голода и даже умирали. С тех пор, как Сталин изобрел колхозы, хлеба у него никогда не хватало, но для экспорта он его находил. Мы имеем на этот счет свидетельство из первых рук. Это доклад Хрущева от 9 декабря 1963 г. на Пленуме ЦК. "Правительство вынуждено было купить известное количество хлеба за рубежом. Нашлись, оказывается, и такие люди, которые рассуждают: как же это так, раньше при меньших валовых сборах зерна сами продавали хлеб, а теперь покупаем... Если в обеспечении хлебом населения действовать методом Сталина, Молотова, то тогда и в нынешнем году можно было бы продать хлеб за границу. Метод был такой: хлеб за границу продавали, а в некоторых районах люди *из-за отсутствия хлеба пухли с голоду и даже умирали.*

Да, товарищи, это факт, что в 1947 г. в ряде областей страны люди умирали с голоду, а хлеб тогда продавали [за границу]"

(Хрушев, *Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства*, т. 8, М., 1963, стр. 265).

Но вот прошло 34 года, сменилось несколько советских диктаторов (Сталин, Маленков, Хрушев, Брежнев, Андропов), СССР стал первой военной державой в мире под негласным лозунгом "бомбы и ракеты вместо масла и мяса", население месяцами не видит ни масла, ни мяса, а хлеб привозят из-за границы. И вот приезжает в СССР другой известный американец, пастор Билли Грехэм и свидетельствует: "В СССР можно чудесно и дешево есть икру. В Америке надо быть миллионером, чтобы позволить себе это". Обращаясь к советским людям, пастор добавляет: "Будьте послушны начальству" ("*Züddeutsche Zeitung*", 14.V.1982).

Вообще в СССР действовали и действуют какие-то неуловимые, но и неумолимые законы. Еще Ключевский говорил в отношении старой России, что чем богаче становилось государство, тем беднее становился народ. Но в старой России этот закон действовал относительно. Зато в СССР действовал и поныне действует сталинский закон социализма: чем реальнее становился социализм и чем больше он приближался к коммунизму, тем беднее становятся и народ и государство.

Общая догма режима — абсолютный примат развития тяжелой индустрии над легкой, военной индустрии над всей индустрией, общая установка ЦК — даже дефицитные продукты сельского хозяйства экспортировать за границу для закупки машин, общий закон эксплуатации труда — обгоняющий рост производительности труда по отношению к росту зарплаты и трудодня, — все это входило в понятие так называемой "генеральной линии партии". Задача органов внутренней и внешней торговли СССР в том и заключалась, как изыскать наиболее эффективные пути и методы выкачки дополнительных средств на внешних и внутренних рынках для финансирования тяжелой индустрии. Государственная монополия внешней и внутренней торговли давала в руки такие рычаги установки цен, о которых никогда не мечтала и не может мечтать любая капиталистическая монополия. Косвенные налоги ("прибыль с оборота"), так называемые "наценки" (то есть сверхцены, которые не находятся ни в какой связи с издержками производства того или иного

товара), и есть эти рычаги.

В самом деле, как определяется стоимость товаров при капитализме? Согласно Марксу, величина стоимости товаров при капитализме определяется средним "количеством общественно необходимого труда", которое требуется для их производства. В эту стоимость входят не только издержки производства, но и прибыль, которую получает капиталист. Высота этой прибыли колеблется под действием законов "нормы эксплуатации" и "нормы прибыли", а реализация самой прибыли зависит от стихийных законов рынка (конкуренция, спрос и предложение).

А как со стоимостью товаров при советском социализме? Она такая, какую назначит правительство, то есть издержки производства плюс гарантированная максимальная прибыль. Но бывает и так, что товары продаются даже ниже стоимости своих издержек, значит, не только без прибыли, но и с убытком.

Советская экономическая наука не отрицает, что Сталин вел, а его преемники продолжают, политику сверхстоимостных цен для продажи населению промтоваров и политику нижестоимостных цен для государственных закупок продукции сельского хозяйства. Советские экономисты только стараются оправдать мотивы и необходимость такой политики. Об этом в официальном учебнике "Политэкономия" сказано так: "Экономически обоснованные отклонения цен от стоимости необходимы для того, чтобы цена могла играть активную роль в строительстве социализма и коммунизма... В годы индустриализации страны, в период войны и после военного восстановления хозяйства цены в СССР были значительно оторваны от стоимости. С одной стороны, образовался высокий, в среднем превышающий стоимость уровень цен на предметы потребления, продаваемые населению, а с другой стороны, не покрывающие издержек производства цены на заготавливаемые сельскохозяйственные продукты" ("*Политическая экономия*", М., 1962, стр. 518).

Другими словами, промышленные товары и продукты сельского хозяйства государство продает выше их стоимости, а колхозам за те же сельскохозяйственные продукты государство платит даже ниже издержек их производства. Хрущев приводил пример, который он считал классическим для сталинского времени: государство платило колхозникам такую цену, напри-

мер, за картофель, которая была ниже расходов колхоза на транспортировку картофеля до ближайшей железнодорожной станции.

Когда анализируешь документы начала тридцатых годов и восстанавливаешь в памяти тогдашнюю продовольственную ситуацию в стране, то поражаешься не тому, что люди пухли от голода и умирали, а тому, что голод 1931-1932 гг., стоивший жизни только на Украине 6 миллионам, умершим от голода, не привел ко всеобщей катастрофе по всей стране, что он локализовался в районах Украины, Туркестана и части Северного Кавказа. Голод стал неизбежным из-за восстановления режима продразверсток периода "военного коммунизма", а потом и обязательных поставок за бесценок хлеба, масла и мяса в период коллективизации. На это крестьянство ответило массовым убоем скота и сокращением посевных площадей. Результатом этого и был голод 1931-1932 годов. Жертвы голода на Украине известны, но ничего неизвестно о голоде в Туркестане.

Вот как описывает голод в Туркестане один из бывших видных советских работников Лев Васильев в своей книге "Советский империализм": "Я получаю повышение по службе и, как начальник отдела наркомата финансов, переезжаю в Ташкент... По улицам бродят голодные матери с детьми и с мольбой во взоре протягивают руки за подаванием. Трупы, бесконечные груды трупов как дрова наваливают на грузовики и отвозят на свалку, где кое-как зарывают в общих ямах. Голодные уцелевшие собаки разрывают ямы и дерутся за добычу. Не раз я видел эти страшные грузовики — катафалки смерти".

Невольно мне вспомнились слова революционной песни: "Вы землю просили — я землю вам дал, а волю на небе найдете". В Туркестане собаки ели людей, а на Украине в эти годы люди ели людей. Вероятно, никогда точно не будет известно количество голодных жертв этих ужасающих лет. Однако, количество жертв сталинского голода и террора по Туркестану я могу установить по официальным данным; согласно резолюции XIII съезда партии в Туркестане в 1923 г. было 30 мл. человек, а по переписи 1959 г. его население уменьшилось до 24 мл. человек (A. Avtorchanov, *Der Islam und die Mohammedanische Volker UdSSR*. "Welt", № 2, 1980, S. 15).

Такова была обстановка, когда правительство ввело систему принудительного сева под угрозой ссылки целых деревень за "кулацкий саботаж" (что и делалось на Украине и Кубани), но эту меру, хотя она временно и обеспечила город продуктами, нельзя было считать надежной. В конце концов власть физически не могла поставить за каждым крестьянином по одному полицейскому. Поэтому надо было ввести хоть какой-то принцип материальной заинтересованности колхозников и легализовать, хотя бы в весьма ограниченном масштабе, частную торговлю колхозников продовольственными продуктами. Так возникла идея приусадебных участков, частных коров, "колхозной торговли" и т. н. "отоваривания" сельхозпоставок (т. е. засылки в деревню товаров в зависимости от выполнения плана поставок).

Эти меры смягчили голод, но не ликвидировали его причины. Если бесчисленная армия заготовителей и постоянный институт "ответственных уполномоченных" партии (по несколько человек на каждую деревню) не столько убеждением, сколько силой умудрялись обеспечить город и армию хлебом, то и они не могли достать ни мяса, ни масла, ни молока там, где их не было.

Вот в этот период ЦК принимает одно организационное решение, которое уже само по себе говорит о многом: народный комиссариат внутренней и внешней торговли СССР реорганизуется в комиссариаты — народный комиссариат внешней торговли и народный комиссариат снабжения СССР. Во главе наркомснаба ставится Микоян (ноябрь 1930). Отныне Микоян должен не торговать, ибо торговать-то нечем, а снабжать население твердыми, рационированными продуктами так, как интендант снабжает армию. ЦК принимает такие энергичные меры, чтобы спасти режим от грозящей катастрофы. Я хорошо помню эти меры:

1) была введена карточная система на продовольственные и промышленные товары;

2) было введено дифференцированное снабжение разных социальных групп;

3) было введено дифференцированное снабжение городов — а) города особого списка, б) города первого списка, в) города второго списка, г) города третьего списка.

При введении дифференцированного принципа снабжения ЦК исходило из того, чтобы, во-первых, обеспечить снабжение по максимально-высоким нормам тех групп населения, которые составляют социально-политическую опору режима, во-вторых, организовать бесперебойное и повышенное снабжение рабочего населения тех городов, которые представляли из себя наиболее критические и опасные пункты в случае политического кризиса из-за недостатков снабжения (большевики хорошо помнили, что Февральская революция против царя началась с лозунга: "хлеба, хлеба, хлеба!"). Так, Москва и Ленинград были объявлены городами "особого списка", Киев, Харьков, Минск, Баку и другие — городами "первого списка", и так далее. В отношении разных социальных групп была разработана весьма детализированная шкала снабжения по степени их важности, их места в иерархии режима. Каждая группа имела свой "закрытый распределитель" с особыми персональными пропусками.

По богатству ассортимента и по высоте норм эти "закрытые распределители" по нисходящей линии делились следующим образом:

1. Чекистский актив, 2. Партийный актив, 3. Офицерский корпус ("Военторг"), 4. ИТР (инженерно-технические работники), 5. Педагогический персонал.

Для простого рабочего населения существовали простые рабочие карточки, но тоже — разных категорий, в зависимости от характера и отрасли промышленности. Каждый рабочий человек был прикреплен к определенному ЗРК ("Закрытый рабочий кооператив") и имел право покупать только в данном ЗРК. Неработающие (например, вычищенные как "социально-чуждые элементы") и представители духовенства, которые тоже считались неработающими, карточек не получали. Где же они могли покупать продукты? Для них ЦК изобрел особый вид свободной торговли — была создана довольно распространенная сеть магазинов "коммерческой торговли" (торговая торговля!), где дефицитные и рационированные продукты продавались без всяких карточек, но по баснословно высоким ценам.

Вышецитированный Л. Васильев пишет: "Открываются коммерческие универмаги, забитые товарами. Модельные туфли — их выделывает ташкентская фабрика по фабричной себестои-

мости за 12 рублей — продаются в универмаге за 220 рублей; шерстяное пальто, шитое по себестоимости 22 рублей, продается за 280 рублей. Все эти бюджетные наценки — налог с оборота — зачисляются на счета союзного бюджета. Это не "прибавочная стоимость" по Марксу, это *новый вид дохода от спекуляции государства на нищете и горе людей*. На базаре купить ничего нельзя. Базар — это спекуляция. Базар разгоняется милицией, а горожане, вынесшие обменять свою старую одежду на кусок сала, арестовываются и ссылаются в лагеря. Нужно все покупать у государства, чтобы обеспечить его безответственные траты на строительство, армию и аппарат. Государство — не спекулянт, оно только торгует с наценкой в 1000 процентов и больше". Вот каковы были "рычаги цен".

Колхозники карточек не получали и должны были жить своими мизерными доходами от трудодней и приусадебных участков. Самыми критическими годами в жизни страны, говоря о снабжении, и явились 1930-1933 годы.

Люди пророчили, что Микоян, который так блестяще ликвидировал свободную торговлю, сумеет, вероятно, ликвидировать и советское снабжение. Да и Сталин, якобы, придумал для Микояна этот столь неблагодарный пост, чтобы провалить и убрать его, а потом сделать козлом отпущения за собственные преступления. Такой вывод вполне вытекал и из той критики, которой Микоян подвергся на Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК 17-21 декабря 1930 г. Сталин заставил Микояна сделать на пленуме доклад о причинах провала снабжения мясом и овощами не только рабочих кооперативов, но и системы "закрытых распределителей". На XVI съезде Сталин приказал — "через год иметь возможность обеспечить полностью снабжение мясом", но прошло шесть месяцев, а положение еще более ухудшилось.

На пленуме Микояна обвинили в том, что он провалил заготовку мяса и овощей из-за своей либеральной политики по отношению к чуждым элементам в органах наркомата снабжения. Сталин предложил записать в резолюции по докладу Микояна такую суровую оценку, после которой наркомы обычно исчезали с горизонта. В резолюции говорилось: "Заслушав отчетный доклад наркомснаба [Микояна] о снабжении мясом и овощами, Объединенный Пленум ЦК и ЦКК признает его работу по

линии Союзмяса и Союзплодоовоща *неудовлетворительной*". Далее указывалось: "ЦК и ЦКК считают, что аппарат Союзмяса оказался засоренным чуждыми, враждебными и вредительскими элементами".

"Союзмясо" было, наряду с "Союзхлебом", важнейшим из главных управлений наркомата снабжения. Непосредственный надзор за обоими "союзами" осуществлял сам нарком. Поэтому понятно, каковы должны были быть чувства Микояна, когда его работу признали "неудовлетворительной" не по практическим, а по политическим причинам. Нарком, который терпит в своем аппарате "контрреволюционеров" и "вредителей", сам оказывался очень скоро причисленным к той же категории. Даже то обстоятельство, что не Сталин, а Микоян разоблачил в аппарате наркомснаба 48 "вредителей" и все они были расстреляны, в цитированной резолюции пленума оценивался как факт, говорящий не за, а против Микояна — значит, мол, "вредителей" много, и Микоян хочет отделаться только символической "жертвой" — велел расстрелять всего лишь 48 человек... Пленум наметил ряд драконовских мер по чистке аппарата наркомснаба и кооперации (на долю кооперации приходилось 6% товарооборота), чтобы улучшить дело снабжения.

Через год — 28-31 октября 1931 г. пленум ЦК вновь обсудил доклад Микояна "О советской торговле и улучшении снабжения рабочих". За это время Микоян выполнил требования предыдущего пленума о чистке. Все старые беспартийные специалисты из аппарата наркомснаба, кооперации и Госплана были вычищены, арестованы и отданы под суд как вредители ("Процесс Всесоюзного Бюро меньшевиков", 1931 г.). На место вычищенных были набраны рабочие коммунисты. Поэтому новый пленум ЦК не повторил своего старого политического обвинения, но все-таки констатировал продолжающееся ухудшение рабочего снабжения. Как раз после изъятия "вредителей" и возник хаос в планировании и снабжении, что привело к упомянутой голодной катастрофе на Украине, в Туркестане и Кубани. Ухудшилось снабжение и в городах "особого списка" и "первого списка", что считалось весьма опасным политически. Пленум потребовал от Микояна улучшить снабжение городов "особого" и "первого списка" за счет централизованных фондов, снизить

цены "коммерческой торговли" на 30%; что же касается городов "второго" и "третьего" списков, то их снабжение предполагалось улучшить "мобилизацией местных ресурсов". Пленум постановил также учредить пост секретаря по снабжению в обкомах, крайкомах и центральных комитетах компартий союзных республик.

В задачу Микояна входило не только снабжение городов продуктами сельского хозяйства, но и снабжение городов и сел товарами широкого потребления. И тут дело обстояло плачевно. Очередной пленум ЦК 28 ноября - 2 декабря 1932 г. указал Микояну на то, что в его снабженческой сети много воровства и хищений из-за откуда-то появившихся вновь "чуждых элементов" и что именно поэтому "не удовлетворяются возросшие потребности трудящихся" в товарах ширпотреба. Словом, выходило, что после провала снабжения городов продовольственными товарами, Микоян провалил снабжение городов и сел промышленными товарами.

Беда еще заключалась в том, что Сталин никогда не признавал так называемых "объективных причин" невыполнения своего задания. Все ссылки на "объективные причины" невыполнения плана (даже ссылку на такую, например, причину, как засуха, приведшая к неурожаю) Сталин квалифицировал как "правый оппортунизм на практике" и соответственно наказывал его носителей. Никогда после расстрела "26 бакинских комиссаров" Микоян не был в таком опасном положении, как сейчас. Если там его не расстреляли по случайному стечению обстоятельств, то у Сталина на такие случайности нельзя было надеяться. От вас зависело не войти в круг Сталина, но уходить по-хорошему из его круга, раз вы туда попали, — это уже зависело не от вас, а от Сталина. И тут выход был ультимативный: или всю жизнь крутиться в сталинском кругу, или вас отправят на тот свет без особых церемоний.

Казалось бы, что перманентный кризис недопроизводства промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов должен был заставить Сталина организовать максимально налаженные и гармоничные взаимоотношения между своими соратниками. Между тем Сталин добивался как раз обратного. Даже просто человеческих отношений между ними он опасался.

Семейные встречи, частые визиты друг к другу, а тем более совместные выпивки своих учеников без своего участия Сталин порицал. Он, старый конспиратор, знал, что интимность — мостик к взаимопониманию, а при полном взаимопонимании его соратников его власть зависит уже не от него, а от них. Вот почему даже римляне не умели с таким эффектом пользоваться правилом "разделяй и властвуй", как это делал Сталин. Этим правилом он пользовался во время разгрома своих соперников в Политбюро. Этим правилом он пользовался в деле управления своими учениками в том же Политбюро. Не объединять, а разъединять членов своего высшего штаба, — в этом Сталин видел гарантию безопасности личной власти. Члены Политбюро, ненавидящие друг друга, — для него самые надежные соратники. Они будут доносить друг на друга и никогда не договорятся о заговоре (падение Хрущева доказало, насколько прав был Сталин и в этом пункте). Эта привычка Сталина натравливать членов Политбюро друг на друга была так хорошо известна в партии, что даже существовал характерный анекдот:

Приходит к Сталину Молотов.

Сталин: — Знаешь, Молотов, Каганович говорит, что ты заика!

Молотов: — Ну да, т. Сталин, это правда, ведь я заика.

Сталин: — Это верно, но почему он подчеркивает?

Приходит к Сталину Каганович.

Сталин: — Знаешь, Каганович, Молотов говорит, что ты еврей!

Каганович: — Ну да, т. Сталин, это правда, ведь я и есть еврей.

Сталин: — Это да, но почему он так говорит?

Наконец, приходит Микоян.

Сталин: — Знаешь, Микоян, у меня только что были Молотов и Каганович и они в один голос говорят, что ты армянский поп!

Микоян: — т. Сталин, не верьте ни одному их слову: когда они встречаются со мною, они называют вас недоучившимся грузинским попом!

Неудивительно, что ученики, воспитанные в такой школе, остро ненавидели друг друга. Хрущев рассказывал на XXII

съезде, что члены "Антипартийной группы" — Молотов, Каганович, Ворошилов, Маленков, Булганин, каждый в отдельности, еще при Сталине ненавидели друг друга, временами вообще не разговаривали между собою, а вот в деле организации заговора против Хрущева все-таки объединились.

Впрочем, Сталин, который загнал Микояна в столь зловещий тупик, сам же и вывел его потом оттуда. Случилось это не без храбрости — от отчаяния — со стороны Микояна. Ввиду безнадежности положения Микоян решился на риск, на который не отважился до сих пор ни один из членов Политбюро — он внес в Политбюро предложение резко увеличить производство ширпотреба за счет тяжелой промышленности. За такое предложение года два-три тому назад бухаринцы были изгнаны из Политбюро при активнейшем участии самого же Микояна. Догма "примата тяжелой промышленности" считалась не только абсолютно неприкосновенной, но касаться ее было табу. Поэтому, когда Микоян решил нарушить это табу, окружающие удивлялись не столько его смелости, сколько безрассудству. Однако, случилось то, чего, может быть, меньше всего ожидал сам Микоян.

Сталин согласился с доводами Микояна, что надо резко увеличить производство продукции легкой индустрии за счет средств, отпущенных на тяжелую индустрию. Вопрос этот был поставлен на рассмотрение октябрьского Пленума ЦК (1932 г.). Пленум решил: "предложить наркомлегпрому, наркомтяжпрому и промкооперации добиться решительного перелома в отношении к производству ширпотреба". Вместе с тем пленум ЦК подчеркивал, что данное решение стало возможным только "на основе подъема тяжелой промышленности" и в результате разгрома "контрреволюционного" троцкизма и "кулацкого" правого оппортунизма. Эта оговорка делалась для успокоения совести догматиков примата тяжелой индустрии. К такой оговорке, собственно, прибегают каждый раз и сейчас, когда надо обосновать ту или иную переброску средств из тяжелой индустрии в легкую, — настолько крепко въелась в мозги партийных аппаратчиков эта сталинская догма. За попытку пересмотра поплатился Маленков, за желание ее пересмотреть досталось и Хрущеву.

Решение пленума возымело свое действие — скоро на

полках все еще закрытых магазинов начали появляться товары, о существовании которых люди уже начали забывать. Но странное дело: в той же мере, в какой поступали в магазины промышленные товары, оттуда исчезали продовольственные продукты. Меры, принятые для поощрения развития сельского хозяйства, оказались паллиативными. Либо возвращение к НЭПу, либо тотальный партийно-полицейский контроль над каждым колхозом, над каждым колхозником — другого выбора для получения хлеба не было.

Сталин, конечно, выбрал второй путь, заявив: "Партия должна взять в свои руки руководство колхозами. Партия должна входить во все детали колхозной жизни и колхозного руководства". Вот тогда-то Пленум ЦК (январь 1933 г.) решил создать знаменитые "политотделы" МТС и совхозов. Было создано 3.668 "политотделов" МТС на 200 тыс. колхозов и 2.021 "политотделов" на 5 тыс. совхозов. Политотделы представляли из себя комбинированные учреждения из партаппаратчиков и чекистов, непосредственно назначенных самим ЦК и не подчиненных местным властям. Им были предоставлены чрезвычайные права с целью: 1) беспощадно очистить колхозы от "враждебных элементов", 2) любой ценой добиться выполнения всех сельскохозяйственных планов.

Надо сказать, что, опираясь на систему политотделов, в течение 1933 и 1934 годов Сталин окончательно убедил крестьянство в безнадежности и бессмысленности сопротивления колхозному строю. На ясно и категорически поставленный вопрос: либо подневольная работа в Сибири либо "вольная" работа в колхозе, крестьянин выбирал "волю" в колхозе. Отныне дорога в Сибирь лежала только через колхоз. Таким образом, чисто партийно-полицейским методом Сталин разрешил самую тяжелую проблему режима — проблему окончательного создания колхозного строя. Этот строй никогда не был рентабельным, но он имел то преимущество для режима, что обеспечивал всеобщий политический контроль над крестьянством и регулярный, организованный приток в город продукции сельского хозяйства.

Разрешение обеих задач через два года настолько продвинулось вперед, что в ноябре 1934 г. политотделы были реорганизованы в нормальные партийные комитеты и с сельского

хозяйства было снято осадное положение. В закрытых магазинах рядом с промтоварами вновь появились продовольственные продукты.

Политотделы окончательно закрепили крестьян. Самый страшный сталинский "рубикон" был позади. Теперь уже впервые стали говорить о качестве товаров ширпотреба и продуктов продовольствия. Если раньше рассуждали "быть бы живу — не до жиру", то сейчас потребитель, особенно из партийной и государственной элиты, начал требовать доброкачественных предметов. Это уже свидетельствовало о том, что страна, наконец, стала выходить из продолжавшегося около семи лет продовольственного и товарного кризиса.

Выступая на XVII съезде партии (февраль 1934 г.), Микоян показал на конкретных примерах, как сам Сталин постоянно интересуется делом снабжения и дает ему, Микояну, "мудрые указания" по улучшению качества. Так, однажды Сталин вызвал Микояна по поводу мыловарения, "лично рассматривал сорта и размеры кусков мыла, его упаковку... Теперь ни один мыловар не смеет выпускать ничего, кроме того, что утверждено нами" (то есть Сталиным и Микояном).

Микоян привел и другой пример, долженствующий свидетельствовать о "коммерческом" гении Сталина. На этот раз дело касалось производства конфет. Советские фабрики производили конфеты двух сортов — один сорт для экспорта, высокого качества и хорошей упаковки, другой сорт — для внутреннего рынка, совершенно низкого качества. Настойчивые требования Микояна об улучшении качества конфет и для советского потребителя на директоров фабрик не оказывали достаточного влияния. Тогда, сообщает Микоян, Сталин подал ему идею: сказать директорам фабрик, что отныне они будут производить конфеты только для экспорта. Тогда произошло "чудо" — на внутреннем рынке появились хорошие конфеты (пока директора не узнали, что их "обманули"). Микоян похвалился поднятием качества, расширением ассортимента и... реабилитацией "буржуазной" колбасы. Он сообщил партийному съезду, что в СССР было запрещено производство таких сортов колбас, как "брауншвейгская", "гамбургская" и "краковская", как "чуждых по происхождению". Теперь его личным приказом эти "чужаки"

реабилитированы и их производство восстановлено. Микоян сообщил съезду, что им приняты все меры к тому, чтобы обеспечить нормальное снабжение также и мясом. Он заверил съезд, что все отходы забиваемого на бойне скота будут использованы для дела снабжения. Он сказал: "На мясокомбинате остается неиспользованным только последний вздох животного".

Наконец, ноябрьский Пленум ЦК (1934 г.) решил отменить с 1 января 1935 г. карточную систему снабжения хлебом, мукой и крупой. Был ликвидирован и наркомат снабжения, как выполнивший свою миссию. Начали переходить к системе открытой государственной и кооперативной торговли и всеми другими товарами.

А. Авторханов

РАЗМЕРЫ ЗЛА

Прошло 38 лет с тех пор, как кончилась война, вошедшая в историю под названием "Второй Мировой". Многие свидетели и участники драматическИх событий 1941-45 годов уже умерли, оставшиеся доживают свой век... Для них, ещё живущих, время не только дало возможность залечить раны, как телесные так и душевные, но и лучше уяснить себе — что же произошло?

Для нас, эмигрантов из той части света, которая когда-то называлась Российской Империей, а потом четырьмя буквами СССР, из всего лабиринта исторических и политических событий этих лет, конечно, наиболее интересны те, которые непосредственно относятся к нам, т. е. ко всем тем, кто, в результате всех судорог госпожи Истории, потерял свою Родину и оказался в "рассеянии сущим".

Первая волна российской эмиграции четверть века просидела на чемоданах с затаённой надеждой, что История вдруг повернёт к ним своё лицо и с сияющей улыбкой скажет: "Дорогие мои, пришло время возвращаться домой!"

У второй волны тоже была некоторая — по времени очень краткая — надежда на ласковый жест госпожи Истории... Увы, этого не случилось, и к середине 1945 года надежды обеих волн и всех категорий эмиграции канули в Лету. И если бы теперь, в конце нашего столетия, вдруг произошел какой-то неожиданный поворот событий мирового или только местного, "есесесеровского" масштаба и открылась дверь с вывеской: "Родина. Добро пожаловать", количество желающих использовать этот долгожданный момент было бы весьма незначительно. Теперь уже некому возвращаться. Самих "оригинальных" эмигрантов,

вольно или невольно оказавшихся на Западе, и вдруг решившихся на такой радикальный эксперимент на закате дней, было бы считанное число, а для второго и третьего поколений родина их отцов — просто семейная ностальгия. Их Родина там, где они родились, выросли, учились и работают, там где их семьи, политические и экономические интересы.

Тогда, в первой половине сороковых годов, была реальная возможность этого "домой", настолько реальная, что сейчас, оглядываясь назад с "высоты времени" и охватывая взглядом всю панораму событий, становится ясным, как опрометчиво эта возможность, предоставленная историей на короткое время, не была использована всем сообществом свободных демократий — и самими нами. Вторая Мировая война закончилась полной победой над гитлеровской Германией, но и полным проигрышем сталинскому Советскому Союзу — и в прямом и в переносном значении этих слов.

Западные демократии к середине 1945 года по очереди уничтожили три из четырех тоталитарных государств с однопартийной антидемократической системами управления и структурой власти: фашистскую Италию, нацистскую Германию и самурайскую империалистическую Японию, но одновременно непомерно увеличили мощь и мировое положение антидемократического режима — Советского Союза, отдав под его власть половину Европы и закрепив за ним порабощённые Балтийские государства и западную Галицийскую Украину. Кроме того, для СССР после войны оказалось вполне возможным легально распространить свою агентуру во все уголки мира для систематической подрывной работы против стран — его недавних военных союзников. В довершение ко всему, теми же западными демократиями, и в первую очередь Соединёнными Штатами, был фактически создан и другой коммунистический гигант: Красный Китай Мао Цзе Дуна!

Цена, уплаченная победителями за военную победу, была невероятно высокой по количеству человеческих жизней, по разрушениям городов, промышленности, по прямым и косвенным затратам. Столь же дорого заплатили за своё сопротивление побеждённые Германия и Япония.

Сейчас, почти через 40 лет, становится ясным, сколь бес-

смысленны были принесенные жертвы т. н. Свободного мира в борьбе со сравнительно "маленьким злом", если в результате было укреплено "большое зло", вот уже 35 лет разъедающее тело этого Свободного мира, как злокачественная раковая опухоль. Определения "маленькое" или "большое" зло, конечно, относительны. Размеры зла в данном случае оцениваются по эффекту, какой это "зло" оказывает на жизнь народов нашей планеты и, в конечном итоге, простым количественным сравнением последствий этих зол во временном протяжении.

Философия гитлеровского нацизма, по своей сути, была мертворожденной в смысле возможности ее распространения даже в Европе и не имела никакого будущего в странах Азии, Африки и Америки. Для Европы она сулила только политическое и экономическое порабощение. Открытая проповедь расовой ненависти, идея уничтожения целых народов, доминирования какой-то избранной этнической группы, представляющей незначительный процент мирового населения, над всеми другими народами не могла бы, даже временно, привлечь широкие симпатии вне границ Германии. Даже на самой родине нацизма значительная часть населения, в особенности интеллигенция, с самого начала прихода нацистов к власти была в оппозиции к режиму. Гестапо, будучи лишь слабой копией ГПУ или НКВД, не смогло бы в мирное время на длительный срок удерживать полный контроль над населением, привыкшим к свободному общению со всеми странами Европы. То, что можно было сравнительно легко делать ГПУ на востоке Европы, для гестапо было бы почти невысказано.

Но марксистский коммунизм, и особенно его ленинская интерпретация, с лозунгами "Пролетарии всех стран соединяйтесь", "Мир хижинам, война дворцам", "Грабь награбленное" — интернациональны, не имеют никакого расового привкуса. Эти лозунги воспламеняюще действовали и продолжают действовать на воображение малоразвитых масс во многих странах мира, особенно там, где резкая разница в распределении богатства остро ощутима. Там — прекрасная почва для зёрен пропаганды, разбрасываемых умелыми руками "сеятелей" из Кремля. И не только эти массы нищих Третьего Мира подвержены заражению. Идеи коммунистического "равенства и братства"

имели и все еще имеют привлекательность для либерально настроенных кругов западной интеллигенции. В этих кругах до сих пор живет симпатия к общей идее марксизма-ленинизма, даже если они и не вполне согласны с методами распространения марксистских идей, используемыми Москвой, например, в Венгрии, Польше или Афганистане. Неудовлетворённые структурой и общественными отношениями современного капиталистического общества, представители этих кругов возлагают свои надежды на социализм, становясь вольными или невольными сообщниками кремлёвских преступников. Германский национал-социализм был отрывкой средневековья, тогда как советский коммунистический интернациональный социализм вполне современен.

Сравнивая прямую моральную ответственность гитлеровской Германии 1933-1945 годов с таковой же ответственностью Советского Союза, начиная с Ленина и кончая Андроповым, за время с 1917 по 1983 год, нетрудно увидеть, какое "зло" больше. Статистические данные количества мирных жертв, вещь, конечно, далеко неточная и относительная, но всё же общие округлённые цифры в исторической литературе можно найти. Так, за время владычества немецкого национал-социализма, т. е. за 12 лет, по самым максимальным и, вероятно, несколько преувеличенным данным, погибло около восьми миллионов человек мирных жителей на территории Германии и части Европы, попавшей под нацистский контроль. Количество же мирных жертв за время владычества коммунистов, от Ленина и до наших дней, т. е. за 65 лет, исчисляется примерно в 80 миллионов человек, причем на территориях, разбросанных по всему земному шару. И это — по самым минимальным подсчётам, без сомнения, преуменьшенным ввиду трудностей получения достоверной информации из стран, которыми правят коммунисты.

Совместная вооружённая борьба и стремление уничтожить общего врага объединили в одном военном лагере свободные демократии с социалистическим тоталитаризмом. Это, по своей сути противоестественное объединение двух непримиримых врагов против третьего, общего, заставило на время забыть то, что предшествовало этому моменту, а также то, чего следовало ожидать после окончания войны. Нацизм погиб, оставив по себе

страшные воспоминания во всём мире и чувство национального стыда на своей родине. Но марксизм-ленинизм продолжает жить, развиваться, захватывать новые территории, совершать новые преступления, которым пока не видно конца. И некому остановить его продвижение. Сейчас Советский Союз имеет свои военные части или армии своих вассалов, а также многочисленные группы военных советников и инструкторов в 28 странах Европы, Азии, Африки, Южной и Центральной Америки. Его морской флот бороздит все океаны, его авиация летает в воздушном пространстве всех континентов.

Вернёмся к тому краткому моменту истории, который, будучи правильно понят и решительно использован антикоммунистическими руководителями свободных стран, если бы они имели дар политического прогноза, дал бы шанс полностью уничтожить и эту четвертую тоталитарную античеловеческую систему, пережившую Вторую мировую войну и разросшуюся в "большое" зло в результате уничтожения "малого". Безусловно, такой момент был — в середине 1944 года. Но прежде вспомним историю первых месяцев войны между Советским Союзом и гитлеровской Германией.

Когда 22 июня 1941 года Германия, открыв Второй Европейский фронт, привела в действие "План Барбароссы" и перешла границы СССР на всём их европейском протяжении от Чёрного до Балтийского морей, существовали все условия для того, чтобы коммунистическая власть в СССР была уничтожена. Советское правительство находилось в состоянии паники. Красная Армия беспорядочно отступала, бросая оружие; многомиллионная армия солдат и офицеров оказалась в плену. Авиация была почти полностью уничтожена. Многие крупные части Красной Армии сдавались в плен без боя, добровольно переходя к врагу. Значительный процент сдавшихся был готов снова взять оружие и идти добивать советскую власть. Всюду на огромной территории, включавшей важнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы с населением в 70 миллионов человек, немцев встречали как освободителей, часто с хлебом и солью и с цветами. Среди населения господствовали антикоммунистические и антисоветские настроения, а на территориях недавно присоединённых к СССР Литвы, Латвии, Эстонии, Западной

Украины ненависть к красным захватчикам вообще была всеобщей. В европейских странах, находившихся под контролем немцев, было большое количество представителей антибольшевистской российской эмиграции 1918-1920 годов со своими сильными, сплочёнными и хорошо организованными военными союзами и группами. У всех этих антисоветских сил был временный союзник — по тем временам самая мощная, наилучшим образом организованная и вооружённая немецкая военная машина. В целом, это была потенциальная сила таких размеров, что, при правильном и своевременном использовании всех ее компонентов, победа над коммунизмом на просторах бывшей Российской Империи могла быть обеспечена почти на 100%. Союзники, Англия и Франция, были полуразбиты, вся индустрия центральной Европы работала на немцев, румынская нефть была в их руках, а Америка все еще оставалась нейтральной.

Немцам оставалось выполнить последнее условие, обеспечивающее возможность использования всей этой силы, — проявить себя в первые месяцы войны, действительными освободителями и друзьями поработенных народов. Но у немцев, ослеплённых своими успехами, не было никаких сомнений в том, что конец 1941 года будет концом "операции Барбаросса", и Советский Союз капитулирует после падения Москвы и Ленинграда. Абсолютно уверенные в успехе, они не только не думали о привлечении на свою сторону симпатий населения, но отвергали всякое сотрудничество с его представителями. Слова под портретом Гитлера, во множестве распространяемое на всех занятых территориях, "Гитлер-освободитель", превратились в злобную насмешку над освобожденным от "иудео-коммунизма" и попавшим под сапог эсесовского национал-социализма населением. Возникшее во Львове "Правительство Освобождённой Украины" было немедленно в полном составе арестовано и все его члены погибли в гестаповских тюрьмах. В Прибалтике немцы совершенно откровенно говорили, что после войны большое количество земель будет подарено немецким ветеранам в награду за их участие в боях. Любые организации на "освобождённых" землях, на волосок отклоняющиеся от директив Гитлера, уничтожались с нацистской жестокостью. На Украине издевательства над пленными на виду у всего населе-

ния, репрессии, карательные экспедиции, расстрелы заложников, киевский "Бабий Яр" и прочие "освободительные акции" оккупантов поставили точки над всеми "i". Восторг от "освобождения" быстро сменился, сперва — чувством горечи и выжидания, а потом стала накапливаться прямая ненависть к немцам. Вся политика гитлеровских гаулейтеров на оккупированной части СССР была сплошной глупостью, непониманием хода событий и косвенно способствовала укреплению советской коммунистической власти. Свой энкаведист стал казаться лучше немецкого гестаповца. Недаром Сталин, в день первого юбилея победы, на банкете в 1946 году, сказал, что первый орден за победу над Германией должен быть выдан Розенбергу.

Германия проиграла войну на Востоке тогда, когда 31 января 1943 года фельдмаршал Паулюс со своей армией в 350 тысяч человек капитулировал в Сталинграде, а на Западе — в момент захвата англо-американскими войсками Сицилии в августе того же года. Всё остальное время, до середины 1945 года, это была только всё углубляющаяся агония поражения. Немцы потеряли свою уверенность и скатывались в бездну трагической безнадёжности. Между нацией и её "фюрером" образовалась пропасть, расширявшаяся с каждым новым известием об отступлениях и поражениях. Чувство обречённости проникло даже в армию. Психологическая готовность немцев принять поражение увеличивалась, так же как и цена, которую они были готовы заплатить за прекращение террора союзной авиации и огромное количество жертв на фронтах и в самой стране.

По разным причинам, но с одной целью установить непосредственный контакт и начать переговоры с союзниками, представители нацистской верхушки начали искать возможные пути и подходящих лиц. Эти попытки начались ещё в начале 1941 года, когда Рудольф Гесс спустился на парашюте в Англии и встретился с представителями министерства иностранных дел — Киркпатриком и Симоном, а кончились в апреле 1945 года просьбой Гиммлера начать переговоры при посредничестве шведского графа Бернадотта.

Когда Гесс оказался в Англии, Гитлер объявил, что Гесс — душевнобольной человек. Но это официальное сообщение было

выпущено примерно через месяц после того, как выяснилось, что миссия Гесса оказалась неудачной и англичане не хотят начать переговоры с Германией о перемирии, которое Гитлер хотел заключить перед началом плана "Барбаросса".

Насколько многие военные руководители немецкой армии были против сумасшедшей стратегии, тактики и политики Гитлера, показывает то, что с начала 1943 года военными было организовано не менее шести покушений на жизнь Гитлера, включая последнее, почти успешное, когда полковник граф Клаус фон Штауффенберг 20-го июля 1944 года положил бомбу рядом с Гитлером. В этом заговоре участвовал даже герой нацистской Германии, фельдмаршал Э. Роммель.

Всё это хорошо известно. Но также известно и то, что Рузвельт и Черчилль категорически не желали никаких переговоров о мире. Они были полны решимости разгромить Германию! Это их стремление полностью уничтожить Германию тщательно и последовательно подогревалось Москвой. Сталин имел свою разработанную программу уже в Тегеране, и в Ялте он начал проводить ее в жизнь. Черчилль, как более дальновидный политик, предлагал установить "забор" между Советским Союзом и освобождённой Европой, но его план высадки союзных войск на севере, в Польше, и на юге, в Греции, был успешно опротестован Сталиным. В конечном итоге, был принят план открытия Второго фронта, предложенный Сталиным. Восточная Европа была отдана в руки Сталина и даже честь взятия Берлина тоже была предоставлена Красной Армии.

В конце 1942 года произошло событие первостепенной важности, привлекшее пристальное — и нервное — внимание советского руководства, но мало замеченное в Лондоне и Вашингтоне. Генерал-лейтенант Андрей Власов, герой обороны Москвы, попавший в плен к немцам 12 июля, объявил о своей готовности сотрудничать с Германией для ликвидации коммунистической власти в СССР. Это выступление заслуженного советского генерала, члена партии и героя "Отчественной войны" могло иметь для коммунистов катастрофические последствия. Катастрофичность этого события для Советского Союза заключалась не столько в факте измены одного из главных руководителей и командиров Красной Армии и в том, что к нему один за

другим стали присоединяться другие советские генералы, оказавшиеся в плену у немцев — Малышкин, Жиленков, Трухин, Боярский и многие другие, — но в том, что эта измена и нарушение присяги приобрели неожиданную массовость.

Поддержка идеи Власова о необходимости использовать уникальную историческую возможность свалить с пьедестала коммунистического колосса с помощью немецкой военной машины пришла со стороны именно тех, кто, казалось бы, больше всего пострадал от немецкого вторжения. Эту возможность инстинктивно поняли офицеры и солдаты в лагерях для военнопленных, "остарбайтеры", добровольно уехавшие или насильно мобилизованные для работы в Германии, и значительный процент населения оккупированных немцами территорий Советского Союза. Для всех них, в большинстве своем выросших уже при советской власти, ровесников Октября, или родившихся после революции, не было никакого сомнения в том, какое зло — больше. И вся эта масса согласилась временно принять помощь "зла малого", чтобы раз и навсегда расстаться со "злом большим".

Они проиграли, но история показала, что их выбор был правильным. Гитлеровская временная оккупация просторов от Балтики до Тихого океана и от полярных берегов Сибири до склонов Памира, планируемый ими политический контроль над жизнью 230-миллионного многонационального населения были, конечно, чистой утопией, и всех тех, кто участвовал в "Движении за освобождение России" это не беспокоило. Кооперация с нацизмом понималась как необходимая плата за помощь в достижении главной цели. С падением советской власти и организацией нового антикоммунистического правительства, пути нацизма и возрожденной, освобожденной от ига коммунизма страны резко бы разошлись. В то же время победа большого зла над малым была чревата быстрым ростом советского престижа и влияния во всём мире и, конечно, безвозвратной потерей возможности вернуться на родину. Замечательно, что чем больше сгущались тучи над немцами, чем меньше достижение цели казалось возможным, тем больше увеличивался приток добровольцев в ряды военных сил Освободительного Движения, в РОА. На своём пути с пункта форми-

рования в Мюнцингене до линии Восточного фронта 1-я дивизия РОА генерала Буняченко увеличилась почти на 30% за счёт добровольцев из лагерей для военнопленных и рабочих бригад "остарбайтеров". И это было в последние недели войны!

Теперь, "за далью лет" совершенно ясны причины гибели всего дела Власова, этого кусочка истории, который писательница Ирина Сабурова назвала "трагической феерией РОА". Вполне вероятно, что если бы документ, вошедший в историю под именем "Пражского Манифеста", подписанного и обнародованного 14-го ноября 1944 года, был оглашен на два года раньше — и не в Праге, а в Киеве или каком-либо другом большом городе на оккупированной территории, то и история войны 1941-1945 годов была бы написана совершенно иначе.

Среди сравнительно малочисленной литературы о истории возникновения, развития и гибели "Движения сопротивления народов России диктатуре коммунизма" во время Второй мировой войны, две книги, посвященные истории генерала Власова, Комитета Освобождения Народов России, т. н. КОНР'а и истории Русской Освободительной Армии, или, сокращённо, РОА, представляют особый интерес. Первая книга, "Власов", принадлежит перу Свена Стеенберга, впервые издана на немецком языке в 1968 г., переведена на английский в 1970 и, наконец, появилась на русском языке в переводе Ирины Сабуровой в 1974 г. Потребовалось шесть лет, чтобы эта книга была переведена на язык тех, о ком она написана! Вторая книга написана чешским историком Станиславом Ауски и появилась на русском языке сравнительно недавно, в 1982 г., под названием "Предательство и измена". Авторы обеих книг, в особенности Ауски, имели возможность использовать для своих изысканий уже рассекреченные оригинальные архивные документы.

Станислав Ауски в предисловии к своей книге пишет: "К сожалению, в эмиграции не удалось сосредоточить историю Движения в одном общем труде, как это удалось осуществить Белой эмиграции после Первой мировой войны, когда, за период с 1920-го по 1937-й годы, она издала в Берлине труд, состоящий из 22 томов под названием "Архив Русской Революции". Отдельные авторы публикуют монографии о Движении генерала А. А. Власова, но общая картина не была отобразена ни в одной из

публикующихся книг, и я сомневаюсь, что когда-либо удастся опубликовать всеохватывающий труд”.

Надо полагать, что пессимизм Ауски вполне оправдан всей историей нашей второй эмиграции. Слишком различны были сами условия эмиграции, как процесса, а также настроения в тех странах, куда массы второй эмиграции попадали, равно как и психологическое состояние тех представителей этой эмиграции, кто был потенциально способен предпринять большую работу по регистрации исторической правды. Если первая эмиграция была более или менее объединена, организована и полна до поры надежд на временность своего положения, то вторая была разрознена на многочисленные, часто враждебные группы, свободно преследуемые агентурой НКВД по всему миру, и, что главное, не имела никаких иллюзий и надежд на будущее. Вторая волна эмиграции уже была абсолютно уверена, что возврат на родину для нее исторически невозможен.

Зарождение, развитие и гибель Освободительного Движения являются очень важным эпизодом в истории борьбы подсоветских народов против диктатуры коммунистической партии. Явлением, старательно затушевываемым, преуменьшаемым и часто совершенно игнорируемым во многих исторических работах, касающихся всего периода Второй Мировой войны. Свен Стеенберг в начале своей книги указывает: “Дело Власова увлекает ещё и потому, что, знакомясь с ним, становятся понятны чаяния и стремления к свободе народов России, потому что те 60-70 миллионов жителей Советского Союза, которые оказались вне досягаемости Сталина, полностью поддерживали идеи Освободительного Движения и Пражского Манифеста, провозглашённого генералом Власовым, и готовы были за них бороться. Имя Андрея Андреевича Власова стало символом”.

Это безусловно правильно и если бы другие миллионы подсоветских рабов оказались вне досягаемости Сталина, то и они поддержали бы эти идеи освобождения от рабства. Станислав Ауски подтверждает ту же мысль: “Движение, которое во время войны возглавил генерал Андрей Андреевич Власов, было проявлением политического сопротивления сталинской диктатуре и целью этого Движения было её свержение при помощи вооружённых сил”. Когда Власов пришёл к мысли о необходи-

мости использовать уникальные исторические обстоятельства для свержения советской власти, второй его мыслью, конечно, было "как?". И ответ был только один: организация вооружённых антикоммунистических сил. Людей было достаточно, но чтобы этих людей превратить в армию, их нужно было одеть, обуть, накормить, дать им современное оружие, и в достаточном количестве, для борьбы. Нужны были танки, артиллерия, авиация, транспорт, связь и многое другое. Единственным источником снабжения всем необходимым была Германия; другой возможности в то время капризная госпожа История не представила. Свободный демократический мир оказался союзником тоталитарного коммунизма. Если бы на переломе 44 и 45 годов у Власова было не две дивизии, а 22, то с Гитлером можно было бы договориться; со Сталиным, конечно — нет. Такая сила в руках Власова или КОНР'а была бы страшна для Гитлера.

Нацистская верхушка Германии согласилась с доводами целого ряда военных руководителей Вермахта о необходимости дать возможность Власову начать организацию Освободительного Движения и РОА, но только — в пропагандистских целях. Стеенберг указывает: "Поведение Гитлера, в сущности, было последовательным. Он никогда не собирался изменять своих планов колонизации России и создание национального русского правительства и русской освободительной армии казалось ему опасным шагом, так как это правительство и армия могли вернуться против немцев в тот момент, когда бы им стало ясно, что задумано не освобождение России, а её порабощение". Генерал Йодль выразил ту же мысль с предельной ясностью: "Я не намерен собственными руками помогать организации и вооружать тех, кто в будущем будут нашими смертельными врагами". И Гитлер и Йодль не понимали одного, главного — без союза с освободившимися из-под ярма коммунизма народами России у них никакого будущего не было. Борьба между нацистскими догматиками в руководстве партии и более трезво мыслящими кругами в правительстве и Вермахте привела к победе последних, когда 14-го ноября 1944 года в 3 часа дня в знаменитом зале Градчан в Праге состоялось торжественное провозглашение Манифеста. Все эти этапы борьбы на самых верхах Германии прекрасно и последовательно описаны в цитируемой книге

Стеенберга "Власов".

Путь самого Власова и его ближайших сотрудников в КОНР'е и в командовании РОА был трудным; их положение часто казалось совершенно безнадёжным, требовало упорства, храбрости и высокой принципиальности. Самый текст Манифеста подтвердил, в конечном итоге, что российские интересы были полностью соблюдены и не были принесены, ни в одном пункте, в жертву интересам гитлеровской Германии. В этом документе ни одним словом не был упомянут Гитлер и национал-социализм. Только в самом начале Манифеста была сделана некоторая уступка немцам: *"Происходящая мировая война является смертельной борьбой противоположных политических систем. Борются силы империализма во главе с плутократами Англии и США, величие которых строится на угнетении и эксплуатации других стран и народов. Борются силы интернационала, во главе с кликой Сталина, мечтающей о мировой революции и уничтожении национальной независимости других стран и народов. Борются свободолюбивые народы, жаждущие жить своей жизнью, определённой их собственным историческим и национальным развитием."*

Вся эта фраза, хотя она и имела мало приверженцев среди составителей Манифеста, была принята под давлением момента. Но зато во всем документе неоднократно подчёркивается, что будущая Российская Федерация, могущая возникнуть на развалинах СССР, ни в коем случае не намерена следовать опыту нацистской Германии, а будет иметь совсем другую политическую и социально-философскую структуру. В конце Манифеста указано: *"Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины. Эта помощь сейчас является единственной реальной возможностью организовать вооружённую борьбу против сталинской клики"*.

По иронии судьбы победа Освободительного Движения и его создателя, генерала Власова, над тупым догматизмом нацизма пришла тогда, когда "единственная реальная помощь" оказалась нереальной, Германия билась в агонии поражения. "Пражская победа" уже не смогла предотвратить гибели идеи Движения, РОА и самого Власова. Гибели всех надежд и упова-

ний российских антикоммунистических сил, нескольких миллионов подсоветских граждан, оказавшихся на короткое время вне досягаемости Сталина, и физической, полной трагизма гибели многих тысяч из тех, кто посмел поднять оружие против власти узурпаторов в Кремле, посвящена работа Станислава Ауски "Предательство и измена." Эти люди оказались преданными дважды. Сталин предал своих солдат когда, отказавшись подписать Международную Конвенцию Красного Креста о военнопленных, он заявил: "Советский солдат даёт присягу бороться до последней капли крови и до последнего своего вздоха. Если он, живой, оказался в плену, то он — предатель и изменник, и нас не интересует". Эти оставшиеся в живых солдаты были вторично преданы немецкой тупостью и союзнической глупостью в тот исторический момент, когда решался вопрос: какое "зло" больше и для кого? Заканчивая свою книгу "Власов", Свен Стеенберг делает правильное заключение. "Человек, выданный 12 мая 1945 года советским палачам, был только уже тенью того, в ком прежде горела такая воля к жизни и действию. Трудно представить, через какие муки он прошёл, прежде чем рука палача прекратила его физическую жизнь. Но его короткая жизнь была связана с тем редчайшим мгновением, когда пульс истории, казалось бы, останавливается на миг, когда может начаться новый импульс, несущий новый ритм, который, если он будет осознан и схвачен, даст новое содержание и новую жизнь целым поколениям. Сталинская эра принадлежит истории. Власов, Русское Освободительное Движение и Русская Освободительная Армия были следствиями сталинской власти. Они — часть того непреодоленного прошлого, которое и сейчас существует для Советского Союза. И кроме того, они — немой, но вечный укор свободному миру, который их не понял, не хотел понять и обрек их на гибель".

Судьба РОА и Власова — укор всему свободному миру, не понявшему или, возможно, не желавшему понять исторической несоразмерности "зла Гитлера" и "зла Сталина". Но еще больше это укор нам, россиянам, в рассеянии сущим. В данном случае определение "россияне" имеет чисто географический собирательный смысл и относится ко всем этническим группам населения, составившим Российскую Империю в прошлом или

Советский Союз в настоящем. Идея Освободительного Движения нашла широкую действительную поддержку только среди части русской антикоммунистической эмиграции, большинства военнопленных и населения Белоруссии, Украины и Великой России, попавшего под нацистскую оккупацию. Остальные группы "россиян", разбросанных по всему миру, и целый ряд националистически настроенных антисоветских организаций отнеслись к Власову с недоверием или с враждебной предубежденностью.

Только в начале 1945 года отношение к Власову и КОНР'у начало изменяться к лучшему, но это изменение настроений уже ничему не могло помочь, исход борьбы уже был полностью предreshён.

К сожалению, для большинства белой эмиграции 18-21 годов в европейских странах, находившихся под контролем Гитлера, Власов и его ближайшие соратники были не вызывающими доверия "советскими генералами, партийцами, только недавно порвавшими свои красные книжечки". Кроме того, отрицание идеи "Единой и Неделимой", цементирувавшей осевшую на Западе эмиграцию, конечно, также не приветствовалось в этих кругах. Провозглашённое в Пражском Манифесте "равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность", также не соответствовало политической философии большей части первой эмиграции. Нужно сказать, что и среди руководства Движения по отношению к представителям белой эмиграции тоже чувствовался "холодок" и скептицизм. "Нафталином посыпанные", — называли их в верхах Организационного Комитета по подготовке Манифеста.

Тот, кто ушел из погибающей Российской Империи в 18-21 годах, ушел под знамёнами, на которых было начертано: "За Единую и Неделимую Православную Россию". Тот, кто ушел из Советского Союза в 43-45 годах, прекрасно знал, что этот лозунг уже непригоден для будущего. Двадцатипятилетнее существование СССР сделало своё дело.

Эта разница в представлении будущего являлась большим камнем преткновения на путях сотрудничества двух волн эмиграции. Сильное развитие национального самосознания, даже в

пределах второй волны эмиграции, также было фактором, разъединяющим общий антисоветский, антикоммунистический фронт. Ауски пишет: "Внутренние разногласия многонационального государства были главной преградой и на пути Движения за Освобождение России. Ненависть к центральному правительству была настолько вжитой и сильной, что участники Движения сопротивления других национальностей не хотели объединиться с генералом Власовым, чтобы вместе бороться с общим врагом."

"Украинская Повстанческая Армия" была убеждена, что "краше з чёртом побрататься, ніж з москалём поздороватся!" Представители УПА, Бандера и Мельник, заявили, что они могут сотрудничать с Власовым только при условии официальной прокламации о том, что "Украинский Освободительный Комитет" признаётся правительством будущей освобождённой Украины. Руководитель кавказских антисоветских группировок, грузин Кедия заявил: "Я предпочитаю иметь Сталина впереди себя, чем Власова сзади". Белорусские военные организации отказались подчиняться Власову и самостоятельно вели переговоры с немцами. Слова Власова, что со Сталиным нельзя бороться "растопыренными пальцами, а только сжатым кулаком" теоретически признавались всеми "растопыренными пальцами", упрямо не желавшими сжаться в "кулак". Для немцев Власов, объединяющий все антикоммунистические силы, был не только нежелателен, но и опасен. Десяток же маленьких "власовых", ненавидящих друг друга, был им желательнее и удобнее для пропагандных целей. С одним "общим Власовым" нужно было осторожно договариваться и идти на компромиссы. Десятку "власовых", представляющих мелкие группки, можно было приказывать и полностью контролировать их деятельность. Немцы широко использовали национальную рознь всей массы восставших против советской власти. Они старались формировать воинские части по чисто национальному принципу, науськивая национальные объединения друг против друга, разжигая национальный шовинизм. Старое правило "разделяй и властвуй" было умело применяемо на практике Гитлером, Розенбергом, Борманом и прочими. Всё это разлагало Движение внутри всё сжимающегося кольца фронтов.

Вне этого кольца дела "российских" сил сопротивления ком-

мунизму обстояли ещё хуже. Почти поголовно вся российская эмиграция в Англии, Франции, Америке и во многих других странах рассеяния безоговорочно встала на позиции антигитлеровские и антивласовские, отождествляя власовское движение с нацизмом и определяя Власова как союзника Гитлера. Антикоммунистическая российская эмиграция превратилась в очень ценного для коммунизма соратника в борьбе против его страшного врага антикоммунизма подсоветских граждан, освободившихся от контроля НКВД. Ведь для многих тогда нападение немцев на Советский Союз представлялось нападением на Россию! А Россию нужно защищать даже и в том случае, если она была в руках Сталина и его Политбюро... Нацисты и власовцы погибли, а Россия по-прежнему осталась в тех же грязных руках — если не Сталина, то Андропова. Прекрасный пример "арифметической" ошибки при определении размеров "зла" во времени и пространстве!

Враги коммунизма и люди, пожертвовавшие своими жизнями во имя освобождения России от советского рабского ярма, оказались зачисленными в категорию врагов этой несчастной России, так до сих пор и не могущей освободиться от своего несчастья. А если бы...

Если бы где-то в период времени между серединой 43 и серединой 44 годов, Англия и Соединённые Штаты смогли бы, наконец, правильно оценить в перспективе будущего относительные размеры нацистского и коммунистического "зол" и внимательно, без слепого предубеждения, прислушаться к сигналам гибнувшей Германии.

Если бы эта погибающая Германия, "Третий Рейх" приняла полностью и искренне предложения российских антикоммунистов и дала им необходимую материальную поддержку. Если бы вся антикоммунистическая российская эмиграция хоть на время отбросила в сторону свои эгоистические национальные претензии и узкопартийные интересы и сосредоточила внимание на главной цели — уничтожении коммунистической власти на своей Родине.

— То, по всей вероятности, история последних десятилетий выглядела бы совершенно по-иному. "Маленькое зло" было уничтожено, и постепенно, стало вырисовываться "большое зло" во

всём своём устрашающем объеме. В последние недели войны и первые месяцы после ее конца так хотелось верить, что Черчилль, Рузвельт и Трумэн не смогут решать судьбы послевоенного мира вместе со Сталиным, уступая ему на каждом шагу... Казалось таким логичным и таким желанным, что, используя исторический момент, они, эти верховные вожди свободного мира, продолжат борьбу и против тоталитаризма коммунистического. Но в июле 1945 года в Потсдаме союзники, победившие "малое зло", полностью сдались на милость "большого". Трумэн, заменивший умершего Рузвельта и лейборист Эттли подписали соглашения со Сталиным, фактически выполнив все его требования, в том числе санкционировав выдачу всех тех, кто боролся со Сталиным — в его сталинские руки, на месть и уничтожение.

Вторая Мировая война закончилась Нюрнбергским Трибуналом, явившимся последним логическим звеном в цепи: Тегеран — Ялта — Потсдам. За столом судей, разбиравших преступную деятельность виновников "малого зла", рядом с представителями свободного антикоммунистического мира сидели коммунистические "судьи" — представители непомерно "большого зла", сами — преступники в превосходящей степени.

За трагические ошибки тех, кто просчитался в исторической оценке "размеров зла", население земного шара, и в первую очередь все тот же Свободный Мир, расплачиваются вот уже почти 40 лет и с каждым годом эта плата продолжает возрастать.

Петр Палий

МАРКСИЗМ И КОНТРОЛЬ РОЖДАЕМОСТИ В СССР*

Выражение "контроль рождаемости" плохо звучит по-русски, тогда как в других языках имеет нейтральное, чисто описательное значение. Австралийский демограф Джон Ф. Бесемерес остроумно заметил, что в этом отношении советская история наложила свою печать на русский язык: если сказать по-русски "контроль рождаемости", то люди будут думать, будто имеются в виду бюрократы, сидящие под кроватью и следящие за стахановским воспроизводством в обстановке расцветающей плодовитости¹. Советские демографы (хотя, строго говоря, в СССР невозможны демографы, и, в точном смысле слова, их нет) выходят из положения, употребляя термин по-английски — "birth control". По-видимому, эти демографы, как и советская цензура, согласны с Бесемересом.

На деле, контроль рождаемости — это технический термин, противопоставляемый понятию "естественной плодовитости". Последняя означает биологический поток живорождений, характерный для данной популяции при отсутствии сознательного ограничения количества детей в семье². Возможны формы ограничения рождаемости, осуществляемые на надиндивидуальном популяционном уровне: например, религиозные посты

*Автор приносит большую благодарность своему ассистенту Питеру Рудольфу Мефферту за помощь в предварительных расчётах, проверявших работу выработанных методов, и Кингсли Дэйвису за постоянные и исключительно ценные научные консультации. Разумеется, ответственность за выраженные в статье взгляды и результаты лежит всецело на авторе.

(ослабляющие физическую плодовитость и ограничивающие периоды репродукции), откладывание браков до более позднего возраста женщин, традиция очень ранних браков (ослабляющая женскую плодовитость), традиция платных браков (приданое, калым, кайтарма), традиция браков молодых женщин с престарелыми мужчинами, многожество, многоженство, сословно-кастовые ограничения выбора брачных партнёров, чрезмерно продолжительное грудное кормление новорожденных (удлиняющее интервалы между зачатиями) и мн. др. С началом демографического перехода от высокой рождаемости к низкой, появилась такая полубессознательная — полусознательная форма контроля рождаемости, как миграция. В дореволюционной России и в первые годы после революции такой формой была сезонная миграция — отходничество. Интересно отметить, что "отходничество" часто переводится на английский язык так же, как "прерванное половое сношение" — "withdrawal". И, действительно, экономически и популяционно отходничество есть форма прерванного сношения и сокращения детности. Как проанализировал Кингсли Дейвис в своих классических работах, усвоение популяциями массовых переселений, особенно неполносемейных переселений (в города, в другие районы, в другие страны), как допустимой нормы социального поведения, было равнозначно первоначальному принятию противозачаточных средств как социальной нормы³.

В России демографическая транзикация к низкой рождаемости и соответственно низкой смертности была predeterminedена столыпинской аграрной реформой. Ликвидация общины и земельных наделов устранила необходимость иметь как можно больше мужских душ в семье и создала обстановку, в которой люди стали заботиться о как можно большем выживании детей. Дети оказались капиталовложением, человеческая жизнь в условиях частной собственности на землю приобрела экономическую ценность. Снижение рождаемости должно было привести к быстрому снижению смертности*, что, в свою очередь, повело

*Снижение смертности в России исторически совпало уже с послереволюционным периодом (если не считать массовых убийств и периодического голода). Среди западных специалистов предметом постоянной насмешки являются настойчивые утверждения советских демографов, что именно советская власть

бы к дальнейшему снижению рождаемости до оптимального уровня воспроизводства поколений (т. е. к нулевому приросту населения). В условиях динамического русского капитализма, особенно быстро растущей промышленности производства потребительских товаров, спрос на средства контроля рождаемости должен был привести к созданию контрацептивной промышленности и распространению знаний о контрацепции.

Русская общественность сделала характерный перекус в этом вопросе. Вместо агитации за производство противозачаточных средств и распространение знаний о них, съезд Пироговского общества в 1913 году и съезд русской секции Международного союза криминологов в 1914 году рекомендовали отменить закон, преследующий за производство искусственных абортов. Мотив такой рекомендации был основательным: нелегальные аборты распространялись все шире и приводили к медицинским осложнениям для здоровья женщин. Но приводились и типично демагогические выводы: не нужно рожать детей, если им предстоит жить при капитализме и царизме. Отдельные голоса, обосновывающие преимущества контрацепции, тонули в хоре противников⁴. Зато ещё никому тогда не известный Ленин сразу же отозвался на эти дебаты и в "Правде" от 16 июня 1913 года решительно сформулировал "последовательно марксистскую", т. е. диалектически-противоречивую позицию: а) надо "отменить законы, преследующие за аборты или за распространение медицинских сочинений о предохранительных мерах", б) надо "бороться против неомальтузианства", "искусственных мер, предохраняющих от зачатия"⁵. Трудно сказать, как эту диалектику восприняли читатели тогдашней "Правды". Всё это звучит, как условие игры " 'да' и 'нет' не говорите" (впрочем, и упомянутые общественные съезды прошли на немного более высоком уровне). Но марксистская антимальтузианская позиция, став через несколько лет демографической политикой социалистического государства, имела решающее значение для населения России.

привела к снижению смертности. Нас часто спрашивают, слышали ли советские авторы об изобретении антибиотиков и детских прививок, или о том, что смертность снизилась в XX веке в Азии, Африке, Латинской Америке. Мы отвечаем: но ведь советская власть могла и не разрешить пеницилин.

Для измерения контроля рождаемости, то есть индивидуального сознательного внутрисемейного регулирования числа детей, в современной западной демографии существует несколько способов. Мы пользуемся формулой, соединяющей три метода. Первый метод, выводимый из индекса Коула-Трасселла⁶, позволяет определить уровень естественной рождаемости для изучаемых популяций. Нужно найти максимальные значения рождаемости в возрастных группах женщин 15-19 и 20-24 лет, разделить их на пропорцию замужних женщин в данных группах, и по модельной таблице Коула-Трасселла вычислить брачную плодовитость в остальных возрастных группах, а также суммарное количество детей, приходящихся на замужнюю женщину синтетической когорты за весь плодовитый период 15-49 лет — при нулевом индексе отклонения от естественной рождаемости во всех возрастных группах. Для СССР нужные максимальные значения выводятся из уровня общесоветской рождаемости в 1938-39 годах в возрасте 15-19 лет и рождаемости таджиков в 1975-76 годах в возрасте 20-24 лет. Поскольку естественная рождаемость европейской расы выше монголоидной, распространение таджикских данных на все этнические популяции СССР даст нам довольно консервативный уровень естественной рождаемости, а именно 10,023 брачных живорождения. Это на 2-2,5 рождения ниже, чем у многих человеческих популяций, но выше, чем рассчитанные уровни естественной рождаемости до 1950-х годов у грузин (9,000) и коренных наций Средней Азии (9,144)⁷.

Второй метод представляет собой модификацию модели Джона Бонгаарта⁸. Модель позволяет (при модификации) объединить в закрытую формулу несколько переменных (разных для разных популяций этнических групп) и принятую нами выше постоянную естественной брачной рождаемости — 10,023. Ряд переменных получен из данных переписей и текущей статистики (преобразованной по простому методу Коула из данных по республикам СССР в данные по национальностям, с учётом поправок на недорегистрацию рождаемости⁹). Эти переменные: средний индекс брачности (его лучше рассчитывать

как пропорцию замужних в среднем возрасте деторождения, но для консервативности мы будем рассчитывать его по Бонгаартцу, как среднюю пропорцию замужних во всех плодovitых возрастах); суммарный коэффициент общей плодovitости (число детей, рождённых на среднюю женщину за плодovitый период, независимо от брачного состояния); индекс применения контрацепции (производное пропорции использующих контрацепцию на среднюю эффективность используемых методов контрацепции, на процент правильно использующих контрацепцию, на процент регулярности использования контрацепции); суммарный коэффициент абортов (число искусственных абортов, сделанных средней женщиной за плодovitый период; это число должно быть получено в итоге применения формулы); индекс патологического или повышенного вторичного бесплодия, вызванного искусственными абортами, венерическими и воспалительными болезнями женских органов, тяжёлыми и вредными работами (этот индекс рассчитывается по излагаемому ниже третьему методу).

Ещё одна постоянная, входящая во второй метод — величина 1,18. Это — рассчитанная Бонгаартцем по таблице естественной стерильности Луи Анри обратная величина средней пропорции женщин, плодоспособных в течение всего плодovitого периода 15-49 лет (дело в том, что, в среднем, в человеческих популяциях 15,25% женщин биологически бесплодно; это — средний процент, в 20 лет он ниже и нарастает с возрастом). И ещё одна постоянная — это величина 0,39015. Это — среднее число рождений, которое способен предотвратить один искусственный аборт (иными словами, из-за разности времени, уходящего на полное вынашивание и грудное кормление ребёнка, с одной стороны, и на вынашивание только до аборта, с другой, требуется 2,563 аборта, чтобы предотвратить одно рождение)¹⁰.

$$A = \frac{M \times (1 - 1,18 C) \times (10,023 - \frac{B}{M})}{0,39015 \times (1 + C)} \times (1 - I)$$

Здесь:

A — суммарный коэффициент искусственных абортов,

M — средний индекс брачности,

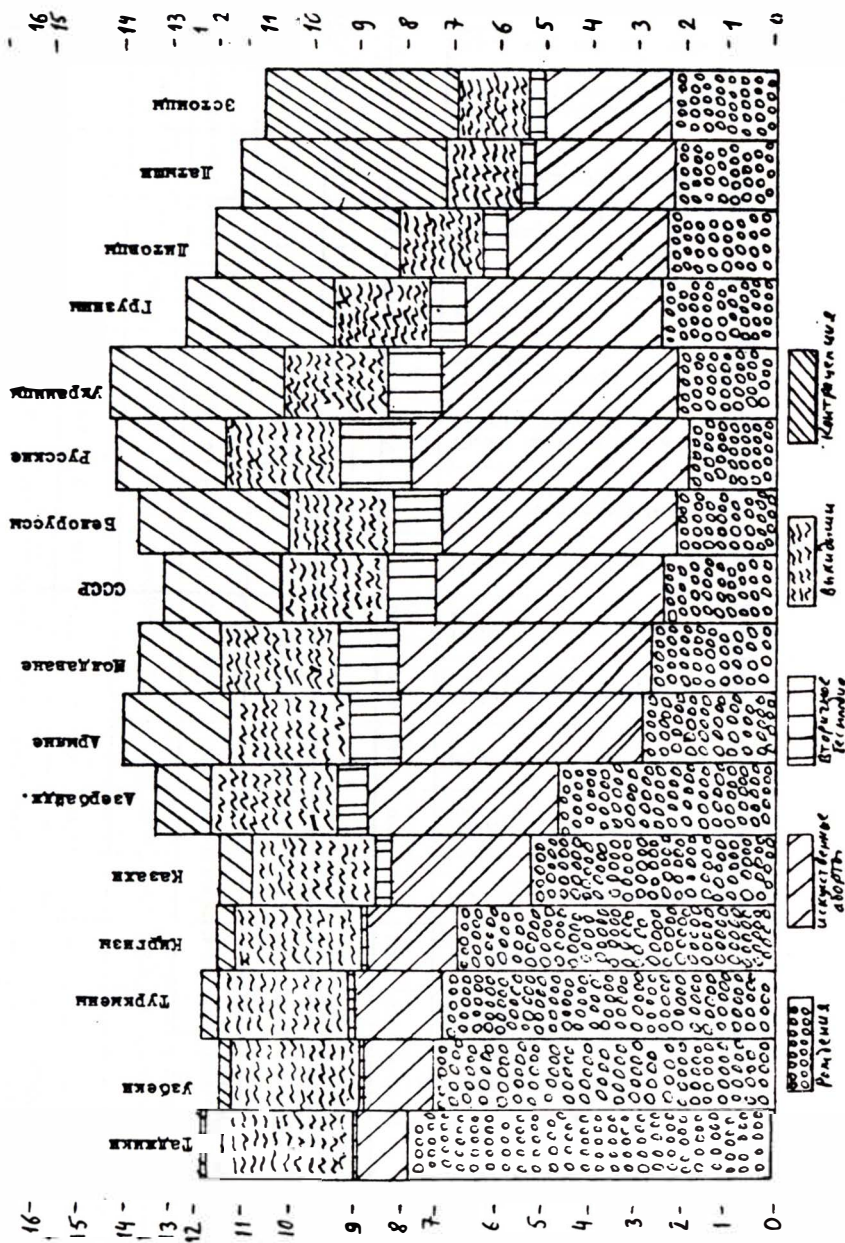
С — индекс применения контрацепции.

В — суммарный коэффициент общей плодовитости,

I — индекс повышенного вторичного бесплодия .

Для расчета последнего индекса разработан третий метод. Положим, нам известно число искусственных аборт, производимых в среднем на женщину данной популяции (на самом деле, нам оно неизвестно, так как для его расчёта применяется вышеприведенное уравнение, в которое индекс повышенного вторичного бесплодия входит в качестве одной из переменных; мы имеем систему уравнений с двумя неизвестными, и поскольку во второе уравнение входит интеграл величины результата первого уравнения, решение возможно только при помощи компьютера). Далее, нам нужно знать несколько постоянных и одну рассчитываемую переменную. Нам нужно знать пропорцию искусственных аборт, производимых относительно безвредными современными методами, каковые не вызывают патологического (повышенного сверх естественной возрастной нормы) вторичного бесплодия. Безвредные методы — это, прежде всего, вакуумное высасывание плода, а вредные методы, в первую очередь, — выскабливание полости матки кюреткой. Известно, что в отдельных случаях советская литература упоминает применение вакуумного метода, но большинство аборт делается в СССР, как в XIX веке, выскабливанием. В Польше и в Венгрии почти все аборт, делается кюреткой; в Венгрии 99,3% аборт, в 1974 году и 96,8% аборт, в 1975 году делались этим методом¹¹. Для консервативности примем, что в СССР только 85% аборт, делается кюреткой. Ещё нам нужно знать, насколько увеличивается пропорция повышенно вторично бесплодных женщин из-за венерических и воспалительных заболеваний. Официальный медицинский источник сообщает, что этот фактор приводит к 0,268 величины вторичного бесплодия, вызываемого аборт,ами¹². Поскольку эти данные относятся к началу 1960-х годов, примем консервативно, что из-за этого фактора в 1970-е годы индекс вторичного бесплодия увеличился только на 0,05. Затем нам нужно знать, насколько увеличивается повышенное вторичное бесплодие вследствие тяжёлых и вредных женских работ. В дальнейшем мы будем подробнее разбирать этот фактор, а здесь примем количественно, что он равен только 0,05.

КОНТРОЛЬ РОЖДАЕМОСТИ В СССР



РОЖДАЕМОСТЬ И КОНТРОЛЬ РОЖДАЕМОСТИ У СОВЕТСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП, 1958/59, 1965/66, 1969/70-1979/80.

Национальность	Годы	Суммарный коэффициент рождаемости	Средний индекс брачности	Кумулятивная брачная рождаемость	Использующие контрацепцию	Регулярность использования	Эффективность используемых методов	Правильность использования	Индекс контрацепции	Пропорция бесплодных из-за аборт. кюреткой	Индекс патологического вторичного бесплодия	Суммарный коэффициент абортов	Вторичным бесплодием	Контрацепцией	Спонтанные аборты (выкидыши)	Все беременности и прерванные рождения	Число абортов к числу рождений	Рожения, прерванные
																		вращенные
Русские	1958/59	2.522	0.571	4.417	0.600	0.250	0.750	0.200	0.022	0.228	0.214	6.115	1.662	0.428	2.683	13.716	2.425	
Русские	1965/66	2.060	0.571	3.573	0.750	0.333	0.800	0.300	0.060	0.240	0.225	6.412	1.861	1.167	2.625	14.105	3.143	
Русские	1975/76	1.856	0.571	3.250	0.760	0.500	0.825	0.400	0.125	0.221	0.207	5.950	1.554	2.409	2.425	14.194	3.206	
Украинцы	1969/71	2.063	0.594	3.473	0.790	0.667	0.875	0.485	0.210	0.186	0.174	5.118	1.081	3.773	2.231	14.266	2.681	
Украинцы	1979/80	2.107	0.575	3.664	0.750	0.667	0.825	0.460	0.190	0.184	0.172	5.056	1.054	3.262	2.225	13.704	2.400	
Литовцы	1969/70	2.301	0.539	4.269	0.800	0.875	0.825	0.515	0.298	0.123	0.115	3.518	0.458	3.973	1.807	12.057	1.529	
Литовцы	1979/80	2.152	0.516	4.171	0.800	1.000	0.825	0.535	0.352	0.104	0.097	3.021	0.327	4.392	1.607	11.499	1.404	

Теперь нам осталось узнать два показателя для второго уравнения. Нужно рассчитать коэффициент увеличения повышенного вторичного бесплодия в результате первого аборта, произведённого методом выскабливания. Сообщается, что в СССР от 5% до 8% женщин оказываются бесплодными после одного аборта (в среднем, то есть включая первые беременности и беременности после предшествующих родов)¹³. Тогда требуемый коэффициент равен $(-\ln(1 - 0,065)) = 0,0672$. Далее, нам надо узнать фактор увеличения в геометрической прогрессии повышенного вторичного бесплодия после каждого последующего аборта. На материале различных исследований, проведенных в больницах Японии, Сингапура, Гавайских островов, Бостона, Израиля, Калифорнии, а также в ряде больниц СССР, этот фактор рассчитан как 0,0941, и это — минимальное значение. Например, в Японии в 1960-е годы, когда суммарный коэффициент абортов был 3,6, женщины с историей искусственных абортов испытывали вторичное бесплодие в 46,7% случаев¹⁴. Пусть 15,25% женщин имеют естественное вторичное бесплодие и пусть 90% японских женщин имели аборт в анамнезе. Тогда

$$\ln \frac{\ln(1 - 0,3145)}{-0,0672 \cdot 4} / (4 - 1) = 0,1133.$$

Подставив все найденные и принятые выше данные, получаем индекс патологического (повышенного) вторичного бесплодия для СССР:

$$I = (0,85 \cdot 1,05 \cdot 1,05) \left[1 - \frac{\int_0^A e^{-0,0672 \cdot A} \cdot e^{0,0941(A-1)} dA}{A} \right]$$

Теперь достаточно запрограммировать значения интегралов для большого набора чисел абортов от 1 до 10, и первое уравнение легко решается. На основе соединения трёх описанных методов сделана приводимая таблица, а по ней график.

Полезное свойство данной модели из двух уравнений в том, что возможные ошибки в принятых допущениях взаимно компенсируются. Если индекс повышенного вторичного бесплодия окажется преувеличенным, то, по природе первого уравнения, суммарный коэффициент абортов выйдет заниженным. Если

какая-либо переменная в первом уравнении приводит к преувеличению суммарного коэффициента абортот, последний снижается в результате интегрирования за счёт увеличения индекса вторичного бесплодия.

Ещё раз отметим, что в данной статье приводятся минимальные результаты и по числу абортот и по вторичному бесплодию, так как в первом уравнении средний индекс брачности взят ниже реального (взята средняя пропорция замужних вместо пропорции замужних в среднем возрасте деторождения или пропорции когда-либо бывших замужем).

3

Теперь мы можем вернуться от абстракций к основной теме. Особенной чертой демографической транзигции от высокой рождаемости к низкой во всех марксистских странах, независимо от национальных традиций и уровня их экономического развития, является то, что транзигция к низкой рождаемости произошла или происходит без фундаментальной транзигции от абортот к контрацепции на поздних стадиях снижения рождаемости. Другие популяции, в немарксистских странах, злоупотребляли абортотами только на ранних стадиях снижения рождаемости, а затем перешли к контрацепции; например, в Японии этот переход имел характер подлинной революции в жизни людей и произошёл всего за несколько лет, с середины 1960-х до середины 1970-х годов. Таким образом, переход от старого семейного уклада к новому (к низкой смертности и низкой рождаемости) сначала принял неизбежные варварские формы (абортоты), но затем, по мере уменьшения числа детей в семье и, соответственно, по мере увеличения степени контроля рождаемости, люди нашли, что приходится делать слишком много абортот, чтобы предотвратить одно рождение (за период, приходящийся на одну беременность и одно кормление, надо сделать 2,5 абортот). Начался переход к контрацепции, то есть в XX веке произошёл переход от варварства к цивилизации в сфере семьи и отношений между полами¹⁵.

Это случилось везде, кроме марксистских стран. В марксистских же странах демографическая транзигция от высокой рожда-

емости к низкой обернулась распространением варварства и уродованием женщин. Аборт стал такой же неотъемлемой частью жизни, как грипп или рак, или как холера и чума в середине века. В марксистских странах ограничение числа детей в семье оказалось простой экспансией искусственных абортов, ограничиваемых только патологическим вторичным бесплодием женщин.

Правящая марксистская идеология является в этом отношении решающим фактором в предопределении антимальтузианской демографической политики. Парадоксально, но именно государственно-контролируемые экономические системы строили самую либеральную социально-демографическую политику на полном отказе от какого-либо институционализованного планирования размеров семьи¹⁶. СССР был первой страной в мире, которая в 1920 году легализовала аборты. В 1936 году они были запрещены, но из-за отсутствия контрацепции (которая тоже была фактически запрещена) всего лишь ушли в подполье. В 1955 году аборты в СССР были разрешены снова, но рождаемость от этого не упала: просто, аборты вышли из подполья. Вслед за СССР, то же произошло во всех восточноевропейских марксистских странах, кроме Албании, где аборты всё ещё находятся под запретом.

Во всех странах, переходящих к низкой рождаемости, государство или общественные организации, национальные и международные, учредили институты планирования семьи и поощрения контроля рождаемости (в Таиланде, например, бесплатно раздают презервативы и учат, как ими пользоваться). Советский Союз ещё в 1947 году в комиссии ООН по вопросам населения клеймил распространение контрацепции как "варварскую" политику, а в 1953 году Н. С. Хрущёв публично назвал контроль рождаемости "каннибализмом"¹⁷. Однако, вскоре СССР легализовал аборты, хотя цивилизованный контроль рождаемости по-прежнему остался, в марксистском понимании, формой варварства и насилия. Восстановление аборта было, в согласии с марксистской доктриной, подано не как форма контроля рождаемости, а как уравнение статуса женщин с мужчинами, как раскрепощение женщин от ненужных родов¹⁸. В 1966 году А. Н. Косыгин отказался от имени СССР подписать Хартию

Населения, выпущенную ООН и направленную на улучшение контроля рождаемости во всех странах мира. Мотивировка Косыгина была крайне либеральной: деторождение есть частное семейное дело, которое не должно быть объектом государственного, общественного или международного планирования¹⁹.

Советскую политику и марксистские заявления менее всего следует рассматривать как демагогические. Это, действительно, либеральная доктрина, как это парадоксально не звучит. Последовательная антимальтузианская марксистская политика опирается на ту идею, что никакого конфликта между экономическим ростом и ростом населения не существует и существовать не должно. Конфликт же якобы искусственно создается капитализмом, выдуман буржуазными мальтузианцами и должен быть преодолен социализацией экономики. Чем больше населения, тем больше рабочей силы, тем больше продукции и тем меньше голода и безработицы в условиях социализма. Чем больше населения при капитализме, тем больше безработицы и голода, и тем ближе социалистическая революция. В итоге, идеология и экономика марксизма, основанная на трудовой теории стоимости, занимает резко отрицательную позицию в отношении контроля рождаемости.

В то же самое время, марксистская экономическая политика направлена на всеобъемлющую мобилизацию людских, включая и женские, ресурсов в качестве рабочей силы. У марксистов все должны трудиться, и только таким путём женщины могут быть освобождены от демографического неравенства с мужчинами. Женщины должны быть освобождены от господства институционализированной семьи над их, женщин, индивидуальной свободой и над их социальным предназначением²⁰. Как видим, марксизм выдвигает экономически мотивированный, хотя и биологически утопический аспект: биологическое равенство мужчин и женщин, преодоление различия между мужчинами и женщинами, то есть (хотя это прямо не сформулировано) — преодоление деторождения.

Неограниченное деторождение — и преодоление деторождения. Такова "диалектика" марксизма.

В результате такого "диалектического" подхода марксистские государства вообще не имеют, в строгом смысле, понятия

демографической политики. Контроль рождаемости *не предлагается и не запрещается*, что предоставляет систему контроля рождаемости на произвол *требования, спроса*.

Теперь уже мы имеем дело с экономической моделью, которая легко объяснима. Спрос может быть встречен предложением в форме товара (противозачаточных средств) или в форме услуг (искусственных абортов). И того и другого недостаточно и оно плохого качества в экономике, нацеленной на преимущественное развитие тяжёлой промышленности. Но предложение услуг, требующих прежде всего трудовой силы (медиков, фельдшеров) и неодноразовых товаров (хирургические инструменты) в марксистской экономической системе осуществимо гораздо легче, чем дизайн, производство, реклама и распространение через торговую сеть одноразовых товаров (т. е. таблеток, внутриматочных спиралей и диафрагм, презервативов, химических составов, и т. п. средств контрацепции, кроме стерилизации).

Аборты, производимые в социализированной системе медицинского обеспечения, также более соответствуют марксистской идеологии, чем контрацепция — интимное, семейное дело, не поддающееся наблюдению и контролю государства. Контрацепция есть внутрисемейное планирование числа детей, при этом государство выступает только как помощник, а не как планирующий орган. Поэтому Косыгин и выступил от имени СССР против планирования семьи. Элемент государственного вмешательства присутствует уже в самом факте поощрения снижения числа детей, и марксизм выступает против этого. Государство не может контролировать половой акт, но может контролировать исход беременности, поскольку она уже состоялась. Крайний либерализм оборачивается крайней государственностью, и поэтому марксизм против контрацепции и за аборты. Наконец, аборты больше соответствуют революционной ментальности марксизма, тогда как контрацепция имеет характер распространения буржуазной модели поведения на низшие классы, обуржуазивания пролетариата в сфере семейного быта.

Однако, на практике система контроля рождаемости по требованию (по спросу), с преобладанием абортов над контра-

цепцией крайне дорогостояща для государства. Женские рабочие дни потеряны, а государство должно еще платить и за операцию. Между тем, производство и распространение контрацепции, как и любого другого одноразового товара, могло бы принести государству огромную финансовую выгоду, особенно государству социалистическому, произвольно назначающему цены и зарплату. Здесь мы имеем чистый случай господства доктринальной, идеологической системы над любыми практическими финансовыми соображениями.

4

Полнейшая неосведомлённость советских женщин и мужчин в вопросе контрацепции является первейшим результатом описанного выше положения вещей. В отношении контроля рождаемости СССР, одна из наиболее промышленно развитых стран мира, стоит далеко позади большинства слаборазвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно Всемирному Обзору Плодовитости (исследовательская экспедиция ООН), в 1970-е годы осведомлённость о противозачаточных средствах среди когда-либо бывших замужем женщин 15-49 лет была 100% на Фиджи и в Коста-Рике, 99% в Панаме и на Ямайке, 98% в Венесуэле, 97% в Доминиканской Республике, Иордании и Южной Корее, 96% в Таиланде, Колумбии, Парагвае и Гайане, 95% на Филиппинах, 92% в Малайзии, 91% в Кении и Шри Ланке, 90% в Сирии и Турции. Почти столь же всеохватывающий процент женщин был осведомлён о наиболее эффективных современных методах (таблетки и внутриматочные приспособления), хотя процент действительно использовавших эти методы варьировался²¹.

В СССР, в столичном городе Москве, в 1976 году, опрос замужних женщин, 40% из которых имели высшее образование и 58% являлись специалистами народного хозяйства, показал, что 80-90% ничего не знали о противозачаточных средствах, кроме методов календаря и прерванного сношения²². Фактор полнейшей неосведомленности в современной контрацепции является очень важным для понимания советского контроля рождаемости.

Советские статистические данные об использовании контрацепции, об эффективности контрацепции и о количестве абортотворений противоречат друг другу, если их проверять с точки зрения закрытых формул контроля рождаемости, данных выше. Например, в Латвии 78,8% на селе и 79,8% в городе из брачных пар используют контрацепцию с теоретической эффективностью 82,4%²³; средний суммарный коэффициент рождаемости в 1970-е годы был 2,152 детей на женщину, средний индекс брачности был 0,516 (по средней пропорции замужних) или 0,914 (по пропорции когда-либо замужних), но официальное отношение абортотворений к живорождениям дается от 1,4 до 2,0²⁴. Это значит, что суммарный коэффициент искусственных абортотворений должен быть от 3,0 до 4,3 за плодотворный период женщины. Если, тем не менее, индекс использования контрацепции и эффективность контрацепции были так высоки, как сообщают источники, суммарный коэффициент абортотворений должен был быть от 1,0 при втором варианте брачного индекса и 2,4 — при первом варианте (рассчитано по вышепредставленной модели). Значит, официально сообщаемые данные несовместимы.

Ту же несовместимость можно проследить на примере РСФСР. Сообщается, что более 60% женщин использовали контрацепцию с эффективностью 70-80% в различных районах республики²⁵. Но общий коэффициент беременностей на 100 человек населения был выше 5,5% в год²⁶, то есть близок к биологическому пределу для человеческих популяций. Около 90% женщин имели абортотворения в течение одного года²⁷ и от 6-7% до 15-16% имели повторные абортотворения в течение одного календарного года²⁸. Поскольку нужно более 2,5 абортотворений для предотвращения одного рождения в течение 2,25 календарных лет, то есть 1,1 абортотворение нужно в течение одного календарного года, и 1,0 абортотворение в год реально приходилось в год на женщину, то, согласно вышецитированным данным, можно заключить, что действительный индекс контрацепции в РСФСР был около нуля.

Если мы перейдем к Средней Азии, мы узнаем, что в 1970-е годы среди городских женщин-узбечек с высшим образованием около 25% использовали контрацепцию, но в течение 10 лет брака средняя женщина в группе имела 4 детей и 3,3 искусственных абортотворения²⁹. Это также означает, что индекс контрацепции

равен примерно нулю.

Таким образом, в СССР фактически меньше половины женщин, использующих противозачаточные средства, используют их а) регулярно и б) правильно. Нерегулярность удваивает число потерпевших провал при использовании (т. е. статистически половинит число реальных пользователей). Неправильное использование делает то же (т. е. половинит реальную эффективность). Подчеркнём простой, но исключительно важный пункт: то, что происходит, означает, что какой бы метод контрацепции не использовался женщинами и мужчинами в СССР, он используется не сам по себе, согласно собственным правилам, но в комбинации с методом биологического ритма, сведённого к самой примитивной и неэффективной форме — календарному методу. Рискованные дни, когда возможно зачатие, грубо прикидываются женщинами, в эти дни контрацепция и используется, а в остальные дни менструального цикла никакие противозачаточные методы и средства не используются вообще. Такова повсеместная практика, и люди просто не знают элементарного: это не работает. Или скажем так: люди знают (потому что, в итоге, делается много аборт), но не знают, как быть. В стране, делающей спутники и даже компьютеры, никто не объясняет десяткам миллионов женщин элементарные начала биологии. В итоге, женщины отданы во власть абортария. Ведь объяснять означает пропаганду мальтузианства, и вот — старинный незаконченный спор XIX века между двумя экономистами (Мальтусом и Марксом) сводит свои счёты на судьбах нескольких поколений России и Восточной Европы.

Мы считаем, что различные советские статистические данные о процентном составе тех или иных методов контрацепции в общем индексе использования и эффективности, поскольку в них не внесены поправки на спорадическое применение, должны быть попросту отброшены. Все эти данные не отражают реального положения вещей не потому, что советские авторы искажают положение, а потому, что они сами не отдают себе отчёта в том, что происходит вокруг. В итоге, в СССР окончательный индекс контрацепции (производное пропорции использующих на теоретическую эффективность, на регулярность и на правильность использования) представляет чрезвычайно низкую вели-

чину. Степень провала при использовании исключительно велика — с последующим универсальным прибеганием к искусственным абортам.

Этот результат неосведомлённости и провала является вполне естественным для антимальтузианской системы контроля рождаемости по требованию. Люди не отдают себе отчёта, что использование контрацепции требует знания и умения, а поэтому и не запрашивают сведений о таком знании, хотя сведения могли бы быть им доступны (через библиотеки, женские консультации и т. д.). Получается заколдованный круг, из которого могла бы вывести только частная промышленность с её активной рекламой и пропагандой.

В СССР отсутствие самого понятия о реальной контрацепции является причиной чрезвычайного разрыва в дифференциальной рождаемости, очень низкой в России и западных республиках и очень высокой в Средней Азии. Индекс контрацепции в Средней Азии практически равен нулю, тогда как у европейских национальностей СССР патологическое вторичное бесплодие, вызванное кюреточными и нелегальными абортami, лишает абсолютное большинство женщин в возрасте 35 лет выполнения репродуктивных функций.

Если подвергнуть обрывки официально сообщаемых данных изложенной выше математической обработке, то становится ясно, что в последние годы аборты распространились даже среди среднеазиатских женщин, но источники недооценивают их размах. Это, по-видимому, происходит из-за распространения в СССР нелегальных абортов, что вызвано отчасти — скудностью медицинских учреждений и приспособлений, отчасти — низким качеством легальных абортов, отчасти — желанием женщин хранить аборты втайне. Последняя из этих причин особенно характерна для молодых среднеазиатских женщин. В Ташкентской области нелегальные аборты составляли 48,5% всех искусственных абортов в 1955 году и 51,9% в 1973 году, тогда как общее число абортов за этот период увеличилось в 1,5 раза³⁰. В целом по СССР, согласно источникам, которые невозможно проверить математическими операциями, даже в последние годы искусственные аборты, прерывающие первую беременность, состояли на 70% из нелегальных абортов в городах и на 90% в сельских

местностях³¹.

По мере роста контроля рождаемости в СССР, применение контрацепции увеличивается незначительно, число же абортів растёт с ускорением, и значительно увеличивается процент нелегальных абортів. В 1960-е годы в РСФСР нелегальные абортів составляли 16% всех искусственных абортів³², а в 1970-е процент нелегальных абортів колебался от 18% до 79,2% от всех абортів в разных местностях России³³.

Соответственно основная часть официальных статистических сведений об искусственных абортах как по СССР в целом, так и на местном уровне, должна быть попросту отброшена до тех пор, пока вопрос о пропорции нелегальных абортів не будет хоть как-то прояснён. Но так как это невозможно ни в какой стране, а колебание от 20% до 80% означает диапазон от минимума до максимума (например, если говорится, что в СССР приходится один аборт на одно живорождение, что, при разных колебаниях пропорции нелегальных абортів, может означать от 2,5 до 10 абортів на женщину), то пользование официальной статистикой по этому вопросу невозможно и бесполезно.

Независимая математическая обработка остальных, более надёжных переменных (рождаемости, брачности, естественной рождаемости, индекса контрацепции) должна заменить использование советских данных. Модель, принятая в настоящей работе, приведена выше, а результаты независимых расчётов приведены в таблице.

По самой консервативной серии расчётов соотношение числа искусственных абортів с числом живорождений в 1970-е годы составляло 0,137 у таджиков, 0,201 у узбеков, 1,220 у эстонков, 1,404 у латышек, 2,481 у украинков и 3,206 у русских; среднее соотношение для СССР было 2,044. Суммарный коэффициент искусственных абортів (число абортів на женщину синтетической когорты за её плодovитый период) составлял 1,076 у таджиков, 1,486 у узбеков, 1,920 у туркменков, 3,033 у казашков, 4,083 у азербайджанков, 4,273 у грузинков, 5,195 у армянков, 2,759 у эстонков, 3,021 у латышек, 3,518 у литовков, 5,056 у белоруссов, 5,118 у украинков, 5,950 у русских, 4,903 — в среднем по СССР.

Как мы видим, единственным показателем конвергенции между европейскими и азиатскими этническими группами СССР

оказывается размах искусственных абортсв и повышенного вторичного бесплодия (величины равны у латышек и казашек).

5

Итак, в системе антимальтузианской демографической политики биологический ритм в примитивной форме календарного метода является основой всех остальных интегрированных методов контрацепции. В случаях неудачи противозачаточных мер, огромная вероятность чего уже отмечалась, нежелаемые зачатия³⁴ в конце концов происходят, но с перезрелыми сперматозоидами, сохраняющимися в матке в течение 3-4-5-6 дней. Это, в свою очередь, обуславливает увеличение пропорции выкидышей (спонтанных абортсв) по меньшей мере на 25% и, главное, приводит к колоссальному увеличению коэффициента хромосомных аномалий, особенно психической неполноценности у новорожденных³⁴.

Недавние советские исследования по генетике человека отмечают увеличение в СССР числа рождений с наследственными хромосомными аномалиями первого и второго поколений, например, на Украине³⁵. В дополнение к росту пропорции психически неполноценных детей, этот фактор ведет к росту детской смертности, особенно младенческой и перинатальной смертности, так как 53% детей с врожденными хромосомными аномалиями погибают на первом году жизни³⁶.

Можно заключить, что марксизм, как идеология, используемая государством в его демографической политике, наносит существенный генетический вред человеческой расе. Вызванное марксистской демографической политикой биологическое вырождение человека особенно сильно среди популяций с низкой рождаемостью, высокой пропорцией использующих контрацепцию, но с низкой пропорцией регулярности и правильного эффективного ее использования. Это, как видно по таблице, прежде всего славянские нации СССР, для которых властвование марксизма является в настоящее время подлинной биологической катастрофой.

6

Из-за увеличения пропорции хромосомных аномалий в связи с ущербной системой контрацепции увеличивается количество плодов с трисомией, что ведёт к увеличению коэффициента спонтанных аборт (выкидышей). Это, в свою очередь, увеличивает вероятность патологического вторичного бесплодия, или, точнее сказать, вероятность патологической вторичной неэффективной плодоспособности: то есть, те женщины, которые не являются вторично стерильными и способны зачать, не могут довести беременность до благополучного конца — рождения живого плода. Это ослабляет женский организм и ещё больше увеличивает вероятность последующих выкидышей. Тем самым сокращаются интервалы между возможными зачатиями, растёт число зачатий и, соответственно, число спонтанных и искусственных абортов. Ещё один заколдованный круг марксистской системы контроля рождаемости по требованию (по спросу), и ещё один фактор сокращения человеческого репродуктивного потенциала.

Повторные искусственные аборты также увеличивают вероятность последующих выкидышей. Сверхнормальный коэффициент спонтанных абортов становится серьёзной проблемой для советских популяций, особенно для славянских национальностей с их высоким суммарным коэффициентом искусственных абортов и повышенного вторичного бесплодия. По параметрам, установленным Миндель Шепс, здоровые популяции имеют коэффициент спонтанных абортов вокруг средней общечеловеческой нормы до 23,7% всех зачатий, тогда как большие популяции имеют этот коэффициент до 35% и выше, вплоть до 50%³⁷. По совокупности приведённых выше данных, практически все советские нации, кроме, совершенно очевидно, до поры до времени, среднеазиатских, надо отнести к категории больших популяций. Особенно выделяются в этом отношении славянские нации.

Уникальный аспект такого отнесения заключается в том, что обычно нездоровые популяции с высоким процентом гибели недоношенных плодов — это бедные популяции стран Третьего мира, популяции, подверженные голоду, эпидемиям, высокой

общей смертности, с долгим грудным кормлением, отсутствием медицины и элементарной санитарии, популяции, живущие в диких и варварских условиях полупервобытной экономической недоразвитости. Сейчас, из-за марксистской системы контроля рождаемости по требованию, в этот же ряд переходят популяции индустриально высокоразвитых стран, гордящихся своей общественной медициной, победой над эпидемическими болезнями, и т. д.

Математической модели для расчёта пропорции спонтанных абортс у советских популяций нам пока разработать не удалось. Чёткие данные для СССР в целом и по национальностям в медицинской литературе совершенно отсутствуют. Имеется, однако, небольшая публикация по Ленинградской области, на основе чего возможно сделать приблизительные оценки³⁸. По приводящейся статистике исходов беременности можно рассчитать, что только официально зарегистрированные в больницах спонтанные аборты (выкидыши), при найденном нами для русского населения соотношении искусственных абортс к живорождениям, составляли 22,79% беременностей в конце 1960-х годов³⁹. Используемый источник подчёркивает, что регистрация спонтанных абортс далеко неполная⁴⁰. Это понятно, так как в больницы обращаются, в основном, женщины с осложнениями после выкидышей, и таким образом, значительная часть статистики выкидышей остаётся неизвестной медицинским учреждениям. Следовательно, если допустить, что недоучёт выкидышей даже не выше, чем недоучёт искусственных абортс (что, конечно, минимальное допущение), коэффициент выкидышей достигнет примерно 34% беременностей. На самом деле, он, несомненно, выше. СССР в целом и РСФСР, в особенности, в отношении гибели плодов — одна из самых больных популяций современного мира.

Советские исследования сообщают, что чрезмерная работа женщин и их занятость на тяжёлых и вредных работах являются дополнительными причинами сверхнормального уровня первич-

ного и вторичного бесплодия. Установлено, что повышенный коэффициент первичного бесплодия характерен для женщин, занятых тяжёлым физическим и ручным трудом, для женщин в химической промышленности и на других неквалифицированных работах. Повышенный коэффициент вторичного бесплодия характерен для женщин, работающих вручную на производстве и обработке металлических изделий, в деревообрабатывающей и лесной промышленности, на строительстве и в текстильной промышленности⁴¹. Сведения о национальном распределении женщин по уровню занятости в различных видах промышленности в советской литературе отсутствуют, но общая статистика позволяет выяснить, что в 1974-75 годах пропорции женщин в возрасте от 16 до 54 лет, занятых в тяжёлой промышленности, в строительстве, на транспорте, в лесной промышленности, были следующими по республикам: 13,3% в Таджикской ССР, 14,4% в Туркменской ССР, 14,7% в Азербайджанской ССР, 15,1% в Узбекской ССР, 16,9% в Грузинской ССР, 23,9% в Казахской ССР, 29,5% в Украинской ССР, 30,3% в Белорусской ССР, 31,8% в Литовской ССР, 36,0% в РСФСР, 38,3% в Латвийской и Эстонской ССР⁴².

Этнические различия были более сильными между европейскими и азиатскими популяциями, но это не видно из статистики по республикам, так как большинство женщин, занятых в перечисленных отраслях в Средней Азии, это русские, украинки и т. д. Общая тенденция в СССР идёт в направлении ещё большей женской занятости на тяжёлых и вредных работах. В то время как мужчины переключаются на более механизированные профессии, женщины заменяют их как физические рабочие. С 1972 по 1975 год число мужчин — ручных лесорубов снизилось, а число женщин соответственно увеличилось. В январе 1981 года правительство запретило занимать женщин в 460 тяжёлых профессиях, но в СССР на проведение такого закона в жизнь требуется больше 10 лет. Закон, запретивший нанимать женщин на шахты, был принят в 1957 году, но не был проведён в жизнь вплоть до 1977 года⁴³.

Советские исследования показывают, что занятость при полном рабочем дне женщин (а это 99,6% работающих в СССР женщин⁴⁴) на станках является важной причиной повышенного

коэффициента выкидышей; что работа в стоячей позе в текстильной промышленности увеличивает шанс дисменорреи; что количество лет, проработанных в горячих цехах, прямо пропорционально проценту гибели недоношенных плодов; что работа в химической промышленности удваивает пропорцию рождений детей с хромосомными аномалиями; что работа на советском транспорте и в других отраслях, связанных с вибрацией, увеличивает пропорцию выкидышей и недоношенности новорожденных⁴⁵. Опять же отметим, что значительное число славянских и прибалтийских женщин занято в этих отраслях.

8

В системе контроля рождаемости по требованию официальная пропаганда и медицинские работники пытаются препятствовать эпидемии искусственных аборт, но провалы контрацепции, чрезмерная женская вовлечённость в общественный труд, изменившийся статус женщины в обществе, изменившаяся общественная роль семьи как институции побуждают к искусственным аборт. Колоссальные коэффициенты аборт в СССР, приходящиеся на среднюю женщину, отмечены выше. В советской системе учреждения для производства аборт неадекватны и недостаточны и в количественном, и в качественном отношении. В СССР, в соответствии с демографической политикой, имеется больше гинекологических коек на 1 000 женщин плодovитого возраста в районах высокой рождаемости и низкого числа аборт, чем в районах низкой рождаемости и высокого числа аборт. В 1974-1975 годах на 10 000 женщин в возрасте 15-49 лет было 64,12 гинекологических коек в Узбекской ССР и 57,38 гинекологических коек в РСФСР⁴⁶, хотя, как отмечено выше, число аборт на женщину в год в 2,5 раза больше, чем число родов. Если принять, что женщина проводит 3 дня в больнице при операции искусственного аборт, на основании приведенных данных можно рассчитать, что в РСФСР в середине 1970-х годов было необходимо иметь 305 000 больничных коек для женщин, делавших аборт, но в это время имелось только 213 000 гинекологических коек для всех больных — для роже-ниц, для абортировавших, для поступивших с осложнениями,

для поступивших с различными гинекологическими болезнями, и т. д.⁴⁷.

Соответственно, больницы в РСФСР имели примерно половину необходимых помещений, коек, медицинских услуг, оборудования и т. п. для принятия родов, производства аборт, лечения гинекологических осложнений и болезней. Жалобы на недостаток коек и оборудования являлись одной из главных, официально сообщаемых причин распространения нелегальных абортов⁴⁸.

В описываемой системе контроля рождаемости по требованию современные методы производства искусственных абортов, которые фактически безвредны для дальнейшего деторождения и которые применяются в США, Канаде, Западной Европе, Австралии, Японии и других цивилизованных странах, практически не используются в марксистских государствах.

СССР, судя по всему, вообще сам не производит современной техники отсасывания плода, а покупает её в Японии за валюту, как сообщила недавно делегация Комитета советских женщин, посетившая Гуверовский Институт в Калифорнии. Эта импортированная техника установлена, по-видимому, в нескольких больницах либо для привилегированных слоёв населения (они тоже безграмотны в области контрацепции), либо для научно-исследовательских разработок.

9

Индекс патологического вторичного бесплодия, приводимый в таблице по этническим популяциям СССР, показывает среднестатистическую пропорцию женщин во всём плодовитом периоде 15-49 лет, которые вторично бесплодны сверх стандартных норм вторичного бесплодия и гибели плода. Это среднестатистическая пропорция для всех возрастных групп плодовитого цикла, интегрально рассчитанная для всех женщин. Это означает, что показатель определяет процент вторично бесплодных в среднем для всех женщин плодовитых возрастов, независимо от того, сделали ли они уже или ещё не сделали среднее количество абортов, характерное для данной популяции. Иначе говоря, этот индекс показывает процент женщин, выключенных

из репродуктивного процесса пре-фактум. Единица минус найденный индекс показывает репродуктивный потенциал данной советской этнической популяции, тогда как репродуктивный потенциал других популяций, не практикующих марксистскую систему контроля рождаемости, равен 100% или не на много ниже.

Поясним ещё раз значение индекса. Популяция, которая повсеместно использует контрацепцию для ограничения числа детей до 2 на женщину, и которая в отдельных случаях прибегает к искусственным абортam методом отсасывания плода, имеет индекс повышенного вторичного бесплодия, равный нулю, и репродуктивный потенциал, равный единице. Таково, например, население Англии и Уэльса, приближается к этому население Нидерландов, близко население Японии. Популяция, которая не умеет использовать контрацепцию (индекс контрацепции 0,2), имеет 2 детей на одну женщину, прибегает к искусственным абортam для контроля рождаемости и делает 85% абортov кюреткой, плюс занимает женщин на тяжёлых и вредных работах и не победила венерические болезни; эта популяция имеет в среднем 5 искусственных абортov за плодovитую жизнь женщины и имеет 0,17 (или 17%) индекс патологического вторичного бесплодия. Это означает, что у данной популяции (мы взяли сведения о белорyссах) в каждый данный момент времени (здесь: в 1970-е и 1980-е годы) в среднем 17% женщин патологически бесплодно (сверх биологической пропорции вторичного бесплодия) и только 83% женщин плодovитых возрастов плодоспособны. Это означает, что в условиях низкой рождаемости, недостаточной для простого воспроизводства живущих поколений, у этой популяции патологически отрезана шестая часть её репродуктивного потенциала. Не будь она отрезана, эта популяция могла бы рассчитывать на сохранение своего населения в данном (стационарном) количестве. Теперь же она будет постепенно уменьшаться, то есть, в конечном счёте, вымирать.

В приводимой таблице показаны рассчитанные индексы патологического вторичного бесплодия для различных этнических популяций СССР: 20,7% у русских, 18,6% у молдаван, 17,8% у армян, 17,4% у украинцев, 17,2% у белорyссов, 13,6% у азербайджанцев, 9,7% у латышей, 9,7% у казахов, 8,8% у эстонцев, 5,9% у киркигов, 4,5% у узбеков, 3,2% у таджиков. Соответственно,

человеческий репродуктивный потенциал был в 1970-е годы 96,8% у таджиков, 95,5% у узбеков, 94,3% у туркмен, 94,1% у киргизов, 91,2% у эстонцев, 90,3% у казахов и у латышей, 88,5% у литовцев, 82,8% у белоруссов, 82,6% у украинцев, 82,2% у армян и 79,3% у русских.

Человеческую биологию русских можно сравнить с полем, меньше чем на четырёх пятых которого может что-то расти. Для того, чтобы изменить такое положение у русских и у других народов СССР, нужна была бы принципиальная замена искусственных абортсов современной, правильно и регулярно используемой контрацепцией с переводом сохраняющихся абортсов на современные безвредные методы и с уменьшением загруженности женщин в социалистическом производстве. Ничего в этом плане никогда не делалось, не делается, и не видно ни единого признака, что когда-либо будет делаться.

Интересно, что не только марксистское правительство, но и разнообразные течения оппозиционной мысли практически не уделяли внимания этим проблемам. Единственное известное нам исключение — призыв А. И. Солженицына освободить женщин от тяжёлых физических работ. Формальное законодательство, наконец принятое в 1981 году по этому вопросу, пока не дало видимых результатов, и может и не дать, так как в советских условиях сами женщины не могут позволить себе оставить тяжёлые и вредные, но относительно выше оплачиваемые виды труда.

Для оздоровления популяции по-настоящему потребовалось бы другое государство, с другой экономической системой и с другой, противоположной марксизму, идеологией.

В своё время Маркс в "Капитале" сформулировал то, что впоследствии было названо социалистическим законом народонаселения: гармоническое соответствие между экономическим ростом и ростом населения. Сейчас никто в мире всерьёз не рассматривает эту теорию, и даже в СССР о ней в последние годы стесняются упоминать. Общепринято теперь, что никаких отдельных законов населения для отдельных экономических систем не существует, а есть единая для всех демографическая транзикация от высокой к низкой рождаемости. В настоящей работе мы пытались показать, что демографические транзиции бывают разными у разных экономических систем, но наблю-

дается *особая* демографическая транзция у государств марксистского социализма.

Может быть, Маркс был не так уж неправ. Может быть, существует *особый* закон народонаселения для популяций, живущих в условиях марксистского социализма. Мы бы сформулировали его так: транзция от высокой к низкой рождаемости проходит в условиях движения населения через три историко-демографические стадии — истребление, вырождение, вымирание.

М. С. Бернштам

ИСТОЧНИКИ:

1. John F. Besemeres. "Population Politics in the USSR", *Soviet Union*, vol. 2, No. 2 (1975), pp. 127, 129.
2. Louis Henry. "Some Data on Natural Fertility", *Eugenics Quarterly*, vol. 8, No. 2 (June 1961), pp. 83-87.
3. Kingsley Davis. "The Theory of Change and Response in Modern Demographic History", *Population Index*, vol. 29 (November 1963), pp. 345-366. Kingsley Davis. "The Effect of Outmigration on Regions of Origin", *Internal Migration: A Comparative Perspective*. Ed. by A. Brown and E. Neuberger. (New York, 1976). pp. 150-151.
4. A. Heitlinger. *Women and State Socialism: Sex Inequality in the Soviet Union and Czechoslovakia* (Toronto, University of Toronto Press, 1979). Henry P. David, Robert J. McIntyre. "*Reproductive Behavior. Central and Eastern European Experience*". (New York, Springer Publishing Co., 1981), p. 96.
5. В.И. Ленин. Полн. собр. соч, т. 23, стр. 255, 257.
6. Ansley J. Coale and T. James Trussell. "Model Fertility Schedules, Variations in the Age Structure of Childbearing in Human Populations", *Population Index*, vol. 40, No. 2 (April 1974), pp. 185-258; vol. 41, No. 4 (October 1975), p. 572. George W. Barclay, Ansley J. Coale, Michael A. Sloto, and T. James Trussell. "A Reassessment of the Demography of Traditional Rural China", *Population Index*, vol. 42, No. 4 (October 1976), pp. 606-635.
7. Рассчитано при помощи того же метода по данным из: Д.Р. Цицишвили. *Бесплодный брак*. (Тбилиси, 1967). т. 1, стр. 44 и М. Буриева. "Формирование семьи в сельской местности Узбекской ССР". *Люди в городе и на селе*. (М., 1978), стр. 101.
8. John Bongaarts. "A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility", *Population and Development Review*, vol. 4, No. 1 (March 1978), pp. 105-132.
9. Ansley J. Coale, Barbara A. Anderson, Erna Harm. *Human Fertility in Russia*

Since the Nineteenth Century. (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1979), pp. 241, 266-267.

10. Christopher Tietze, John Bongaarts. "Fertility and Abortion Rates: Simulation of Family Limitation", *Studies in Family Planning*, vol. 6, No. 5 (May 1975), pp. 114-120.

11. Christopher Tietze. *Induced Abortion: 1979*. Third Ed. (New York, The Population Council, 1979), pp. 69-71.

12. *Медицинский справочник для фельдшеров*. Под ред. А.Н. Шабанова. (М., 1971), стр. 399. А.М. Лехтер. "Опыт изучения последствий абортот". *Советское Здравоохранение* (далее: СЗ). М., 1966, No. 9, стр. 24.

13. Р.И. Сифман. *Динамика рождаемости в СССР*. (М., 1974), стр. 87.

14. Y. Koyu, ed. *Harmful Effects of Induced Abortion*. (Tokyo: Family Planning Federation of Japan, 1966).

H. Corvalan. "Considerations before Legalizing Abortion", *A Strategy for Abortion Management*. (London: International Planned Parenthood Federation, 1978), p. 143.

Tietze. *Op. cit.*, p. 30. Tietze, Bongaarts. "The Demographic Effect of Induced Abortion". *Obstetrical and Gynecological Survey*, vol. 31, No. 10 (1976), p. 701.

Minoru Muramatsu. "An Analysis of Factors in Fertility Control in Japan. An Updated and Revised Version", *Bulletin of the Institute of Public Health*, vol. 22, No. 4 (1973), pp. 228-236.

15. J.A. Ross, A. Germain, J.E. Forrest, J. van Ginneken. "Findings from Family Planning Research", *Reports on Population/Family Planning*, No. 12 (October 1972), p. 36. David. *Op. cit.*, pp. 39-41.

Kathleen Ford. *Abortion and Family Building: Fertility Limitation in Hungary and Japan*. PhD Diss. (Brown University, 1976).

Christopher Tietze, John Bongaarts. "The Demographic Effect of Induced Abortion", *Obstetrical and Gynecological Survey*, vol. 31, No. 10 (1976), pp. 699-709.

C. Tietze, Anrudh K. Jain. "The Mathematics of Repeat Abortion: Explaining the Increase", *Studies in Family Planning*, vol. 9, No. 12 (1978), pp. 294-299.

Christopher Tietze. *Induced Abortion: 1979*. Third. Ed. (New York: the Population Council, 1979).

16. Henry P. David. "Abortion and Family Planning in the Soviet Union: Public Policy and Private Behavior", *Journal of Biosocial Science*, vol. 6, No. 4 (October 1974), pp. 417-426.

Helen Desfosses. "Pro-Natalism in Soviet Law and Propaganda", *Soviet Population Policy: Conflicts and Constraints*. (New York, Pergamon Press, 1981), pp. 96-103.

17. Правда, 8 января 1953.

18. David, McIntyre. *Op. cit.*, pp. 96, 98.

19. *Ibid.*, p. 99.

20. Frederick Engels. *The Origin of the Family, Private Property, and the State*. (New York, Pathfinder Press, 1972), pp. 81-82.

21. James W. Brackett, R.T. Revenholt, John C. Chao. "The Role of Family Planning in Recent Rapid Fertility Declines in Developing Countries", *Studies in Family Planning*, vol. 9, No. 12 (1978), pp. 319-323.

M. Vaessen. "Knowledge of Contraceptives: An Assessment of World Fertility Survey Data Collection Procedures", *Population Studies*, vol. 35, No. 3 (1981), pp. 357-373.

Robert Lightbourne, Susheela Singh, Cynthia P. Green. "The World Fertility Survey: Charting Global Childbearing", *Population Bulletin*, vol. 37, No. 1 (March 1982), pp. 30-39.

22. А.И. Антонов. *Социология рождаемости*. (М., 1980), стр. 129-131.

23. Ш. Шлиндман П. Звидриныйш. *Изучение рождаемости. По материалам специального исследования в Латвийской ССР*. (М., 1973), стр. 134-135.

24. Там же, стр. 144-146. David. "Abortion and Family Planning", pp. 420-421.

25. David, McIntyre. *Op. cit.*, pp. 108-109. Karl-Heinz Mehlman. "Abortion in Eastern Europe", *Abortion in a Changing World*. Ed. by Robert E. Hall. (New York. Columbia University Press, 1970), vol. 1. p. 313.

О.Е. Чернецкий. "Организация работы по снижению абортот". *СЗ*, 1961, No. 6, стр. 21.

И. Каткова. "Особенности демографического поведения семей в первые годы брака". *Молодая семья*. (М., 1977), стр. 84-95.

СЗ, 1972, No. 5, стр. 17; 1973, No. 5, стр. 22; 1976, No. 12, стр. 17.

Здравоохранение Российской Федерации (далее ЗРФ), 1971, № 2, стр. 23-24; 1972, № 6, стр. 27; 1980, № 9, стр. 29-30.

См. сводку данных в: Richard Johnson. "Abortion in the Soviet Union". Radio Free Europe/Radio Liberty. *Radio Liberty Research Bulletin*. No. 25 (June 1982), pp. 8-9; and Ellen Jones, Fred W. Grupp. *Value Change and Political Stability in the Soviet Multinational State*. Defense Intelligence Agency and the CIA. Unpublished Paper. (1982), p. 24.

26. Н.С. Соколова. "Статистический анализ исходов беременности". *ЗРФ*, 1970, No. 3, стр. 39.

27. 93% в Латвии. См. David. "Abortion and Family Planning", pp. 420-421.

28. Е.А. Садвокасова. "Некоторые социально-гигиенические аспекты изучения аборта". *СЗ*, 1963, No. 3, стр. 47.

Е.А. Садвокасова. *Социально-гигиенические аспекты регулирования размеров семьи*. (М., 1969), стр. 149.

Соколова. *Ук. соч.*, стр. 40.

29. И. Каткова, А. Маматохунова. "Некоторые аспекты формирования современных многодетных семей". *Демографическая ситуация в СССР*. (М., 1976), стр. 84-85.

30. А.А. Попов. "Медико-демографические и социально-гигиенические причины и факторы искусственного аборта". *ЗФР*, 1980, No. 9, стр. 28.

31. Там же.

32. Е.А. Садвокасова. "Роль аборта в осуществлении сознательного материнства в СССР". *Изучение воспроизводства населения*. (М., 1968), стр. 220-221.

Лехтер. *Ук. соч.*, стр. 23.

33. Попов. *Ук. соч.*, стр. 28.

34. J. T. Lanman. "Delays During Reproduction and Their Effects on the Embryo and Fetus", *The New England Journal of Medicine*, vol. 278 (1968), pp. 993-999, 1047-1054.

R. Guerrero, O.I. Rojas. "Spontaneous Abortion and Aging of Human Ova and Spermatozoa", *Ibid.*, vol. 293 (1975), pp. 573-575.

D. Schwartz, P.D.M. McDonald, V. Heuchel. "Fecundability, Coital Frequency and the Viability of Ova", *Population Studies*, vol. 34, No. 2 (1980), p. 400.

Eva Alberman, M.R. Creasy. "Factors Affecting Chromosome Abnormalities in Human Conceptions", *Chromosome Variation in Human Evolution*. Ed. by A.J. Boyce. (London, 1975), p. 83.

R.L. Butcher, N.W. Fugo. "Delayed Ovulation and Chromosome Anomalies", *Fertility and Sterility*, vol. 18 (1967), p. 297.

C. Iffy, M.B. Wingate. "Risks of Rhythm Method of Birth Control", *Journal of Reproductive Medicine*, vol. 5 (1970), p. 96.

R. Guerrero. "Possible Effects of the Periodic Abstinence Method", *Proceedings of a Research Conference on Natural Family Planning*. (Washington, D.C.: Human Life Foundation, 1973), p. 96.

35. Л.А. Чиркова. *Генетика и селекция на Украине*. (К., 1971), т. 2, стр. 125-126.

36. А.Ф. Тур, Е.Ф. Давиденкова.- *Справочник по клинической генетике*. (М., 1970), стр. 90.

Воспроизводство населения и трудовых ресурсов. Под. ред. Н.П. Федоренко. (М., 1976), стр. 65-67.

37. Mindel C. Sheps. "Pregnancy Wastage as a Factor in the Analysis of Fertility Data", *Demography*, vol. 1 (1964), pp. 111-118.

38. Соколова. *Ук. соч.*, стр. 38-40.

39. Рассчитано по: Там же, стр. 39 и по приводимой в нашей статье таблице.

40. Там же, стр. 38.

41. Шлиндман, Звидриньш. *Ук. соч.*, стр. 92, 96-97. -

Демографическая политика: Осуществление и совершенствование в условиях развитого социализма. (К., 1982), стр. 134, 160-167.

42. Рассчитано по: *Женщины в СССР. Статистический сборник*. (М., 1975), стр. 36-37 и по: Jones, Grupp. *Op. cit.*, table 6.

43. Г.И. Литвинова. *Право и демографические процессы в СССР*. (М., 1981), стр. 94.

44. Л. Кулешова, Т. Скальберг. "Режим неполного рабочего времени", *Вопросы экономики*. М., 1979, No. 6, стр. 134.

45. Демографическая политика, стр. 161-165.

46. Рассчитано по: *Женщины в СССР*, стр. 125 и *Вестник статистики*. М., 1974, No. 7, стр. 92. См. также: U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census. Godfrey S. Baldwin. *Population Projections by Age and Sex: For the Republics and Major Economic Regions of the USSR. 1970 to 2000*. (Washington, D.C., 1979), pp. 92, 117.

47. Рассчитано по тем же источникам.

48. Садвокасова. "Роль аборта", стр. 220-221.

Johnson. *Op. cit.*, pp. 11-12, 14-16.

К СТОДЕСЯТИЛЕТИЮ СМЕРТИ В. И. ДАЛЯ

(1801-1872)

Деятнадцатый век в России был периодом окончательного становления русского языка и русской литературы. Всё, что создано в этой области русской культуры, не мог ни в чём превзойти XX век. Но в том же девятнадцатом столетии началась скрытая и явная борьба с русскостью, с православием. Боролись против духа русскости, против русских обычаев, нравов, традиций и отечестволюбия. Тут были все эти Бакунины, Ткачёвы, Лавровы, Михайловские. Позже сам Ленин заявил, что "на Россию наплевать". В первых же рядах борцов за национальное, русское — В. Даль, всегда верный долгу, службе, родине.

Владимир Иванович Даль — писатель-"почвенник", этнограф, составитель словаря разговорного русского языка с толкованием слов и выражений. Мало этого, он собрал около 35.000 пословиц, поговорок и речений; он же составил лучшую коллекцию русских лубочных картинок¹ и народных песен. По размаху труда, по накоплению материалов — Даль единственен в нашей истории. Поэт Е. Владимов в стихах о русской культуре справедливо поместил и Далья: "... Гений Менделеева, Лермонтов и Даль..."

В жилах Владимира Ивановича не было ни капли русской крови: мать — немка, отец — датчанин. Православие вечно занятый Русью учёный принял незадолго до смерти. Всю жизнь свою врача, моряка, лексикографа Даль посвятил России. По убеждениям был консерватором. Родился он в 1801 году в городе Лу-

1. Издана Ровинским.

ганске (бывшая Екатеринославская губерния). В 1819 году окончил Морской корпус и плавал в Чёрном и Балтийском морях. В 1824 году он вышел в отставку и сразу поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В 1829 году успешно закончил учение и получил степень доктора медицины. В том же году Даль принял участие в качестве доктора в войне с Турцией. Участвовал наш лексикограф и в кампании по усмирению восставшей Польши. Сразу после этих войн Даль устроился врачом в Санкт-Петербурге. Там он познакомился и подружился с Жуковским, Крыловым, Пушкиным и Гоголем. В Петербурге же начал и свой писательский путь, как писатель-бытовик, которого оценил даже Белинский. Живость и красочность языка, интересный сюжет ряда очерков нашего этнографа делают его предтечей Лескова. Вот крошечный образец его затейно-кудрявого языка: "Где наши головы масляные, узорчатые, бороды чесаные, мухорчатые, усики витые, бахромчатые? Где кафтаны смурые бархатные, шляпы бурые поярковые, кушаки шелковы-бухарские, армяки татарские, рубахи шегольские красные, рукавицы вырестковые, тесненные, шаровары полосатые, сапоги с каймою строченые, на рубахах запонки граненые, на кафтанах застёжки золочёные? Ой было, было время на Руси, что ходил молодец в кафтане, ходила девка в сарафане".²

Перечтем бытовые занятные повести Даля: "Петербургский дворник", "Вахх Сидоров Чайкин", "Мичман Поцелуев", "Солдатские досуги" и др., и на нас пахнёт святою и грешной Русью.

Даль повлиял как учитель и друг на П. Мельникова-Печерского и его романы "В лесах" и "На горах". Там те наши песни, сказанья, причитанья и заговоры, что эхом отзываются в русской душе читателя. Была в речи и писании Даля та стародавняя стилизованная русскость, которую увидим в ряде иллюстраций таких художников, как Билибин. Язык Даля часто проткан юмором, переливами звуков и красок. Сам Пушкин был в восторге и смеялся, узнав от Даля, что народ сброшенную кожу змеи зовёт *выползиной*. Наш лексикограф помог поэту в его работе и исследовании в Оренбурге и в Бердах, где была некогда штаб-

2. Полн. Собр. Соч. В. Даля, том IX, Москва, 1898 г.

квартира Пугачева и его орд. Пушкин был там в сентябре 1833 года. В воспоминаниях Даль подчёркивает большую любовь Пушкина к пословицам, поговоркам и прибауткам русского народа. Он приводит и слова Пушкина: "Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!". Поэта интересовала и звуковая сторона ряда народных изречений, типа: "Беспечальный сон сладок".

Даль был близок сердцу и душе великого поэта, и сам его обожал как гордость нации. Он оставил и точное врачебное описание огнестрельного ранения Пушкина. Софья Карамзина в письме к брату Андрею вспоминает "трёх ангелов-хранителей", которые окружали смертный одр Пушкина, — и так много сделали, чтобы облегчить его последние минуты...". Это были: Жуковский, Даль и Данзас.

Изучать народный язык Руси XIX века без трудов Даля и П. Мельникова-Печерского невозможно. Самый полный и лучший русский этимологический словарь славяноведа М. Фасмера пестрит ссылками на Даля и Мельникова-Печерского.

В своей жизни Владимир Иванович неоднократно страдал то за "свободоязычие критики", то из-за малого знания и туполобности врагов своих, не знавших русской истории.

В свой сборник русских пословиц и поговорок Даль включил и собрание пословиц и речений И. Снегирева. Сборник свой наш лексикограф послал в 1853 году в Академию наук. Увы, тупомный и малосведущий член Академии наук — протоиерей И. Кочетов счёл ряд изречений кощунствами, оскорблениями духовного чина и сана. Разве не ужасно: "Дьяк у места, что кот у теста", "Быть бы так, да помешал дьяк", "Как дьяк у места, так всем от него тесно". Или: "Жив, Курилка, не умер. Жив Бог, жива душа их". Дело же в том, что речь идет о приказном дьяке — письмоводителе древней Руси. Курилка же или из игры с лучиной, или воспоминание, память о самосожженцах-раскольниках. Всякие запреты и придирки довели Даля до желания сжечь весь свой труд.

После проволочек 35.000 пословиц, речений и присловий были напечатаны в 1862 году. Один из моих студентов — д-р Родэ — написал докторскую работу о древних формах языка в

некоторых пословицах и поговорках в труде В. Даля. Действительно, от некоторых изречений и поговорок сборника 1862 года веет стариной. Например: "В камень стрелять — стрелы терять", "Бабы умы разоряют дома", "Пуст мешок стоять не будет" и т. п. Или: "Ни хитру, ни горазду, ни богату, ни убогу — суда Божия не минути". Сравните в "Слове о полку Игореве" припевку "Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божия не минути".

О значении и размерах подвига нашего лексикографа хорошо написал 22 года назад Б. Бразоль в своей брошюре о Дале: "Словарь его в четырёх томах, большого in quarto формата, 10,5" x 8", обнимает 2716 страниц, на каждой странице около 1000 слов, так что общее количество слов превышает 2.500.000. Издание Толкового словаря предпринято было "Обществом русской словесности" под председательством А. Хомякова.

Предварительно заслушав объяснительную записку Даля, дело поддержали и М. Погодин, и А. Кошелев.

Первый том словаря вышел в 1861 году. Но вскоре и средств не было и начались затруднения и мытарства остальных трёх томов "Толкового словаря". Интеллигенция тех лет, общественность не имели интереса к словарю родного языка. Спас же дело, дав лично свои средства на издание трех томов, император Александр II. Александр II познакомился с Далем в 1837 году, когда наш учёный сопутствовал Александру, ещё цесаревичу, в его путешествии по Сибири. Кроме этого издания мне известны четыре переиздания словаря М. Вольфа (из них одно с дополнениями проф. Бодуэна-де-Куртене), два советских и два эмигрантских — в Токио, 1937 г. и в Париже, 1955 г. Как видим, первое издание спас трон, а не русское общество.

Сам Даль смотрел на "Толковый словарь" только как на собрание необходимых и всё ещё неполных материалов для изучения русского языка. Б. Бразоль, при всем своём пиэте к составителю словаря, дал и объективную критику расположения слов и классификационных недочетов".

Знаменитый Яков Карлович Грот мудро написал на столетие вперед: "Словарь Даля — книга не только полезная и нужная; это книга занимательная: всякий любитель отечественного слова может читать её или хоть перелистывать с удовольствием. Сколько он найдёт в ней знакомого, родного, любез-

ного, и сколько нового, назидательного! Сколько вынесет из каждого чтения сведений драгоценных и для житейского обихода, и для литературного дела”.

Напомним, что А. И. Солженицын пристально и с любовью изучал словарь Даля. Лично я, работая над текстом “Слова о полку Игореве” и его переводом на современный русский язык, нашел у Даля объяснение для выражения “мыслию по древу”. Даль подсказал: не мыслию, а *мысию* — белкой по дереву. И сколько же раз “Толковый словарь” помог мне и другим славистам!

Завистники обвиняли Даля в выдумке новых слов, что было злым наветом на лексикографа. Недостатком же словаря следует признать часто неправильное размещение слов “по гнездам”. Даль не имел лингвистической подготовки и, стараясь помещать слова по корням и основам, иногда ошибался. Слово завьючить происходит от вьюк (из юк), где “к” переходит перед мягким звуком в “ч”, как учить, учитель — корень “ук”. Не знал Даль и о существовании слов с нулевым корнем, например, *вынуть*; или что *ветвиться* следует ставить под *ветвь*. Легче бы было пользоваться словарем со множеством присказок, пословиц и изречений, если бы Даль применил алфавитный порядок во всем словаре.

Среди других трудов Даля упомянем: “О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа”, “О народных врачевных средствах” (использовано В. Солоухиным), “Записка о ритуальных убийствах”.

Пушкин завещал свой перстень-талисман В. И. Далю. Наталья Николаевна исполнила волю мужа. Есть сведения, что Пушкин и Даль поменялись крестами, стали побратимами — братьями во Христе. Дай Бог, чтоб и в нашем сердце и памяти мы связывали мысль о великом поэте с мыслию о писателе-этнографе. Оба они глубоко любили Россию.

Р. Плетнев

К РАЗМЫШЛЕНИЯМ О ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ*

*Посвящается
Крониду Любарскому*

Реферат, нигде не прочитанный

... Так состоялась у нас личная тематическая переписка, и в ней, среди других, мы рассмотрели проблему, которую обозначили как "Христианство для всех". Вот как это выглядит в сокращенном итоговом изложении.

Есть *христианство веры*. В самом общем смысле оно определяется как вера в Божественное достоинство Человека Иисуса Христа. Эта вера даётся немногим, она есть особенный дар, по слову одного католического писателя — "поцелуй" Божественной благодати. Апостол Павел писал, что "никто *не может* назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым" (Коринф. I, 12). И в наше время вера в Личную Божественность Христа бывает либо следствием исключительного откровения (приводилось яркое личное свидетельство митрополита Антония Блюма), либо наследием церковного воспитания. Христианство веры есть явление элитарное, это не христианство для всех.

Христианство универсальное, христианство для всех есть *христианство совести и воли*. Автор напоминает и подчеркивает, что говорит *с точки зрения христианства веры*. Христос — Вечный, Божественный Человек, и всякая направленность нашей воли к идеальной *человечности* есть направлен-

*Печатается без ведома и разрешения автора. — *Ред.*

ность ко Христу. Конечно, не может быть ничего лучше, когда такое христианство совести и воли совмещается с христианством веры. Но бывает и так, что люди, далекие от исповедания христианства веры, далекие от всякой религии — по своим настроениям, оценкам, стремлениям, действиям оказываются явно *ближе* ко Христу, чем мы, присяжные, крещёные христиане веры. Современный католический теолог Карл Раннер назвал таких людей "анонимными христианами". Тут уместно вспомнить, что писал об этом еще в прошлом столетии А. С. Хомяков. "*Не Христа ли любит тот, кто любит Правду? Не Его ли ученик, сам того не ведая, тот, чье сердце отворсто для сострадания и любви? Не единственному ли Учителю, явившему в Себе совершенство любви и самоотвержения, подражает тот, кто готов жертвовать счастьем и жизнью за братьев? Кто признаёт святость нравственного закона и, в смирении сердца, признаёт и свое крайнее недостойнство перед идеалом святости — тот не воздвиг ли в душе своей алтарь Тому Праведнику, перед Которым преклоняется воинство умов небесных? Ему недостаёт только знания: но он любит Того, Кого не знает, подобно самарянам, которые поклонялись Богу, не ведая Его. Говоря точнее: не Его ли он любит, только под другим именем; ибо правда, сострадание, любовь, самоотвержение, наконец, — всё поистине человеческое, всё великое и прекрасное, всё, что достойно почитания, подражания, благоговения, всё это — не различные ли формы одного Имени нашего Спасителя?"*

Христиане веры должны по достоинству оценить явление "анонимного" христианства совести и воли. Всё лучшее в нашей человечности принадлежит Христу — и не может быть никакого другого Первообраза духовной Красоты. По слову апостола Павла, Христос — "единый Посредник между Богом и человеками, Человек Христос Иисус" (Тимоф. I, 2). Если бы вера в личную Божественность Христа была непременным условием приближения к Богу, то Христос был бы не посредником, а препятствием для подавляющего большинства людей, которые жили и будут жить на земле. Нет, по слову блаженного Иеронима, "Христос не так беден, чтобы иметь Церковь только в Сардинии". Христос — глава всего человечества доброй совести и воли, а не только нашей церковной провинции крещёных, из

которых многие столь наивно думают о себе, что только они и спасаются. Нет, принцип спасения — не в вере, самой по себе, а в *направлении воли*. Апостол Иаков в соборном послании (гл. 2) настойчиво трижды повторяет, что *"вера без дел мертва"*. Протестантские схоласты противопоставляли этому учению апостола Павла, что *"человек оправдывается верою, независимо от дел Закона"* (Римл., гл. 3). Но недоразумение рассеивается, как только мы сообразим, что под *"делами Закона"* апостол разумел иудейское обрезание. Совершенно ясно представляется дело в евангельской притче о Страшном Суде (Матф., гл. 25). Сын Человеческий на решающем, последнем суде не говорит: *придите, наследуйте Царство, потому что вы веровали в Мою Божественность*. Нет, Он говорит: *придите, наследуйте Царство, потому что вы были добры ко Мне в лице братьев Моих меньших*. *"Ибо голодал Я, и вы дали Мне есть... Болен был, и вы посетили Меня. В темнице был, и вы пришли ко Мне"*. Милосердие, как и всякое иное проявление прекрасной, святой человечности — вот что, фактически, сущностно приближает, приобщает человека к Абсолютному, Вечному Человеку. И это — независимо от того, узнал ли человек своего Господа во Христе, в Его историческом явлении на нашей земле. Апостольский образ Церкви — *тело Христово*. И вот оказывается, что в теле присутствуют живые клетки, которые не знают своего Главы.

* *
 *
 *

Но было высказано и другое суждение — что только христианство веры, и притом именно наше православное христианство веры, есть все-таки неперемненное условие наибольшей близости ко Христу. Это воззрение можно изобразить в такой графической схеме: центральный круг — это наше православное христианство веры; а далее располагаются концентрические кольца: католичество, протестантизм, затем иудаизм, мусульманство, потом индуизм и так далее до агностиков и атеистов доброй воли включительно — но на самом удаленном кольце.

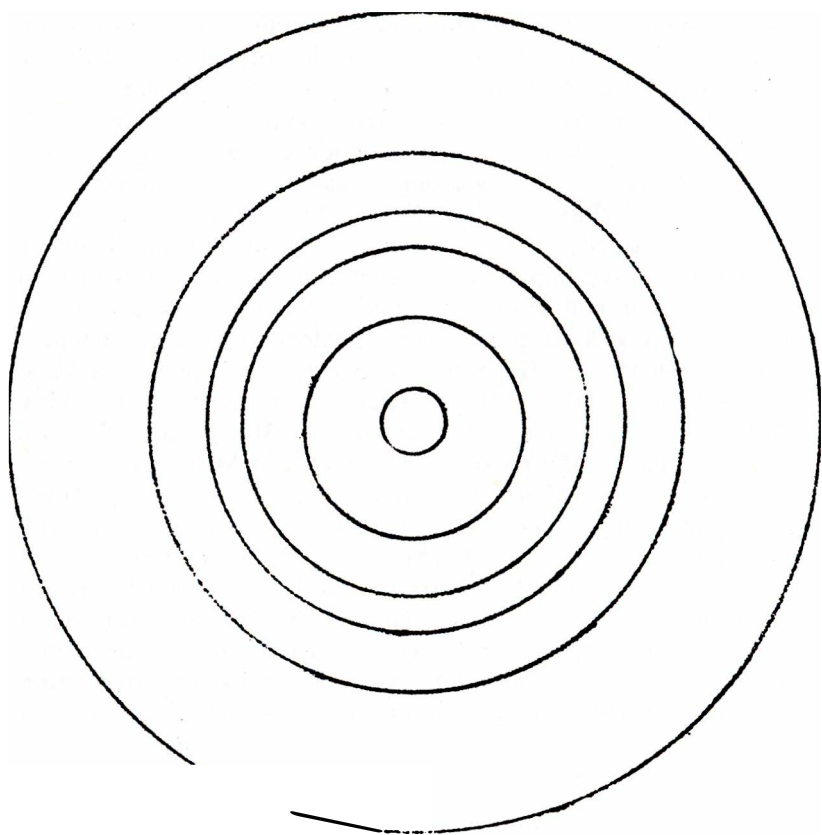
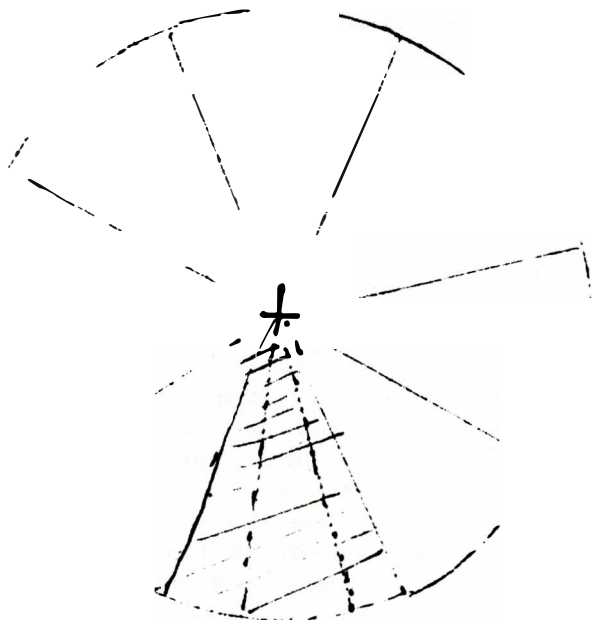


Схема эта представляется некорректной, ибо приводит к абсурдам. Православный Иван Грозный оказывается в центральном круге — ближе ко Христу, чем святой жизни индуист Ганди. Абсурдный пример из современности дает история двух академиков. Один, далекий от всякой религии, на деле показал истинное благородство и нравственное мужество, выступив в защиту страждущих "узников совести". Другой, верующий, православный, не только не присоединился к этой защите, не только промолчал, но подписал клеветническое обвинение против своего одинокого бесстрашного коллеги. Судя по примерам, эта схема оказывается ложной.

В противовес ей в дискуссии возник другой графический символ:



Всецеловеческая Церковь Христова есть Реальность высочайшего порядка, говорить о ней можно только в символах и парадоксах. Такова же и эта графическая символизация Церкви. Ее Центр — Христос, Божественный Человек. Ее окружность, граница — направление нашей воли. Эта граница проходит между людьми и она проходит в душе каждого человека. Злая воля — всегда вне Церкви, только добрая воля — всегда в Церкви, и это независимо от всех наших исповеданий и поверхностных теоретических представлений. Итак, круг — это христианство совести и воли, христианство для всех. В заштрихованных секторах — христианство веры. Здесь особенно благоприятные, благодатные условия приближения к Центру. Но и в других секторах, в других религиях и без религии есть эта возможность — и даже так, что можно здесь фактически быть *ближе* к Центру, чем в

секторе самого правоверного христианства... Радиусы секторов проведены условно, без количественного расчета.

Показательно и многозначительно, что и в секторах *христианства веры* нет формального единства — разделением не видно конца. Ибо никогда уже католики не откажутся от принципа папского главенства в мировом христианстве веры, и никогда не согласятся с этим остальные христиане Востока и Запада. Нельзя уговорить католиков отречься от культа Мадонны, и невозможно учредить такой культ в протестантизме. И другие вероисповедные различия непримиримы. Кто нас в этом рассудит? В эпоху Вселенских (имперских) соборов споры о вере решал собор. Сегодня если бы и собрался Всемирный христианский собор (что практически невозможно), — он не принял бы никакого общего решения, и все разъехались бы в добросовестном сознании своей правоты.

Рассматривая три сектора христианства веры, следует отметить великую жизнеспособность *католичества*. Об этом писал Н. А. Бердяев: "Католичество не одолеют и впредь, потому что в истории его жили не только грехи человеческие, жила в ней и Вселенская Церковь Христова. Католичество остаётся осью западной истории. Всё минует, всё тлеет, одно католичество остаётся. Оно вынесло все испытания: и возрождение, и реформацию, и все еретические и сектантские движения, и все революции. Чувство вселенскости, которое даёт католичество, поражает своей мощью и приводит в трепет даже неверующих. Даже неверующие должны признать, что в этой исключительной силе католичества скрывается какая-то тайна, рационально необъяснимая". Сегодня правда этих слов всё так же убедительна. Но при всем нашем уважении к католичеству, тем более печально сознавать какую-то общую неловкость от догмата о личной безошибочности Папы в делах веры и нравственности. Да, конечно, в воинствующей Римской церкви должен быть единый главнокомандующий и все должны ему повиноваться. Но зачем было облекать эту практическую, засушную правду в столь неправдоподобную догматическую форму? И мы имеем уже факты новейшей истории, когда Папа так явно для всех *ошибается экс катедра*: энциклика Павла VI о запрещении противозачаточных средств, еще раньше — догмат Пия XII о

телесном Вознесении Богоматери.

В порядке примечания надо остановиться на этом новом догмате. "И восшедшего на небеса, и сидяща одесную Отца" — эти слова древнего Символа Веры в наше время могут быть истолкованы только символически, как образное выражение непостижимой тайны Воскресения. В некоторых древнейших рукописях Евангелий нет Вознесения, все явления Христа Воскресшего заканчиваются подобно явлению в Эммаусе: "*И стал невидим для них*"... Говорить о натуральном телесном "полете" Христа "через стратосферу" (есть еще у нас такие эксцентрики), говорить так сегодня просто кощунственно. В сущности, мы *не знаем, что думать* нам о Вознесении Христа и, может быть, самое лучшее было бы смотреть на этот церковный праздник как на символическое заключительное торжество Воскресения. И вот в такое-то время преподнес нам Папа новый догмат о телесном Вознесении Богоматери. А в некоторых кругах католичества проектировалось телесное Вознесение еще и Иосифа-Обручника. Хорошо, что хоть это не попало в безошибочный новый догмат, и дай Бог братьям-католикам благополучно выбраться из этих новых трудностей, которые они сами себе наделали.

Наше Восточное православие сохраняет в неприкосновенности догматическое наследие неразделенной Церкви. Символ Веры IV века, да постановления соборов V и VII веков против учений о неполной будто бы человечности Христа — вот и все наши догматы. В этой догматической сдержанности — великое преимущество Восточного православия и большие возможности для свободной христианской мысли на будущее. Сохранилось известие, что патриарх Тихон возразил кому-то, обвинявшему проф. М. М. Гареева в протестантизме: "*Что ты, что ты — какой же он неправославный. Православие тем и хорошо, что многое может вместить в свое глубокое русло*".

Так в основах — в учении веры. Но в том, что касается практики Восточной церкви, то лучше бы по возможности не употреблять термина "православие". Его историческое содержание многозначно, буквально же оно выражает гордыню, которая не имеет себе оправдания. Часто оказывается так, что наше православие совсем неправославно. Не касаясь фактов и проблем, связанных с совершенно особенными внешними

условиями, приходится отметить крупные недостатки нашего церковного богослужения: закрытый алтарь, поразительное молитвенное многословие, необъяснимые церемонии, фальшивые титулы, торговля у свечного ящика, литургическое унижение женщины и многое другое. "Православием" называют слепое обрядоверие и церковное фарисейство. Автор недавно узнал, что есть дремучие духовники, которые именем "православия" запрещают новым христианам молиться о своих неверующих родных... Некоторые стремятся сделать "русское православие" знаменем ущербного национализма.

Но есть у Восточного православия и подлинно драгоценные сокровища прошлого: философия, мистика, аскетика, икона... Да и в церковном богослужении нашем, при всех недостатках, многие находят качество особенной мистической теплоты. В принципе возможно и у нас литургическое возрождение в свободном, широком разнообразии форм.

Говоря о *протестантизме*, сразу же надо отметить, что у нас он представлен в самой худой форме так называемого "баптизма". В частности, отвратительна у этих людей поглощенность задачей эгоистического личного "спасения", а также их библейское текстопоклонство. Отвлекаясь же от этих местных извращений, следует признать, что верховный принцип протестантизма — личная свобода и постоянное обновление форм — принадлежит к самой сущности христианства. Вероятно, правильна характеристика протестантизма как преимущественно "мужского" типа христианства веры, и не случайна распространенность его в "мужских" северных странах. Существенный изъян протестантизма — отсутствие *всякого* почитания Божией Матери и святых, запрещение молиться об умерших. Но в свободе протестантизма возможно ведь и возвращение его к этой древней практике христианства.

Однако, есть в Западном протестантизме и такие явления, которые должны быть вынесены из сектора христианства веры. Автор вспоминает встречу со студентом-теологом — да, теологом, который запросто объявил, что не признаёт за "Иисусом" никакого Божественного достоинства, считает его "революционером".. По-видимому, на Западе подобные взгляды не такая уже редкость. Христос сказал, что всякая хула на Сына Челове-

ческого простится человекам. Но нельзя же называть это христианством веры.

Возвращаясь к протестантизму подлинному, христианскому, надо еще указать, что с ним связаны инициатива и неудача так называемого *экуменического движения*. Оно задавалось целью: при свободе вероисповедных различий организовать *единство действий* всех христианских церквей. Но католики — едва ли не большая половина всех христиан на земле — от участия отказались. Остальные же церкви *отказались от действий*. В результате, под титулом Всемирного Совета Церквей существует только огромная празднословная канцелярия. Ведутся бесконечные собеседования по вопросам вероучительным, причем представители Восточного православия заранее объявили, что видят "вожделенное единство" только в полном догматическом "единомыслии", то есть в *присоединении* к себе всех других христиан. Но никогда уже *не будет* такого "единомыслия".

Итак, *разделению* христиан по вероисповеданиям не видно конца. Но изменилась атмосфера, исчезла вражда, все переходят от анафемы к мирному диалогу. Вспоминается крылатая фраза, сказанная Киевским митрополитом Платоном (Городецким) в речи при посещении костела: "*Наши перегородки до неба не достигают*". Можно вообразить современное христианство веры как бы "надконфессионального" плана, когда человек с любовью и пониманием участвует и в Восточном, и в Западном обрядах, с благоговением приемлет всё лучшее, вдохновенное, что посчастливится ему встретить в каждом из трех направлений христианства веры. Как выразился об этом Карл Барт: "*Единство Церкви не создаётся — его открывают*".

Это единство — в общей Надежде всех христиан, в Надежде, которая основана на общей вере в Божественное достоинство Христа. "Сущность Христианства — в Личности Христа, в космическом значении этой таинственной Личности... .. Через Христа *Бог* стал родным и близким человеку" (Н. А. Бердяев). Христос — "*Человеческое лицо Бога*". Христос — "*Икона Бога Невидимого*" (Колос., I). Во Христе *Бог* явился воистину достойным нашего преклонения и во Христе *Человек* показал себя воистину достойным Божественной славы. "Посему и Бог Его

превознес и даровал Ему Имя выше всякого имени, дабы пред Именем Иисуса всякое колено преклонилось — небесных и земных и (даже) преисподних” (Филип., 2). И Этот Человек в таинственной общности со всем человечеством соделал за нас невозможное для нас — *Собою* приобщил нас к Божественной Жизни... Таковы общие символы христианства веры, в этом — единая Надежда всех христиан на земле. И в этом — единственно истинная, то есть единственно заслуживающая такого слова *Надежда* всего человечества.

* *
*

Автор воздерживается говорить о других исторических религиях, потому что познания его в этой области крайне поверхностны. С точки зрения христианства веры, *все религии истинны* — в том, что у них есть общего с христианством. Это общее религиозная интуиция Божественной Святости, побуждающая человека нравственно “бояться” Бога, любить Бога, надеяться на Бога.

К религиям нехристианским надо отнести и религии новейшие, так сказать, самодельные, которые принимают этику христианства, но не признают Личной Божественности Христа. Таковы нехристианские ответвления протестантства, таково наше толстовство. Характерна их претензия называть себя все-таки христианством — так прекрасно моральное учение Христа. Но посмотрим, например, на символы толстовства. Вместо Отца Небесного — “Хозяин”, который велит нам, работникам, вести себя хорошо и делать добро. А сам “Хозяин” *вовсе не добр*, сам он скуп и жесток: он убивает работников, он не дарует им личного Воскресения, участия в Вечной жизни... При всем уважении к личности изобретателя такой религии — нельзя называть ее христианством, христианством веры.

Христианство же совести и воли открыто для всех. Ганди, Швейцер — вот наиболее известные имена праведников нашего века в “инорелигиозном” секторе Церкви Христовой.



Что такое *атеизм*? Кажется, для всех уже должно бы быть достаточно ясно, что атеизм вульгарный есть недомыслие, недодуманность. Атеизм более просвещенный, так сказать, интеллигентный, должен признать присутствие за природными закономерностями некоего Разумного Начала, по слову Эйнштейна — “Высшего Интеллекта”, “проявляющего себя в упорядоченности мира”. Но в этом упорядоченном мире — зло и страдание, невинное, бессмысленное страдание. Вот сильнейший аргумент атеизма. “Высший Интеллект” — это не Бог, атеист не испытывает по отношению к нему религиозного чувства. *Кто же это, что же это?*... Получается так, что мы существуем, копошимся под равнодушно-жестоким взором какого-то сверхчеловеческого Сознания, абсолютно нам чуждого и враждебного. И если атеизм вульгарный есть Абсурд бессмысленности, то атеизм разумный есть Абсурд какого-то чудовишного, кошмарного Смысла... *Атеизм — это абсолютное Отчаяние, Ужас, невыразимый Ужас.*

Когда человек мыслит себя в Абсурде атеизма — казалось бы, естественно ему опуститься, погибнуть. Увы, так это и бывает в явлениях цинизма и пьянства. “Станем есть и пить, ибо завтра умрем”. Апостол Павел цитирует эти слова пророка Исайи, показывая отчаяние человека без надежды на Воскресение (Коринф., I, 15). Но вот, нет же — мы знаем удивительных людей, которые называют себя атеистами, практически же проявляют чудное благородство стремлений и великую душевную силу. В личном общении, в драгоценных встречах автор получил волнующее откровение “анонимного” христианства совести и воли. “Безрелигиозный сектор Церкви Христовой” — это не абстракция, это радостная реальность, которая, с точки зрения христианства веры, только так и может быть обозначена. Мой друг называет себя атеистом, на деле же он поклоняется тому же самому, общему для всех, единственному Идеалу человечности, который мы, христиане веры, увидели в Христе. Но у нас, в христианстве веры — наследственный и личный религиозный опыт, у нас молитва, таинства, чудеса, у нас надежды, от которых дух захватывает. А у него ничего этого нет, он покло-

няется и служит Богу, "помогает" Богу совершенно, так сказать, бескорыстно, не ожидая себе никакой награды, никакой Вечности, из одного, можно сказать, воистину чистого, *свободного* уважения. Это возвышает его в моих глазах чрезвычайно. *Что это?..* Надо прямо так и признать, что это — чудо, это какая-то таинственная глубинная, мощная связь человека с Высшей, Вечной Человечностью нашего Господа.

В практике жизни, *достойной жизни*, такой человек *забывает* о теоретическом Абсурде, об отчаянной безнадежности своего будто бы атеизма. Но, при всем уважении, нельзя назвать похвальным такое состояние неполной сознательности. И первое, что автор уверенно посоветовал бы своему другу — это переименовать себя из атеиста в *агностика*.

* *
*

Мне не по силам вести философский разговор, но для этого достаточно и самых простых честных размышлений. Из письма одного моего друга, образованного математика: "... Для человека моего поколения и моей среды важно осознать, что атеизм не есть неизбежный выбор, что выбор зависит от нас самих". Все мы должны, по совести, согласиться на том, что мы *не знаем* подлинного, последнего значения действительности. Только интуиция и религиозный опыт стремятся в символах выразить свои прозрения, как они полагают, в сверхразумную тайну. Если такая интуиция у меня отсутствует или, может быть, спит, — я должен, по совести, воздержаться от суждения. Если у меня нет слуха — не могу же я утверждать, что нет музыки. Почему это я обязан думать, что в основе столь таинственного бытия — бессмысленность или Смысл, кошмарный, кощунственный, чуждый нашим человеческим святыням? А ведь именно это утверждает атеизм.

Аргумент зла и страданий не имеет решающего значения. Он действует только при условии превратного представления о Боге, как о Самодержавном Властителе, Который будто бы повседневно управляет всем, что бы не вытворялось в нашем мире — распоряжается землетрясениями и эпидемиями, война-

ми и лагерями. Думая так, мы приписываем Богу всё зло и все страдания мира. Но ведь можно думать иначе. Бог творит мир не "внутри" Себя Самого, Он воистину творит, творит отдельный от Себя, *свободный мир*. И Он не вмешивается в жизнь свободного мира насильственно. Попробуем вообразить себя, так сказать, на месте Бога, сотворившего свободный мир. Если это подлинная свобода, то это свобода и для зла. А зло есть причина страданий. Страдают все — виноватые и невинные, потому что природа и человечество есть единый, целостный организм. Вмешаться Богу насильственно в жизнь этого целостного свободного мира — значило бы всё нарушить, остановить, уничтожить... Итак, главный аргумент атеизма бледнеет перед откровением о *свободе*. Да ведь и сама эта возможность нашего атеизма, возможность отрицать "существование" Бога — разве не есть "*откровение свободы*", которую даровал Бог человеку?

Но пусть не подумают, что такое представление о Боге означает только возврат к "деизму" XVIII века. В символах христианства Бог — не равнодушный, благополучный Зритель. Нет, через Сына Сам Бог участвует в трагедии свободного мира, входит в нашу историю, несет бремя наших грехов, принимает всю тяжесть наших страданий. *Бог сострадает нам*, Божественное сострадание абсолютно. Здесь уместно привести мало кому известные строки из "Герцин" Л. П. Карсавина: "*Страдаешь мукой Ты всего живого: в огне сжигаем, на дыбе разъят, в слезах ребенка Ты, в агонии больного*". Тут надо договорить еще, что вместе со всем этим мы, верующие, всегда таинственно чувствуем в Боге вседержительную Мошь, Основу всякого бытия. Мы веруем в возможность чуда, в таинственный Промысел Божий в личной судьбе человека. Как это совмещается — мы не знаем, это сверхразумные тайны, вечная проблематика христианства. Привожу эти сведения бегло, конспективно, только чтобы показать, как всё это значительно и как непросто. Нет, атеизм не есть неизбежный выбор, для этого нет вполне достаточных оснований.

Поэтому если у меня нет, действительно нет никакой религиозной интуиции — мое место на позиции *агностика*. Покинуть ее — это значило бы выйти в Абсурд атеизма. А для этого у меня нет достаточных оснований. *Бытие — Тайна*. Это

чуткий человек должен бы ощущать ежесекундно, и у этой тайны только два альтернативных решения. Либо это *тайна безумная*, либо это *тайна священная*. Третьего не дано. По совести, крайне легкомысленно было бы *остановиться* на первом решении — ведь, право же, у нас нет для этого достаточных оснований. *Не знаем!* В позиции агностика есть честность — и в ней уже есть утешение. Ибо неизвестность — это уже *вероятность Надежды*. Постоянная, пребывающая вероятность, ибо отвергнуть ее — это значило бы принять вероятность обратного: *Отчаяние, Ужас, Абсурд*. А для этого, право же, у нас нет вполне достаточных оснований.

* *
*

Второе, что автор посоветовал бы своему другу — это поближе познакомиться с христианством веры. Паскаль писал: *"Вот наследник, который находит документы на свой дом. Неужели он скажет: а может быть, они фальшивы, — и не сочтет все-таки нужным исследовать их?"*. Неужели мы откажемся проверить документы на Дом Вечности — мы, пребывающие в холоде безнадежности, во мраке смерти? Христианство — оптимальная из религий, хранит в себе подлинную Надежду человеческого существования, и другой надежды, достойной этого имени, у людей на земле нет.

Но тут автор должен предупредить о великих трудностях. Нужно будет сразу же войти в современную проблематику христианства веры. Здесь так нужно бы живое общение, церковность в истинном значении слова, а у нас ее нет. Нужна информация, а у нас она так недостаточна, либо же так горестно не соответствует величию христианства. Что уж и говорить о наших храмах, где бедные священники проповедуют теперь, как правило, всегда только на двойку, что уж и говорить о них, когда кафедры всемирного значения используются так недостойно, подчас прямо-таки издевательски нехорошо. В присутствии уважаемых людей автору стыдно было бы включить радио с религиозной передачей из Лондона или Вашингтона. Какой упадок, какая выдающаяся бездарность по сравнению, скажем, с

передачами о спорте. Величайшее унижение христианства. Единственными исключениями бывают иногда выступления священника о. Александра Шмемана, но его давно не слышно.

Давно уже замечено, что проповедь Христианства никогда не оставляет только нулевого, безразличного впечатления. Всегда в результате — либо взволнованность, душевный подъем, либо уныние и отвращение. Очень опасна неискренность. Но не менее вредна бывает и искренность, когда она выражает себя в благочестивом примитивизме или в запальчивой "апологетике". Со стыдом вспоминаю рассказ, как к знаменитому физика явился добрый христианин и принялся убеждать его, ссылаясь почему-то на Эйнштейна, что он должен уверовать в Бога. Ученый мягко возразил, что "*для этого нужны более глубокие основания*". Он прав абсолютно. Уверование — это великое таинство души, чудесное рождение в ней личного молитвенного отношения к Богу Живому.

Должен быть какой-то сокровенный *высший смысл* в том, что сильному человеку не даётся благодати религиозной веры. Мы можем оценить связанную с этим захватывающую идею *свободы*. Бог чтит свободу человека, Он не заставляет Себя признать, Себе покориться принуждением логики или подавляющей интуиции. Трудно уверовать в Бога — но нельзя же успокоиться в Абсурде атеизма. Нерешаемость, неизвестность — это *свобода*, постоянное напряжение *свободы*. И в этом положении благородный, милосердный, великодушный агностик, не сознавая себя религиозно, определяет себя религиозно фактически, — в самом глубоком смысле слова религиозно. Да, мы не знаем, "существует" ли Бог. Существует Святыня, духовная Красота истинной человечности. Согласен ли я вот так, ничего не зная о Боге, безо всяких расчетов и гарантий, свободно преклониться пред этой Красотой, ее избрать в решающий Принцип моих стремлений и действий? Вот — подвиг свободы, который, с точки зрения христианства веры, заслуживает высочайшей оценки. *Достойно жить в неизвестности*: вот девиз мужества и свободы, при исполнении которого бывает радость великая на небесах.

В заключение автор предостерегает от ошибочного впечатления, будто сказанным выше как-то унижается священное христианство веры. Напротив! Можно сказать попросту так:

всё у нас остаётся на своем месте, но очень расширяются наши представления о владениях Господа нашего Иисуса Христа.

Январь 1974

ПИСЬМО

Дорогой Икс! Перечитываю "реферат" о Всечеловеческой Церкви (1974) и сожалею о недостатках этого (и этого) моего сочинения. Но продолжаю думать, что в целом все-таки тема была поставлена и решена верно. Теперь я могу сослаться на С. Л. Франка — на его книгу "С нами Бог". Оказывается, что наш философ задолго до Карла Ранера писал уже об "анонимных христианах". Он указывал, что "неверующие, ищущие Правды и осуществляющие ее в своей жизни, *бессознательно суть верующие и христиане*". Вы знаете, конечно, что, в отличие от Церкви "эмпирически-реальной", философ развивал понятие Церкви "сущностно-мистической", к которой в принципе относил *всех людей* доброй совести и воли. Напомню один из его текстов:

"В согласии с намеченным выше истинным понятием Церкви можно утверждать, что дело объединения верующих и возрождения Христовой Церкви, строго говоря, совсем не ограничено объединением или сближением исповеданий, открыто и сознательно признающих себя христианскими; с более широкой — с *истинно-христианской* (подчеркнуто автором) — точки зрения, оно и по существу, и в особенности перед лицом наступления антихристианских, демонических сил означает объединение вокруг Христовой Правды *всех людей* (подчеркнуто мною. — С. Ж.) — включая членов иных, нехристианских исповеданий или даже людей, по своим теоретическим воззрениям *неверующих* (подчеркнуто мною — С. Ж.) — поскольку в их сердцах *фактически* (подчеркнуто автором) живет сила любви и вера в ее спасительность и в необходимость служения ей".

Со словами о вере атеиста в спасительность любви нельзя согласиться; но любовь и без веры спасительна. В целом же тема рассмотрена на самом высоком уровне, и пусть к этой книге обратятся мои церковные спорщики.

"Реферат" был посвящен одному из замечательных узников совести, который называл себя атеистом. Как Вы знаете, в дальнейшем у меня с ним возникла дискуссионная переписка, в которой приняли участие и другие лица. Я очень недоволен многими местами моих выступлений, они были, что называется, не на уровне предмета. Но ничего уже не поправишь. Могу только записать еще вот некоторые непритязательные заметки в дополнение к "реферату". Может быть, что-нибудь в них Вам пригодится. Знаю, что Вам очень некогда, и не ожидаю письменного ответа.

* *
*

Христианство — оптимальное, но и самое *трудное* вероучение из всех религий. Есть принципиальная разница между религиями единого Бога и христианством — религией Бога и Божественного Человека. В "реферате" не был освещен очень важный вопрос об этих особенных, чрезвычайных *трудностях* именно *христианской* веры. В черновых тетрадах к "Бесам" М. Ф. Достоевский записал от лица одного персонажа такие рассуждения: "... дело в настоящем вопросе: *можно ли верить*, быв цивилизованным, т. е. Европейцем? — т. е. верить безусловно в *Божественность* Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом и состоит)... Но если *православие невозможно* для просвещенного (а через 100 лет половина России просветится), то стало быть, все это фокус-покус, и вся сила России временная. Ибо чтобы была вечная, нужна полная вера во все. Но *возможно ли верить?*"

Подчеркнуто мною. Я удалил из контекста ненужные здесь суждения о политической будущности России. Обращает на себя внимание настойчиво повторяемый вопрос: возможно ли верить? Возможно ли верить в Божественность Христа, в Личное Тожество Бога и Человека — еврейского Учителя Иисуса?...

Ныне, через сто лет, мы можем ответить, что да — такая вера возможна, но что она действительно перестала быть явлением "народным", она доступна только избранному меньшинству.

Идея земного, человеческого *уничтожения* Христа глубоко нас трогает в принципе, но бывает, что мы испытываем великое смущение, когда встречаемся с уничтожением в его подлинной фактичности. Имею в виду в первую очередь уничтоженность самих Евангелий, которые подверглись всем условиям и условностям человеческого предания. Это у меня старая и до сих пор не переболевшая тема. Приведу сейчас только два примера — два сообщения из начала и из конца евангельской истории. Летающая "звезда" Рождества и Вознесение "на небо"...

Христос "непреложно вочеловечился", по латинскому тексту Символа Веры — "*стал Человеком*". Христос — вполне Человек, с характерными чертами места и времени Своего земного рождения. И в евангельских иконах Христа мы замечаем некоторые сохранившиеся уничтожительные признаки этой исторической "провинциальности" Иисуса. Нигде в евангельских поучениях нет осуждения института рабства. Или вот, например, Учитель в гневе изгоняет торгующих из храма, но Он не выступает против кровавых жертвоприношений в том же храме. И для Тайной Вечери "надлежало заклать пасхального агнца" (Лука, гл. 22). Как смотреть на всё это? Мой друг Б., человек глубокой и просвещенной веры, отвечал мне, что надо различать в структуре личности ядро, абсолютный центр — и периферию, на которой действуют относительные местно-исторические формы морали. "Человеческое совершенство Спасителя не только есть, но и превосходит всякое представление, если это совершенство относить к Его Личности, а не к относительным нормам". В книге "Проблема боли" К. С. Льюис, вполне ортодоксальный католик, по другому поводу признавал принципиальную возможность суждения, что "Господь, совлекшись Своей славы, мог, как Человек, разделять общераспространенные предрасудки века".

Мы не знаем, что думать о несбывшихся евангельских предсказаниях близкой космической катастрофы и Второго Пришествия. Тут приходится выбирать: либо что несбывшиеся предсказания, может быть, не так поняты, ошибочно приписаны

Учителю, либо в данном случае Сам Он ошибался. Относительно второй возможности писал по другому поводу названный выше католический автор: "Лично я думаю, что Христос во плоти не был всеведущим, хотя бы потому, что человеческий мозг не способен вместить всеведение, а сказать, что мысли нашего Господа никак не зависели от формы Его мозга, значит отрицать реальность Воплощения, то есть стать докетом. Таким образом, если бы наш Господь сообщил бы что-нибудь, что с исторической или научной точки зрения неправильно, это не разрушило бы мою веру в Его Божественное происхождение".

А вот вопрос, на который не может быть ответа. Если, по Евангелиям, Христос на земле *помнил* о Своем предвечном Сверхбытии, если, по Евангелиям, Он *предвидел* Славу Своего Воскресения, то ведь это, выходит, были не подлинные наши страдания, не подлинная, но *кажущаяся человечность*? Думать так — значит исповедывать древнейшую ересь докетов. Но что же нам думать?... Один неблагоразумный апологет пытался *объяснить* мне догмат о "неслиянном и неразлучном соединении двух естеств во Христе" аналогией из актерского искусства: вот так же, например, актриса Ермолова на сцене создавала себя одновременно и королевой Марией Стюарт, и актрисой Ермоловой. Это курьёз, но таковы же в сущности и всякие другие благочестивые попытки изобразить Личное Самосознание Христа на земле... Пожалуй, можно проявить смелость христианской свободы только в одном отношении — высказать догадку, что евангельские иконы написаны уже в обратном свете Воскресения, и таким образом в них произвольно совмещаются иногда аспекты человеческого унижения Христа и Его Божественной славы. Не об этом ли свидетельствовали загадочные слова апостола (Коринф. II, гл. 5), что "мы уже *не знаем* Христа по плоти"?... *Не знаем!* Совсем не обязательно нам *всё знать*. Это священная тайна евангельской истории. Личная Тайна Христа.

"*И блажен, кто не соблазнится о Мне*". Это изречение звучит сегодня в новом контексте. Блажен, кто в таинственном, неисповедимом откровении приобщился к церковной вере, узнал во Христе своего Вечного Господа. Блажен, кто не соблазнится, поэтому, ни от каких известий о бывшей человеческой унижен-

ности Христа, когда Он ходил по нашей земле. Блажен, кто не соблазнится от человеческой униженности священных Писаний... Но блаженство это доступно сегодня только немногим.

Другого рода, но не менее значительны другие трудности христианского вероучения. Троичность Бога. Происхождение зла. Библейский миф о грехопадении человека. Искупление. Промысел Божий. Смысл истории — космической, всечеловеческой, личной истории... Сегодня нельзя уже отвечать на эти вопросы в духе прежней самоуверенной догматики. Мы не можем понять строения атома, где же нам пытаться проникнуть в Божественные тайны и проблемы? Да, *спасти человека*, приобщить человека к Божественной Жизни, — воистину, это может быть проблемой для Самого Бога. На моем уровне недостаточной компетентности мне представляется, что пришло время своего рода христианского агностицизма — время смиренных, благоговейных "признаний о незнании". Мне представляется, что наше христианство веры — это свет Надежды во тьме нашего неведения. Источник этого света — Христос; но откровение о Христе даётся только немногим.

Поэтому совсем не удивительно, что христианство веры является сегодня достоянием только избранного меньшинства. Вот где можно смело сказать: значит, так это Богу угодно... Наше христианство веры — только "сектор" в символическом круге. Есть много неверующих людей доброй совести и воли, о которых мы хорошо знаем: *они не виноваты* в том, что они — неверующие.

Если так, то примечательна наивность тех христиан-православных, которые думают, что только для них открыта возможность *спасения*. При этом указывают на слова Христа Воскресшего в главе 16 Евангелия от Марка: "Кто будет верить и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет". Для порядка приходится повторить то, что я писал уже об этом раньше. В древнейших из сохранившихся манускриптов (Синайский, Ватиканский IV-V века и другие) Евангелие по Марку заканчивается, вернее же сказать — *обрывается* на словах Марк. XVI, 8: "... И вышедши, побежали от гроба; их объял трепет и ужас; и никому ничего не сказали, потому что боялись". В

более поздних рукописях, соответствующих общепринятому церковному тексту, следует продолжение — Марк. XVI, 9-20. В научном издании Нового Завета этого продолжения нет, оно вынесено в подстрочный аппарат. Да и для простого читателя довольно ясно, что это совершенно другое по стилю, представленное окончание Евангелия от Марка есть произведение некоего второго автора. Каково же было окончание у первого автора? Это одна из загадок новозаветного текста. И вот там-то, в этом позднейшем прибавлении к Евангелию от Марка и находится текст об осуждении неверующих.

Апостол Павел учил о "спасении верою", но это выражение имело только полемический смысл, смысл независимости спасения от "дел Закона" — от хирургической операции обрезания. "Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью" (Галат., гл. 5). В более точном славянском переводе: *"вера, любовью поспешествуема"*.

Вера же без любви — не добродетель: и "бесы веруют и трепещут" (Послание Иакова, гл. 2). Не добродетель и вера, поспешествуемая фанатизмом, жестокостью, запальчивым невежеством. Вспоминаю, как один очень уважаемый священник по поводу прочитанных им моих суждений о Вознесении так прямо в лицо мне и сказал, что испытывает желание, как он выразился, "заушить" меня — подобно тому, как святитель Николай, согласно легенде, дал затрешину еретику Арию... Это было сказано у него за чаем, и у меня было чувство только некоторой неловкости. Но потом, вспоминая, я понял, что из такого же источника сильной благочестивой веры исходили преследования, пытки, казни инаковерующих. Увы, само слово "вера" так оскандалилось, такую оставило по себе жестокою память в истории... Я отнюдь не забыл, что антихристианские веры в новейшей истории оскандалились в миллионы раз больше. Но это не утешение.

Не помню точно в каких выражениях Л. Н. Толстой писал, что в нашем церковном христианстве Символ Веры заслонил собою Нагорную проповедь. При всей антипатии к "учению" толстовства — приходится признать этот упрек в общем справедливым. И в личном плане — страшно подумать, сколько душевных сил потрачено в бесплодных размышлениях о труд-

ных предметах веры за счет неосуществленной практики христианской жизни... И уж если сравнивать себя с неверующими людьми доброй совести и воли — живо ощущение вины за недостойное личное представительство святого христианства. Ибо "кому много вверено, с того больше и взыщут" (Лука, гл. 12). Вера — это дар Божий, это отнюдь не привилегия, но тем большая наша ответственность.

* *
*

"Реферат" был написан под впечатлением от личных знакомств с неверующими людьми доброй совести и воли — в частности, с самоотверженными защитниками узников совести. Некоторые из них потом и сами стали узниками — узниками милосердия. Бесспорно, самое значительное духовное явление нашего времени — это страдания узников совести и узников милосердия. Напрасно называют их "политическими" заключенными — двусмысленный термин, за которым чудятся всякого рода экстремисты, потенциальные насильники, рвущиеся к власти. Нет — это в самом высоком смысле "этические" страдальцы, воистину, по слову апостола, участники Страстей Христовых. "Права человека", о которых они говорят, за которые терпят мучения — это в первую очередь *право не врать*, право знать, право думать, *право жалеть*... Это не только права — это *обязанности*, без осуществления которых человек перестаёт быть, становится недочеловеком. Речь идет о *защите человека* — это глобальная проблема нашей эпохи. И вот, мы видим, что это высочайшее по своему значению *христианское дело* выполняют главным образом люди арелигиозные. И даже так: верующие защищают только свои специфические "права верующих", но не защищают неверующих; а неверующие защищают и верующих.

С чувством глубокого смущения приходится думать о поведении в этом вопросе христианских церквей веры на Западе. "*В темнице был, и вы пришли ко Мне*" (Матф., гл. 25). Это евангельское слово исполняют сегодня нецерковные организации "Международной Амнистии", церкви же веры бездействуют.

Позорна безжалостность к узникам совести Всемирного Совета Церквей. И у нас вместо церковных святителей *печалование* за осужденных творят академик Сахаров с женой и иже с ними, почти исключительно атеистические люди... Одно утешение: понимать, что наши церкви веры — это *не вся* Церковь Христова.

* *
*



Здесь фото из Журнала Московской Патриархии № 7 за 1976 год. Храм Воскресения в Сокольниках, Москва. Слушают проповедь патриарха. Вот это и есть наш *Народ Божий*. Сегодня это в подавляющем большинстве женщины, простые немолодые женщины. Конечно, они заслуживают всяческого уважения. Но утешительно сознавать, что это — *не вся* Церковь Христова.

Этот женский народ наш церковный нуждается только в

одном — чтобы в ближайшем уцелевшем храме совершалось церковное Богослужение. И ради сохранения этой возможности церковного Богослужения иерархия давно уже, начиная с покойного патриарха Тихона, вступила на путь компромиссов, которые могут быть обозначены в самых отрицательных выражениях. *Но альтернативы — нет.* Встаёт вопрос: как же так, не абсурд ли это, что Церковь Христова существует на условии лжи ее возглавителей? Ответ: только в идее Всечеловеческой Церкви разрешается этот невыносимый иначе трагизм положения церковной иерархии. В том то и дело, что это у нас только литургический, ритуально-сакраментальный "сектор", что это — *не вся* Церковь Христова.

* *
*

Сожалею, что в "реферате" недостаточно показано значение "интеллигентного атеизма". Некогда меня поразила своей простейшей правдой цитата из одной апологетической книжки: "Того, кто *открывает* одну из тайн природы, называют гением. Но если *столько ума* проявляется в простых открытиях — то не противно ли рассудку допустить, что для *установления* столь сложных и гармоничных законов *не потребовалось* никакого ума?" (Лесетр).

Король ученых Эйнштейн был убежден в существовании "Высшего Интеллекта". Но если Интеллект — то и Сознание? Не кибернетическая же Машина... Да и Машина имела бы своего Сознательного Создателя. И вот — вопрос: что же думать нам об этом Сверхчеловеческом Сознании?

Евангелие от Иоанна (глава I) отвечает, что это — Божественный Логос, "Им же вся быша", "через Которого всё начало быть". Христос на земле учил об Отце Небесном, Его и нашем — о Боге Святом. *Святом* — в новозаветном смысле абсолютной духовной Красоты, достойной нашего свободного преклонения. За исповедание Своего Сыновства Отцу Небесному, за правду Своего учения о Себе и о Нем Иисус Христос умер — и силою этой правды совершилось таинственное Его Воскресение. Таково значение христианства — оптимальной религии человечества.

Это значение особенно ясно выделяется на фоне гипотетических размышлений "от обратного". Ну, а если бы не так? Если бы Христос только "прекраснее всех обманулся" (выражение Ницше), если Он Сам и исповедание Его поруганы, растоптаны, повержены в прах? Это значило бы, что Мечта наша о Святом Боге не оправдалась, что Реальность, которую мы называли "Богом", оказалась ниже, духовно *ниже нас самих*. В кратчайшей форме — это значило бы: *если Бог не отец Иисуса Христа, то это не Бог*. Это значило бы, что Сверхчеловеческое Сознание есть некий "Вместобог", что ли, я не знаю, как назвать его, и никакие человеческие ценности для него не существуют. Опять выражаясь на остром языке, не помню уж, Мережковского или самого Ницше: "Вместобог" это Насекомое, Паук, Нечто абсолютно нам Чуждое и Враждебное. Это значило бы, что у этого "Вместобога", в этом Сверхчеловеческом Сознании пребывает Смысл бытия, который по отношению ко Христу и ко всем святыням нашей человечности имеет *кощунственное* значение.

Вот это и есть подлинное значение сознательного атеизма. Если мы произнесем не условное "Вместобог", а употребим мистический термин "Материя" — изменится только грамматический род, придется то же самое думать о "Разумной Материи". Так из размышлений об одной только истине физической "упорядоченности мира" (выражение Эйнштейна) рождается *сомнение* мыслящего атеиста. *Неужели такой Кошмар?..* В свое время один мой друг записал мне "на память" стихи:

Пленяли нас болотные огни,
Дорогами казались бездорожья.
Но даже в эти пасмурные дни
Сомненья наши были
словом Божьим.

Мы привыкли думать, что сомневаются только верующие, что сомневаться грешно и надо "подавлять" сомнения. Это неверно — разумные сомнения и для христианина могут быть плодотворны. Сомнения же *неверующего* относительно догматического атеизма могут быть воистину словом Божьим. Это правильные сомнения — сомнения в абсолютной, отчаянной

безнадежности человеческого существования. Вот тема для хорошей творческой работы: продумать *сомнения мыслящего атеиста*. Никакой этой нашей "апологетики" нет — только строжайшее, беспристрастное изучение предмета. В результате появятся большущие *знаки вопроса*, атеизм догматического толка окажется невозможным. Человек должен будет свободно признать наличие *Тайны существования*, переименовать себя из атеиста в *агностика*.

* *
*

Продолжаю думать, что в позиции *агностика* человеку открывается *возможность Надежды*. Недавно я получил авторитетное личное свидетельство такого рода. Отрывок из письма, привожу с разрешения автора: "К вере и верующим я отношусь с величайшим уважением. Мне самому близка вера в Высшее Начало, в Высший Смысл мироздания. Мне особенно дорога нравственная сторона христианства. И мотивами своих поступков я все уверенней называю не соображения "пользы", а соображения нравственные. Но, в сущности, я по-прежнему скептик. Сомневающийся. Такой уж склад ума, видимо. — Не знаю. Может быть. Наверное. Хорошо бы. — Только так на возможные вопросы о моем отношении "к божественному" мог бы по совести ответить я". Интеллектуальная совесть не позволяет человеку принять окончательного решения. *Не знаю*. Душа агностика закрыта для веры, но она открыта для робкой, колеблющейся, свободной *Надежды*. Ничто, ничто на свете не может "запретить" нам надеяться. *Может быть*. Может быть, что Тайна мироздания имеет оптимальное решение — что есть воистину Высшее, Святое Начало бытия, и есть Высший Смысл человеческого существования. *Наверное*. Это какая-то острая догадка, взлёт *Надежды*. *Хорошо бы!*... И вместе с этим упованием мощная нравственная интуиция руководит человеком в практическом осуществлении достойной жизни.

Мне представляется, что в ситуации *агностика* категория *Надежды* имеет "экзистенциальное" оправдание. Стоя перед закрытой дверью, пред *Тайной*, я не имею "права" на *отчаяние*

— на духовное самоубийство. Напротив, здесь могут быть — не доказательства, конечно, нет — здесь могут быть, скажем так, у каждого свои свободные, для себя особенно веские положительные *мотивы Надежды*. Например, таинственный феномен человеческой доброй Совести. Или — “литературное чудо” Евангелий, внешне столь бедных и разноречивых, но дающих удивительно цельный Образ Христа, а местами поражающих нас текстами, воистину, по слову Пушкина, “Божественного красноречия”... Или — историческая тайна происхождения христианства. Как это могло бы случиться “естественным” образом — не глупо ли так думать об этом? И в начале всего, как выражаются, “фигура Христа”. Сначала постановили, что вообще “никого не было”. Потом Анри Барбюс написал, что все-таки “*Кто-то прошел*”... Мне неизвестно, в каком контексте Наполеон произнёс: “Уж я то знаю людей, вы можете мне поверить: *Иисус был не просто человек*”.

Я назвал наудачу три примера мотивов Надежды. Их много, и они очень серьёзны. Вот еще тема для хорошей творческой работы: надежды агностика. Хорошо бы *соединить* это с темой о сомнениях атеиста, обосновать переход на позицию агностика, а затем показать реальные возможности *Надежды*. У меня есть и хорошее название темы: “*Апология Надежды*”. Апологии христианства веры бывают неудачны, когда пытаются доказать недоказуемое и умолчать о собственной нашей проблематике, о трудностях веры. Апология агностической *Надежды* могла бы быть вполне искрення и свободна... Увы, мне не по силам достойно исполнить такую работу.

* *
*

Мне справедливо указывали на неточность выражения: “христианство для всех”. Конечно, не для всех, а только для всех людей доброй совести и воли — верующих, инаковерующих и неверующих. Нет единой Церкви веры, существуют разные Церкви с разными изложениями веры, и соединения их не предвидится. *Где же единая Церковь Христова?* Для ответа не нужно сочинять абстракции. Единая Церковь — это видимая и

вечная, пребывающая Реальность, это спасительная Общность всех людей доброй совести и воли под Главою — Христом. И пусть не смущает, а вдохновляет нас участие в этой универсальной "онтологии" христианства тех, кто не разделяет христианской "идеологии". Ведь Христос "*стал Человеком*", — вот люди и признают Его за человека. Ведь это только нам, христианам веры, даровано откровение о Его Воскресении и Божественной славе. Для всего остального мира человеческое уничтожение Христа продолжается. Но вот, мы видим, как эти удивительные люди, не зная о Божественности Христа, возводят христианский Идеал *человечности* в Верховный Принцип всех своих оценок и стремлений. На нашем религиозном языке — в Божественный Принцип. И в этом своем свободном избрании они проявляют *верность*, которую дай Бог нам, христианам, проявить в нашей *вере*. Нельзя отлучать таких людей от Христа, надо осмыслить реальность Его Всечеловеческой Церкви.

Декабрь 1977

Свящ. Сергей Желудков

ПОЕЗДКА В СССР

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Рассказ мой, естественно, не претендует на исчерпывающую полноту. Это чисто личное восприятие человека, прожившего свою жизнь вне России и приехавшего в страну, которую я покинула ребенком.

Это была обычная туристическая поездка, организованная университетом, где я работаю. Со мной была дочь, американка, которой захотелось повидать родину своих предков.

Вот первые впечатления. Москва. Идем по Красной Площади в толпе москвичей. Толпа молчаливая, однородная. Люди не переговариваются, не останавливаются, движутся "целенаправленно", в какой-то угрюмой сосредоточенности. Одеты в общем добротно. У женщин "нездешние" модные сапоги и явно "здешние" меховые шапки. Дети, закутанные в шарфы, тоже шагают деловито, держась за взрослых. Лица в толпе грубые, фигуры приземистые, грузноватые. Это был как бы один тип людей—"выживенцы", и эти люди имеют полное основание быть озабоченно-сосредоточенными, ибо в СССР мало выжить, надо еще и продолжать выживать. Редкие фразы, которыми они обменивались, были обычными, житейскими. Это совсем не пестрая, живая, разношерстная толпа европейских городов или Нью-Йорка.

Это первое впечатление "однородности и дисциплинированности" толпы подтвердилось затем в метро и в театре. Мы были в Большом на опере. Там тоже публика ведет себя удивительно чинно. Молчаливые очереди в буфет, ни оживленного обмена мнений, ни разговоров о спектакле.

Большой Театр, в основном, был заполнен иностранными туристами и утвердившейся прочно в советской системе разного

уровня "номенклатурой". Должна признаться, что эти первые встречи с моими бывшими соотечественниками никакого прилива чувств к ним у меня не вызвали, не умилила меня их русская речь и не ощутила я себя "дома". Этому, я думаю, способствовали и развешенные повсюду транспаранты: "Вперед к победе коммунизма!", "Знамя коммунизма пронесем через все времена!", "Коммунизм — светлое будущее человечества!" и пр. т. п. От этих призывов становилось как-то "неуютно".

Из окон автобуса были видны длинные очереди у магазинов, ресторанов, на автобусных остановках. Сосредоточенное, бесконечно терпеливое стояние в очередях говорило, что занятие это явно привычное и ничего другого им в этой жизни ожидать не приходится.

Общаться с местным населением в СССР — как известно, не так-то просто: и за ними следят, и за нами следят. Но благодаря знанию языка и часто по случайности удавалось встречаться с самыми разными людьми. Несомненен был их интерес ко всему иностранному, особенно к Америке. Заграница — недоступный, таинственный мир. При встречах я сразу же говорила: я — русская первой эмиграции, что всегда воспринималось доброжелательно. И тут начинались расспросы: — "Ну, как вы там живете? А что о нас там у вас думают?"

На "Зимнем фестивале" в окрестностях Москвы, куда нас возили развлекаться катаньем на тройках, мы с дочерью случайно оказались рядом с группой студенческой молодежи. Узнав, что мы говорим по-русски, нас забросали вопросами: — "Правда, что у вас в университет попасть очень трудно? И кто это может себе позволить? И у вас действительно думают, что у нас по улицам ходят медведи?" — Они явно были уверены, что мы не имеем доступа к информации, так же, как и они! Чувствовалось, что их тяготит отрезанность от западного мира: расспрашивали они о новых моделях автомашин и об американском быте, и о новых фильмах.

Интересная встреча была у меня с шофером такси в Тбилиси. Когда я ему сказала, что пропустила поездку по городу с своей группой и попросила его показать мне город, шофер весело ответил: — "Вот и хорошо сделали, не надо будет слушать всякую ерунду, которую они рассказывают туристам."

Да и что в нашем городе можно показывать?" Я попросила отвезти меня в православную церковь (было воскресенье). — "Это можно", — сказал он и повез меня по заброшенным улочкам и переулочкам к такой же заброшенной церкви. Она оказалась открытой; службы не было, но молящихся было довольно много. — "Ну, вот и хорошо, — сказал шофер, когда я вышла, — а теперь я вас немножко покатаю". Не доезжая до интуристовской гостиницы, он остановил машину, сказав: — "Я вас тут выпущу, и договоримся: ни я вас не видел, ни вы меня. Сами понимаете..." Я прекрасно все поняла, поблагодарила и вышла.

Туристические поездки с их строго установленными маршрутами, с обязательными осмотрами дворцов, музеев и прочих достопримечательностей, часто создают двойственное впечатление. Мы оценили отлично подготовленных экскурсоводов в Эрмитаже, некоторые из них, казалось, сами были остатками славного русского прошлого.

Однако, мы также получали полную дозу советской пропаганды и запрограммированного в наших советских гидах "марксизма-ленинизма" при каждом удобном и неудобном случае. Дворцовой площадью в Петербурге нельзя не восхищаться, но мне она, увы, показалась прелестной декорацией, настолько она не вязалась со своим теперешним окружением. В нескольких кварталах от дворца — облупленные стены жилых домов, грязные каналы, усталые люди с авоськами как-то не вписывались в архитектурную стройность и изящество старых зданий.

Грустное впечатление произвел на меня Гостиный Двор с толпой, жадно глазающей на выставленные товары, но мало что покупающей, и где, несмотря на вездесущность милиции, к нам подлетали "стайки" дельцов: — "Что продаете?" — Также печально было зайти в ресторан "Садко" на Невском, где еще пытаются "соблюсти фасон", но который был заполнен финнами, приехавшими на "уик-энд" в Ленинград. Все, что мы там заказали на обед, оказалось несъедобным.

От Средней Азии и Грузии у меня впечатление совсем другое: минареты, мечети, старые монастыри, — все эти памятники прошлого вполне вписываются в общий пейзаж. Толпа на рынках в Самарканде, в Бухаре одета в своем большинстве так

же, как и столетия назад: темные халаты, цветные тюбетейки, чалмы, пестрые платки на головах у женщин... По сравнению с Москвой и Ленинградом, тут не чувствовалось "прерванной истории" народа. Казалось, советская власть воспринимается тут, как очередное нашествие очередного завоевателя. Я с интересом наблюдала банкет для избранных представителей местного населения в нашей интуристской гостинице. Стол бы заставлен разными яствами и тут не было ни халатов, ни тюбетеек! И, если бы не лица, то ничем бы они не отличались от московских "выживенцев". В Средней Азии и Грузии нас кормили гораздо лучше, вплоть до зернистой икры к обеду и ужину.

На огромных открытых рынках в овощных лавках продавали всё больше сушеные фрукты, орехи, рис, но много было и капусты и картофеля. Выбор мяса весьма ограничен и трудно сказать, какого оно качества. В других лавках продавались примитивные предметы домашнего обихода: грубая обувь, мануфактура очень низкого качества. О ценах мне трудно судить, надо было торговаться, и они менялись от продавца к продавцу.

Народ показался мне тут куда веселее и общительнее. С нами заговаривали, нам улыбались. А наш гид из грузинского Интуриста, узнав, что в Вашингтоне проживает князь Давид Чавчавадзе, просила передать ему "привет от грузинского народа" и поинтересовалась, как ему там живется.

Народное искусство, о котором так громко кричат туристические брошюрки, мы почти не видели. "В "Березках" продавались все те же матрешки, палехские шкатулки и цветные шали. Таджикский халат для дочери я купила подержанный на толкучке у древней старухи, которая в ноги мне кланялась за те 10 рублей, что я за него заплатила.

Нас развлекали "народными" танцами. Исполнялись они превосходно квалифицированными танцорами, то были явно выпускники балетных школ Большого или Кировского театров, рассылаемые по провинциям. Такого рода официальный фольклор был втиснут в строгие рамки. Однако, по тому, как нас расспрашивали: — "А что у вас танцуют?" — и как мгновенно, неизвестно откуда, появился в записи западный "рок", когда моя дочь им показывала "нюу вейв рок", было ясно, что "для души" у

них есть свои отдушины!

Сколько бы вы ни читали, сколько бы ни слышали о советской системе, встреча с ней, лицом к лицу, поражает. В огромных гостиницах, построенных по последнему слову "науки и техники" иностранными архитекторами, на первый взгляд все будто бы "как у людей", но вот замечаешь, что швейцар у входа проверяет — кому дозволено войти, а кому нет. Дежурные на каждом этаже зорко следят, когда вы входите в номер, когда выходите. В гостиницах, предназначенных для интуристов, обслуживающий персонал говорит только по-русски. Даже в "Березках" почти та же картина.

В столичном аэропорту Внуково, в ожидальном зале удивляет отсутствие бытовых услуг: в дамском туалете шесть отделений, но пять из них оказались заперты. Нет ни туалетной бумаги, ни полотенце для рук. В буфете залежавшиеся бутерброды, но зато алкогольные напитки в изобилии.

Расписаний ни самолетов, ни поездов фактически не существует. По крайней мере, так было для нашей группы. То, что в брошюре было написано: "отъезд вечером" — могло означать и 12 часов, и час, и два ночи и даже четыре утра. Почему? Никаких объяснений, тем более извинений, это — нормально.

Процедура выезда из страны: обыски с раздеванием, произвольная конфискация личных писем и адресов. У меня из записной книжки вырезали страницу с русскими фамилиями и американскими телефонными номерами. Произвол, которому вы бессильны противиться. При виде подобного произвола, вся наша группа американских свободолюбивых индивидуалистов превратилась в послушное стадо овец и покорно просиживала часами в ожидании транспорта, принимая это как должное: — "Мы в России, — говорили они, — здесь так принято".

Проявление недовольства, своего рода бунт, я видела только раз в тбилисском аэропорту, когда местные жители "захватили" самолет, предназначавшийся для нашей группы. (Мы ожидали своей посадки всего два, три часа, но неизвестно, сколько часов томилась она на своем вокзале?). Когда нас подвели к самолету, милиция уже расправлялась с бунтовщиками: их вытаскивали силой из самолета, живой стеной ограждая подступ к трапу. Крику было много... Наша группа, остановившаяся в несколь-

ких шагах от происходившего, была в "шоке". Некоторые просили меня подойти к этим людям, извиниться и объяснить, что мы тут не при чем, мы в этом не виноваты. Какие уж там объяснения!

Любопытный случай мне рассказывали с покупкой янтарных бус в одной из "Березок". Покупатель-американец, выбрав и заплатив за бусы, увидел другие, которые ему больше понравились. Они стоили вдвое дороже, и полагая, что советскому правительству приятно будет заработать больше, он не предвидел особых затруднений при обмене покупки. Каково же было его удивление, когда продавщица на его просьбу коротко ответила: — Нельзя. — Почему нельзя? Ведь вы же сами только что продали мне эти бусы? — Нельзя, — повторила она, — я уже провела ваши деньги через кассу. — Последовали длинные переговоры, и, думая, что она его не понимает, покупатель позвал переводчицу-американку. Та подтвердила, что "нельзя". Он потребовал вызвать "начальство". "Начальство", ознакомившись с положением, поддержало продавщицу. Тогда рассерженный покупатель заявил, что он немедленно об этом доложит в надлежащее советское министерство, а переводчица тут же принялась составлять письмо самому министру торговли... Это возымело действие, из "нельзя" стало "можно", и бусы были обменены!

Такой безответственности также сопутствует и невероятное нахальство, если не сказать — хамство. Пример: в Самарканде я подхожу к "Березке", вижу — висит веревочка, на ней бумажка с надписью: "закрыто", а рядом вывешены часы, в которые магазин полагается быть открытым. За веревочкой сидят интуристские девушки, пьют чай и болтают. А это были часы, когда им полагалось работать. Я спрашиваю: — Почему закрыто? — Как написано, так и читайте. — Мимо проходит некто вроде "начальства". Я к нему: — Почему закрыто? — Он обращается к девушкам: — Вы чего, девушки, не работаете? — У нас ревизия, — бойко отвечает одна. — Какая ревизия? — Какая-никакая, обыкновенная... Я министру писать не собиралась, а лишь развела руками и отошла.

Людам, никогда не жившим под тоталитарным строем, не испытавшим на себе его гнета, трудно разобраться в том, что они видят и слышат в СССР. Моя дочь то и дело горестно

спрашивала: — Боже мой, что это за страна? Что это за люди?

Я и сама часто соглашалась с горестными возгласами дочери. Но мне было понятно, что советская власть, создавшая нечеловеческую систему зла и насилия, искалечила свои народы и грозит опасностью всему миру!

Конечно, где-то, невидимая туристским взглядам, идет и другая, скрытая жизнь. Мы знаем об этом по свидетельству людей, вырвавшихся из СССР, по литературе самиздата. Стойкость духа, стремление "жить не по лжи", жертвенность, готовность идти на мученичество. Знаем о людях, приходящих в церковь, возвращающихся к вере. Знаем Александра Солженицына, Андрея Сахарова, таких мучеников за веру, как отец Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова и других, им подобных, отбывающих свои "сроки" в тюрьмах и лагерях... Систематическое уничтожение русской интеллигенции, начатое после Октября 17-го года, продолжается и по сей день.

Я потеряла родину после революции в первый раз, я потеряла ее опять при встрече с ней в нынешнем 83-м. Но я верю, что истинно русская культура живет и там, в подполье, и у русских за пределами СССР.

Елена Якобсон

Вашингтон, 83.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Ю. В. КРУЗЕНШТЕРН-ПЕТЕРЕЦ

Восьмого июня, в городе Сан Матео, Калифорния, не дожив всего лишь одиннадцати дней до своего восьмидесятилетия, скончалась Юстина Владимировна Крузенштерн-Петерец.

Юстина Владимировна родилась в России 19 июня 1903 года. Ее предком по отцу был знаменитый русский мореплаватель адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Отец Юстины Владимировны — кадровый офицер Российской Императорской армии — погиб на фронте в Первую Мировую войну.

После Октябрьского переворота и Гражданской войны она, ее мать и брат бежали в Манчжурию и обосновались в Харбине. Здесь Юстина Крузенштерн окончила образование и занялась журналистикой — профессией, которой она посвятила всю свою дальнейшую жизнь.

В Харбине она печаталась в русскоязычной газете "Гун бао", а затем, перебравшись с семьей в Шанхай в конце 1930 года, стала постоянным сотрудником самой большой эмигрантской ежедневной газеты "Шанхайская Заря". Одновременно она сотрудничала и в крупнейшей местной английской газете "Норс Чайна Дейли Ньюз". Таким образом, она оказалась среди очень немногих, а может быть и единственным русским журналистом в Шанхае 30-х гг., способным работать профессионально на английском языке. Кроме того, отличное знание французского позволяло ей освещать жизнь влиятельной в те годы французской колонии города.

Юстина Владимировна всегда работала много, толково и вдохновенно. В диапазоне ее деятельности были репортажи, обзоры книг и журналов, комментарии на политические и культурные темы, интервью и, наконец, фельетоны. Как фелье-

тонистка, она была известна под псевдонимом "Мерри Девил", то есть, по-русски, "веселый чертенок".

В нормальное время и при нормальных обстоятельствах писательский талант Юстины Владимировны мог получить надлежащую оценку и должное вознаграждение. Но в условиях русской эмиграции в Шанхае это было невозможно. Юстина Владимировна разделяла участь подавляющего большинства русских эмигрантов-шанхайцев — людей, лишившихся родины, непрощенных гостей в чужой по культуре и обычаям стране, бедных и бесправных. Поэтому, несмотря на свою энергию и работоспособность, Юстина Владимировна почти всегда жила впроголодь, заботясь о своей хронически больной матери и о брате, которых горячо любила и оберегала. Счастливыми, но недолговечными годами ее жизни в Шанхае был ее брак с молодым и одаренным русским поэтом и публицистом Николаем Петерем. Он, так же, как и она, жил своим творчеством и, несмотря на житейские трудности, отвергал материальные ценности в пользу ценностей высшего порядка. Эти люди были верными носителями лучших традиций дореволюционной русской интеллигенции.

В годы Второй Мировой войны, в зажатом в тиски японской оккупации Шанхае, супруги Петерем, так же, как и многие другие их соотечественники, заняли "оборонческую" позицию, но сомнения в добропорядочности советского строя не покидали Юстину Владимировну, и в конце сороковых годов, как бы в ответ на ждановщину, она выпустила сборник под названием "Антигона", содержащий статьи о новом крутом зажиме творческой и интеллектуальной жизни в СССР.

Тем временем неожиданно скончался муж Юстины Владимировны. Вскоре она лишилась матери и брата и до конца своих дней осталась одинокой.

Следующий перелом в жизни Юстины Владимировны наступил весной 1949 года, когда китайская Красная армия вошла в Шанхай. Не успев выбраться во-время, она прожила несколько лет под властью китайских коммунистов. После долгих хлопот ей удалось, наконец, выехать в Бразилию, а оттуда, в начале 60-х гг., в Соединенные Штаты.

Вскоре по приезде в США Юстина Владимировна

устроилась на работу в русский отдел радиостанции "Голос Америки", где переводила новости дня, репортажи местных и зарубежных корреспондентов радиостанции, а также политические обзоры и комментарии. Иногда она вела и культурно-просветительные программы.

Одновременно с работой в "Голосе Америки" Юстина Владимировна писала в "Новом Русском Слове" и в других русских эмигрантских изданиях. В парижском журнале "Возрождение" за декабрь 1968 года была напечатана ее обширная статья "Чураевский питомник", посвященная русским эмигрантским поэтам-дальневосточникам и представляющая собой ценный материал для изучающих дальневосточную эмиграцию.

Юстина Владимировна была фигурой колоритной: маленькая, седовласая старушка с неизменной сигаретой во рту, отчаянно барабанившая на пишущей машинке. Ее веселый, а порою и саркастический нрав выявлялся вспышками громкого хохота. Она строго придерживалась определенных убеждений и не стеснялась их высказывать. Это была женщина с твердым характером, что не мешало ей, однако, быть отзывчивой — любому человеку в нужде или в несчастье она с готовностью помогала. Бескорыстие, порядочность, живой ум, острую наблюдательность и интеллектуальную любознательность она пронесла через всю свою жизнь.

Проработав в "Голосе Америки" десять лет, Юстина Владимировна ушла в отставку и переехала в Сан Франциско, где в 1982 году ее пригласили быть редактором газеты "Русская Жизнь".

В последний раз я с нею виделся в октябре прошлого года. Несмотря на ее тогда уже преклонный возраст, она по-прежнему работала много и с увлечением. Незадолго до смерти она позвонила мне по телефону и горько сетовала на то, что ее работа в "Русской Жизни" вдруг как-то неожиданно, странно и беспричинно оборвалась. Вскоре после этого я узнал, что ее разбил паралич.

Кончина Юстины Владимировны Крузенштерн-Петерек лишила русскую эмиграцию первой волны еще одного достойного и талантливого представителя.

Да будет мир праху ее.

Н. Моравский

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

и

Е. Л. МАГЕРОВСКОГО



В 1984 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1984 год 30 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
